

СИБИРСКИЕ ОГНИ

**Литературно-художественный
и общественно-политический
ежемесячный журнал**

ВЫХОДИТ С МАРТА 1922 ГОДА

Главный редактор:
М. Н. ЩУКИН

Редакционная коллегия:

Н. М. Ахпашева (Абакан)
А. Г. Байбородин (Иркутск)
П. В. Басинский (Москва)
А. В. Кирилин (Барнаул)
В. М. Костин (Томск)
А. К. Лаптев (Иркутск)
Г. М. Прашкевич (Новосибирск)
Р. В. Сенчин (Екатеринбург)
М. А. Тарковский (Красноярск)
А. Н. Тимофеев (Москва)
М. В. Хлебников (Новосибирск)
А. Б. Шалин (Новосибирск)

Владимир Титов
ответственный секретарь

Михаил Косарев
начальник отдела художественной литературы

Марина Акимова
редактор отдела художественной литературы

Лариса Подистова
редактор отдела художественной литературы

Елена Богданова
редактор отдела общественно-политической жизни

Евгения Акимова
редактор отдела общественно-политической жизни

Корректурa: Т. Л. Седлецкая
Верстка: О. Н. Вялкова

7/2022

Содержание

ПРОЗА

- Роман КОСТИЦЫН. Мы странно встретились.** Повесть. 3
Елена БАСАЛАЕВА. Цыганская дочь. Рассказ. 82
Сергей БАРАНОВ. Маски. Рассказ. 108

ПОЭЗИЯ

- Алексей ИВАНТЕР. От Воронежа и до Тамани.** Стихи. 76
Вера КАЛМЫКОВА. Чужая оболочка. Стихи. 106
Денис ПОПОВ. Дождь в кастрюле. Стихи. 122

ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

- Евгений ГОРОДЕЦКИЙ. С печалью и гневом.**
Памяти В. П. Астафьева. 125

Народные мемуары

- Вячеслав ИГРУНОВ. Хроники долгого детства.** 147

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Константин ВАСИЛЬЕВ. Исключение опровергает правило.** 165
Артем ПОПОВ. «Пока не требуют поэта в прокуратуру на допрос...» *О стихах Александра Францева.* 182

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ «СИБИРСКИХ ОГНЕЙ»

- Варвара ЗАБОРЦЕВА. Музей братьев Ткачевых в Брянске.** 188

- Авторы номера* 191

Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции. Ранее опубликованные (в том числе в газетах и сети Интернет) произведения не рассматриваются. Редакция оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. При перепечатке материалов ссылка на «Сибирские огни» обязательна.

Главный редактор, директор ГБУК НСО «Редакция журнала «Сибирские огни»» М. Н. Щукин.

Роман КОСТИЦЫН

МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ

Повесть

На финишной прямой есть множество развилок

— *Alzatevi! Attenti!*¹ — громко командую я, когда открывается дверь и на пороге появляется преподаватель по речевой практике итальянского языка Галина Александровна Березина. Женщина лет сорока пяти, черноглазая, очень приятная внешне. Умная и интеллигентная, с красивой русской фамилией. Много лет провела вместе с мужем в Италии, работали в торгпредстве. Мне нравится, как проходят ее занятия, как она выстраивает отношения внутри учебного процесса. С одной стороны, хорошо соблюдается дистанция. А с другой — обычной стеночки отчужденности не наблюдается, она как бы размыта. Отношение ко мне — особенное: я ее лучший ученик. Но в последнее время между нами пробежала черная кошка. Причем пробежала тихо и незаметно, так что никто и внимания не обратил.

...Иногда в конце занятия Галина Александровна баловала нас живописными экскурсами в итальянскую жизнь, историями о Вечном городе и его нравах. А в тот день она рассказывала о еврейской эмиграции из СССР. О ее путях, один из которых пролегал через Италию. О том, как итальянский курортный городок Остия возле Рима превратился в настоящую перевалочную базу, своего рода транзитный лагерь, откуда меньшая часть эмигрантов следовала далее в Израиль, а большая — за океан. Выезд носил настолько массовый характер, что все доступное жилье Остии оказалось арендовано нашими бывшими соотечественниками. До такой степени, что римляне фактически лишились возможности привычно выезжать на выходные к морю. Отношение местного населения стало быстро меняться к худшему. Богачами в большинстве своем эмигранты не были, приходилось экономить на всем. Поэтому снимали жилье в складчину, жили по несколько семей в квартире. Вплоть до того, что спали вповалку на полу. В общем, в лучших традициях вековых

¹ Встать! Внимание! (Итал.)

скитаний народа Книги милый курортный городок с захватывающей дух быстротой превратился в очень специфическое гетто.

Мы слушали разинув рты. Оказывается, евреи уезжали из страны сотнями тысяч. Их диаспора была предельно возбуждена отъездами друзей, родственников, соседей. Специально для них был издан закон, позволяющий беспрепятственно эмигрировать. Причем такая возможность открывалась исключительно для упомянутой этнической группы. Никогда не думал, что законы могут писаться настолько выборочно...

И вот в самом конце своего интригующего рассказа Галина Александровна решила немножко прозондировать нас по этой теме. Поинтересовалась, как мы относимся к евреям.

Воспитанные в духе пролетарского интернационализма и хорошо понимавшие, что можно говорить, а чего нельзя, курсанты отвечали плавно и обтекаемо. Не прицепишься. А я ответил немножко нетипично. Решил поиграть. Наверное, зря. Сказал, что из вопроса следует, что к евреям я должен относиться как-то по-особенному. А, собственно, с чего бы это? У нас в стране живет больше сотни больших и малых народов, и к ним ко всем я отношусь в равной степени положительно. А что, кто-то претендует на исключительность?..

Вот и весь разговор. Но после него отношение ко мне Галины Александровны резко поменялось. Внешне вроде все осталось как прежде. Но повеяло холодком. Галина Александровна была еврейкой. Не явной и, скорее всего, не по паспорту.

А ведь учиться осталось — всего ничего! Выпускной курс, ноябрь восемьдесят первого, предпоследний семестр на излете. Уже почти полтора года, как мы покинули казарму. Живем на территории института, в общежитии для старшекурсников, больше известном как «Хилтон». Название с претензией. Аура исключительности витает и в курсантских головах, и в курсантском фольклоре, и в мифологии нашего института. А коли так, то стоило ли мне травмировать бедную Галину Александровну?

Зима пятого курса — время особенное. Курсанты — аки девушки на выданье. Ждут «женихов». Так называемых «покупателей» — гонцов из разных ведомств и служб, которые приезжают выбирать себе будущих сотрудников. И как сложится жизнь всех нас, молодых и амбициозных, напрямую зависит от этих визитов.

О приглашениях на такие собеседования распространяться не принято. Дело сугубо личное, почти интимное. Поэтому кто приезжал, с кем говорил, мы, как правило, не в курсе. Знает только тот, за кем приезжали, и по понятным причинам помалкивает.

А вот ждать ли «покупателей» курсантам нашей итальянской группы — большой вопрос. Крупных колоний Италия в свое время не нажила и язык свой, соответственно, никуда не внедрила. Что-то пыталась в Ливии, что-то — в Эритрее, но без особого успеха. В Сомали полу-

чилось чуточку лучше — настолько, что итальянский там является государственным... Правда, на подходе к официальному использованию еще и местный экзотический язык — сомали. Но итальянский он сможет заместить не так уж скоро и, наверное, не во всем. Вот нас и набирали в эту языковую группу с прицелом на будущую работу в орехово-банановом Сомали. С самого момента поступления было понятно, куда нас готовят. Но эта ясность улетучилась уже в конце первого курса, когда в африканской стране произошел антисоветский переворот, после которого наше место заняли американцы, а сомалийские перспективы итальянской языковой группы приказали долго жить.

В общем, середина пятого курса, на рукаве — пять шпал, а нами по-прежнему никто не интересуется. Хотя — вру. Ко мне лично некоторый интерес обнаруживается, и уже давно. Меня периодически снимают с занятий и отправляют поработать. Прямо здесь, в Москве, на несколько дней. Это началось еще на втором курсе, когда меня стали привлекать к работе с итальянскими спортивными делегациями в самый разгар казарменных будней.

Первой была баскетбольная команда Sinudine из Болоньи, прибывшая для встречи с нашим ЦСКА. Я впервые разговаривал с живыми итальянцами.

Маленькая комнатуха нашего баскетбольного тренера в комплексе ЦСКА. Тренер итальянского клуба уютно устроился в кресле, легендарный Гомельский² расположился на диване, а я, курсантик второго курса, восседаю рядом на тяжелом удобном стуле и перевожу. Разговор замысловато петляет между организацией предстоящего матча и переменчивостью погоды, цепляя попутно женщин города Болоньи, премьеру в Большом театре и многое другое. Я пытаюсь переводить сухо и добросовестно, хорошо памятуя, что это работа. Но такой подход дружно и с порога отмечается обеими договаривающимися сторонами. Мы пьем водку, заедаем черной икрой, а я перевожу принципиально значимые вещи вперемежку с анекдотами.

Во время таких мини-командировок я одеваюсь в обычную гражданскую одежду, поэтому мне официально разрешено держать ее в казарме. Вообще-то, у нас с этим строго: если у кого-то из курсантов находят, то это всегда скандал. А я на законном основании пропускаю занятия, хожу по институту в цивильном и получаю истинное наслаждение от происходящего.

К тому же я не умозрительно, а на практике попробовал работать по специальности. И мне понравилось. Приятно осознавать, что еще всего-то второй курс, а ты уже реально переводишь, вполне по-взрослому. Приятно и вытекающее из этого факта отношение к твоей персоне. И интересные, необычные люди, встречи с которыми диктуются профес-

² Гомельский Александр Яковлевич (1928—2005) — баскетбольный тренер, под руководством которого национальная сборная СССР стала олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы.

сией. И ощущение, что если так дело пойдет, то к выпуску будешь отнюдь не середнячком в искусстве транснационального общения. Конечно, денег за эту работу никто не платит. А я и не мечтаю. Я счастлив сменой обстановки, новыми встречами, возможностью поработать с языком. Приятные подработки, но к будущим перспективам они не имеют никакого отношения.

А на днях опять сняли с учебы. Командировали в издательство «Прогресс», что на Зубовском бульваре, консультировать тамошних переводчиков по военным аспектам перевода новой книги. Она написана на русском, но должна быть издана на нескольких языках. Мой лучший друг на курсе Толя Боев тоже командирован, с немецким языком. Выделили нам на двоих комнату — чей-то кабинет, временно изгнав его законных обитателей.

Переводчики в издательстве маститые. Зубры. Напоминают Бузыкина из «Осеннего марафона». Посему работать нам с Толей приходится лишь изредка: заходят два-три раза в день с каким-то перечнем вопросов — уточнить. А остальное время разговариваем, смотрим в окно.

В первый же день захотелось чайку попить. Неспешно, по-курсантски. Расходный материал имеется, но нужен чайник. Решил я пройтись по соседним кабинетам, раздобыть. Искал недолго. Рядом, в японской редакции, чайник нашелся и был выдан мне во временное пользование сотрудницей этой редакции Татьяной. Моей будущей женой. А пил бы я меньше чаю, жизнь сложилась бы совсем по-другому.

Интересно все было устроено в позднем СССР! Татьяна знала по-японски слово «банзай» да еще, может быть, «харакири». А надо же, состояла корректором в «японской» редакции. Штат раздут, есть возможность держать девочку на побегушках, из чьих-нибудь знакомых: чайку вскипятить, принести что-нибудь. И чтоб хорошо знала свой шесток. Вот Татьяна из таких. Но учится заочно в Полиграфическом институте, так что чай подавать — это не навсегда.

В школьные годы я был очень привязан к своим родителям, сохраняю эту привязанность в почти нетронутом виде и поныне. Мне важно знать их мнение, советоваться по значимым вопросам. Но, видимо, родители никогда не ставили перед собой цели как-то жестко регламентировать мою жизнь, оставляя мне большую свободу для маневра и самовыражения. Давали только какие-то общие установки, одна из которых гласила, что о женитьбе я смогу задумываться только после получения диплома. Установка правильная, но сформулированная в духе минимализма. Правильнее было бы ориентировать меня на возрастной порог лет хотя бы в двадцать пять. Но это я сейчас такой умный. А тогда... Тогда раннее вступление в брак было самым обычным делом, и забота родителей была направлена на то, чтобы уберечь меня хотя бы от самых крайних проявлений матримониального безумия.

Татьяна активно поощряет проявленный к ней интерес. Выходим на общие перекуры, какие-то разговоры ведем. Пригласила к себе в гости.



Живет она вместе с родителями в коммуналке на улице Горького, рядом с площадью Маяковского. Занимают две комнаты. В одной — родители с Татьяной, в другой — старшая сестра Нина с маленькой дочкой Варей. Мать, Галина Михайловна, преподает скрипку в музыкальной школе. Так вот от кого у Татьяны смуглость кожи и карие глаза!

Сидим за столом, пьем чай. Галина Михайловна с упоением рассказывает об армянском подмесе в их славном роду. Даже фамилия предка в семейном предании сохранена: Термосесян. Мое предположение, что основатель рода мог торговать термосами в туфовых переулках Еревана, встречено снисходительной улыбкой и пояснением, что приставка «тер» означает лицо духовного сословия.

Евгений Пантелеймонович, папа, на четверть века старше своей супруги. Интересно сложилось: был сначала женат на тетке этой самой Галины Михайловны, но потом соблазнился молоденькой племянницей. Так с тех пор и живут. Семья вроде крепкая, двух дочек вон родили.

И витает в помещении антисоветский дух. Ядреный, густопсовый. Так может пахнуть только гнилая московская интеллигенция. Впрочем, с какой стороны интеллигентом является Евгений Пантелеймонович, не вполне понятно. По происхождению — кухаркин сын. Родился в тысяча девятьсот седьмом году в Петергофе. Родители работали при царской кухне, поэтому питалась семья изысканно. Прислуге позволялось употреблять в пищу все, что оставалось после царских трапез, так что лет до десяти маленький Пантелеймоныч явно не голодал. А потом рацион резко ухудшился, и появилась весомая причина стать антисоветчиком. Кем он, собственно, и стал.

Теоретически могло обойтись и без антагонизма. Я прекрасно осознал, что «советская власть» и советской-то никогда не была, а являлась партийной диктатурой. Понимал ее как вывих на пути естественного развития моей страны, как не самую длинную главу в тысячадвухсотлетней книге русской государственности. Вывих этот привел ко многим кровавым и трагическим последствиям, которых могло бы и не быть. Таким образом, я был русским патриотом, имевшим претензии к большевистской власти, которая не была ни русской, ни патриотичной. Уезжавшие толпами эмигранты тоже имели претензии к большевистской власти, и это, казалось, могло бы сблизать. Но разница была принципиальной. Я не любил власть КПСС, но любил Россию. А они одинаково ненавидели и то и другое. Я прекрасно понимал, что они будут поливать Россию грязью при любой власти, и дело тут вовсе не в коммунистической системе.

На носу у Евгения Пантелеймоныча нацеплены очки с настолько мощными линзами, что их хочется назвать окулярами. Он напоминает рыбку вуалехвоста с глазами навывкате. Радужка за этими линзами выглядит завораживающе. Это немного отвлекает от темы разговора. А разговор коснулся войны в Афганистане. Видимо, папа хотел нащупать хоть какие-то точки совпадения с Танечкиным ухажером. Однако и тут не сложилось. Вместо проклятий в адрес «системы» он услышал от меня со-

всем другое. Скромно заметив, что стратегические замыслы руководства нам, курсантам, почему-то не докладывают, я тем не менее допустил, что при грамотном подходе из этой военной кампании можно извлечь много плюсов.

— Какие же именно плюсы вы усматриваете в этой агрессии? — не без ехидды поинтересовался Пантелеймоныч.

— Национальный состав Афганистана очень неоднороден, — нимало не смутившись, ответил я. — Мы могли бы закрепиться в северных провинциях, населенных таджиками и узбеками, сыграв на межэтнических разногласиях внутри этой страны. Морально безупречно? Скорее прагматично. И вполне себе по-английски. Британцы так по всему миру прошлись — под лозунгом «Разделяй и властвуй». И ничего, никто особо не критикует. Пойди мы этим путем — и шансов на успех прибавилось бы основательно. Да и стратегических плюсов вырисовывается немало...

Зря я зацепил англичан. Кто на этой шахматной доске хороший, а кто плохой, у Пантелеймоныча давно расписано. По выразительному взгляду сквозь слегка запотевшие окуляры уже понятно, что великой любви у нас с ним не предвидится. А не больно-то и надо!

Работы в издательстве — на месяц минимум, так что чаепития в Мытищах продолжаются. Выясняется, что Татьяна уже побывала замужем. Правда, как-то несерьезно, почти понарошку: брак длился месяца три или четыре. Не сошлись характерами и расстались друзьями. Родить никого не успели, а закорючку в паспорте и поправить недолго.

Были бы рядом мои родители, они бы наверняка предложили обратить внимание на то, как удивительно легко сходится и расходится с мужьями Танечка. Прямо вальсирует. Но родителей, к сожалению, рядом нет, а сам я в вопросах семейного строительства совсем еще дурачок.

Интересно, что бывший муж, товарищ Воробьев, — тоже переводчик. С французским языком. Таня явно отдает предпочтение гуманитариям. Более того — конкретно переводчикам. Узкая такая специализация. Может, работа в языковой редакции навеяла?

Впрочем, насчет «узкой специализации» — это я погорячился. Круг интересов у Танечки значительно шире. Я бы даже сказал, что переводчики находятся на периферии ее любознательности. А фокус ее эмоций, страстей, переживаний, всего ее естества — он значительно выше. Где-то там, в богеме... Среди зрителей с первых рядов, за театральными кулисами, в гримерках, в застольях, в кругу популярных артистов театра и кино. Среди девушек томных, которые водят хороводы любви вокруг недостижимых кумиров.

И речь ведь не о каком-то рядовом, пропахшем нафталином театришке. Речь о супермодном, современном, знаменитом благодаря своему гениальному режиссеру Юрию Любимову театре на Таганке! Где играет Высоцкий — всенародно любимый поэт и бард. Впрочем, уже не играет. Полгода назад Владимира Семеновича не стало. А с ним ушла и целая эпоха. И если для простых почитателей великого таланта утрата была тя-

желой, но не личной, то для ближнего круга, включая девушек томных, это был удар в самое сердце.

Ну и Танечку, конечно, зацепило. Ведь она состояла в фаворитках у директора этого самого театра — Бузеловича, о котором потом ходило много некрасивых слухов. Через него-то и была вхожа. Кумиром ее был, конечно, никакой не Бузелович. Директор театра — это только звучит грозно, а по сути — всего лишь завхоз. Но коль уж до звезды не дотянуться, то и Бузелович сойдет.

А лучшая подруга Тани, еще со времен раннего детства, Оля Кудесникова размениваться на мелочи не стала, а тихо и безответно обожала недостижимую звезду. Маленькие трагедии, о которых кумир миллионов даже и не подозревал... Однажды, правда, чуть не сбылось. Как-то за кулисами, среди театральных декораций, он ее немножко поприжал. Кто-то скажет, что «немножко» не считается. Но это как смотреть, поскольку эпизод этот стал главным событием всей ее жизни.

Зачем же было Тане начинать со мной отношения, если имелся страстный Бузелович? А в том-то и дело, что был Бузелович, да сплыл. Уехал в Америку, поддавшись стадному инстинкту. И осталась Таня одна-одиношенька: с Воробьевым развелась, Бузелович в Америке. А тут как нельзя более кстати курсант выпускного курса Военного института подвернулся. На полтора года младше, зеленый такой лопушок. Из какой-то далекой провинции, но оканчивает приличный институт, с хорошими языками и светлыми перспективами. А вдруг?..

На Новый, тысяча девятьсот восемьдесят второй год их дом на улице Горького расселили. Старшей сестре Нине с маленькой дочкой Варей дали однокомнатную квартиру в Строгине, а Тане с родителями — трехкомнатную там же. Уже немолодые мать с отцом плюс незамужняя дочь — и целая трехкомнатная? Прямо аттракцион неслыханной щедрости! А еще говорят, что у нас государство плохое... Под самые праздники Татьяна возила меня в Строгино показывать новое жилье. Район совсем еще не обжитой, сплошные новостройки. Транспорта нет, под ногами грязь, в этой грязи проложены доски, по которым надо прыгать. Но понятно, что это ненадолго, что скоро здесь все зазеленеет, пойдут трамваи и автобусы.

Работа в издательстве позади, я вернулся к учебному процессу. Пятый курс, и у меня свободный выход в город. Выхожу не слишком часто: учеба остается главным приоритетом. Живу в «Хилтоне», в одной комнате с Володей Макеевым из португальской группы. Я его называю «старик Вальдек», он меня — «старик Ромуальдыч». Отношения нормальные, дружеские. Володя родом из Риги. Выходит в город гораздо чаще, чем я. Сначала метался по огромной Москве в поисках достойных боевых подруг, а потом мудро решил, что тратить много времени на дорогу — не очень практично, и стал окучивать девчонок из высотных домов прямо напротив института. Наверное, это разумно. Когда же еще отрываться, как не в курсантские годы?

А и курсантские годы протекают по-разному. Первые три курса — самые жесткие. Казарма, сапоги, вопли старшины, ежедневные построения по несколько раз на дню, и попробуй опоздай! Выход в город — один раз в неделю: либо в субботу после занятий, либо в воскресенье почти на весь день. И этот выход еще надо заслужить. Любое замечание в течение недели — и ты в полете. А замечаний можно нахватать по любому поводу: сапоги грязноваты, подворотничок несвеж, бляха ремня нечищена, в строй опоздал... Да мало ли! Двойку по какому-нибудь предмету получил, на перекладине подтянулся меньше, чем положено, — и все, готово. Тогда между выходами «в свет» будет уже не неделя, а две. Полмесяца безвылазно в режиме «казарма — занятия — казарма». А бывало, что и три недели вот так сидишь, а то и месяц.

В таких условиях у некоторых начинало сносить крышу. Приходилось вариться в собственном соку, и курс становился в буквальном смысле семьей. А в семье, как водится, не без уroda. Было много нормальных ребят, с которыми интересно и комфортно. Много типажей совершенно неинтересных, но вполне безобидных. И была вишенка на торте: претенденты на роль «души общества». Компанейские до приторности, с гипертрофированным самолюбием. Таких много не бывает, раз-два и обчелся. Зато они всегда на виду. С ними лучше не ссориться: себе дороже выйдет.

Деятельность этих персонажей привносила в казарменную жизнь душок какой-то двусмысленности. Как будто зоной пованивало. Например, они активно занимались поисками стукачей. Считалось, что таковые обязательно есть на каждом курсе. Хотя точно сказать, кто же такой стукач, кому он на курсе нужен и зачем, вряд ли кто-нибудь смог бы. Предполагалось, что стукач должен ходить в особый отдел и закладывать ребят. В чем закладывать, сказать трудно. В том, что кто-то в строй опоздал? Так на то старшина есть, а особому отделу это, надо полагать, не больно-то интересно. Докладывать об антисоветских взглядах? Но за пять лет учебы лично я не слышал на курсе ни одного подобного высказывания... Что же тогда? А хрен его знает. Но это давало возможность назначить неугодного и подвести его под общую травлю. Запустил слушок — и пошло-поехало: будет этот курсант слышать мерзкие шепотки у себя за спиной. А те, кто слушок запустил, сполна отведут душу, и жизнь их как-то повеселее потечет. Хоть какое-то разнообразие, а то все казарма да казарма... А можно такой слушок запустить из мести. Или из зависти. Или на почве личной неприязни. Закрытый социум — это как питательный бульон для самых мерзких бактерий.

Не минула и меня чаша сия. Подходит как-то вечером курсант из испанской группы:

— Ну что, Рома, спалили тебя наконец! Видели, как ты из особого отдела выходил!

Я аж оторопел:

— Да что ты говоришь! И давно видели?

— Брось, все ведь на курсе уже знают!

Чувствую, как злость поднимается внутри, все закипает. И тем не менее спрашиваю почти ласково:

— Да кто видел-то? Я готов и на очную ставку. Пусть скажет при мне!

— Да Боря Алексеев видел! Уже не отмажешься!

Боря Алексеев... Отвратительный тип с физиономией мопса, из испанской группы. Один из самых «блатных» на курсе: папа — большой начальник. При этом непрезентабелен и трусоват.

Дело было в казарме, вечером. Народ массово возвращался из увольнения. Я уже был научен горьким опытом: в такой ситуации ни в коем случае молчать нельзя. Если промолчал — значит, признаешь, что попался.

Быстро отыскал Борю Алексеева.

— Что же ты, сучонок, лживые слухи обо мне распускаешь? Где ты меня видел?!

Говорю нарочито громко. Если этот хмырь уже разнес свою «сенсацию» по всему курсу, то весь курс и должен слышать, что он сейчас будет лепить. И действительно, некоторые останавливаются, подходят, прислушиваются. Очень хорошо!

Боря начинает что-то бормотать. В том смысле, что это он так пошутил. Разыграть хотел... Извиняется и просит не держать обиду.

Ах, разыграть! Кулаки у меня сжаты до хруста. Мучительно хочется съездить ему по прыщавой морде. Но надо сдержаться. В институте порядки строгие, за драку отчисляют без долгих разговоров.

После трех лет казармы перевели в «Хилтон». Социум перестал быть закрытым, и затхло́й атмосферы в нем поубавилось.

Похоже, отношения с Татьяной начинают выходить за рамки мимолетного знакомства. Но там все время родители. Вечером приедешь, чайку попьешь, поговоришь — и обратно ночевать в «Хилтон». В Строгине они спят каждый в своей комнате. В одной, самой маленькой, располагается Татьяна, во второй, побольше, — Пантелеймоныч, и в третьей, самой просторной — Галина Михайловна. Прямо сказка о трех медведях. После вечерних посиделок на кухне родители расходятся по спальням, а мы еще какое-то время пьем чай и разговариваем.

И вот однажды я решил в институт не возвращаться. Сговорились, что остаюсь ночевать в Строгине. Дверь изнутри забаррикадировали тяжелым креслом, чтобы никто «случайно» не ввалился. А то с Пантелеймоныча станется. Припомнит мне Афганистан.

Ушел я ни свет ни заря в расчете выскользнуть незамеченным. Вроде прокатило. А потом и на второй раз прокатило, и на третий. Пока им не надоело прикидываться. Думаю, они и спать пораньше уходили, чтобы не мешать естественному ходу событий. Ну что ж... Зато прятаться уже не надо. И потребности молодого организма удовлетворяются теперь сполна. Обоюдно. Это тебе не с рыхлым Бузеловичем любовь крутить!

Посреди урока в аудиторию заглянул Коля Рыбаков, наш начальник курса. Попросил меня выйти. Вот как оно происходит. Неожиданно и почти буднично. Приехал «покупатель», хочет со мной переговорить насчет будущего распределения. Я должен сейчас же сходить в «Хилтон», кабинет номер такой-то.

Меня охватило волнение. Откуда он? И что предложит? Неужели прямо сейчас решится моя судьба — если не на всю жизнь, то на обозримую ее перспективу уж точно?

Вот и кабинет в «Хилтоне». Постучал в дверь, захожу. В небольшой комнате, одетый в приличный костюм, сидит мужчина лет пятидесяти. Гладко побрит, взгляд внимательный и холодный. Я представился. Он, вполне предсказуемо, представляться не стал.

— Ну, присаживайтесь, поговорим. Наслышан о ваших успехах в итальянском языке. Преподаватели говорят, настоящий синхронист растет!

Надо же! Значит, будет сватать меня не со вторым — английским, а с первым — итальянским! Хорошо-то как!

Покупатель рассказывает о том, что перспективы распределения остальных членов нашей итальянской группы весьма туманны, поскольку Сомали выпало из обоймы. А я вытащил счастливый билет. Мне предлагается работать с итальянским языком в Москве. В Комитете госбезопасности. В какой именно структуре этой разветвленной организации, мне пока знать необязательно. Сначала я должен хорошенько все взвесить. Не надо торопиться с ответом. Он дает мне три дня на размышление и по прошествии этого времени ждет с положительным ответом в этом же кабинете в пятнадцать ноль-ноль. Тогда разговор можно будет продолжить уже предметно. А если не приду, значит, я решил, что это не мое.

Дверь за мной закрылась. Я прислушивался к своим ощущениям. Они были противоречивы. С одной стороны, остаться в Москве, да еще и работать с итальянским языком, — это волшебная сказка, за которую удавился бы любой курсант из моей группы. А с другой стороны — КГБ. Ах, какое стойкое предубеждение я испытываю против этой организации! Там репрессии и ГУЛАГ. А у меня — русский патриотизм. И как это сочетать? А никак. Еще боюсь себе признаться, но глубоко внутри знаю уже точно: я в этот кабинет не вернусь. Душа не продается. Гори она синим пламенем, эта Москва! А работа с итальянским... Жалко, конечно. Столько лет вкалывал. Ну ничего. Может, еще возможности будут.

Дурачок? Наверное... Случаи надо ловить, а не отталкивать. Какое же распределение меня теперь ждет?

Но интересно и понаблюдать. Ведь если им нужен человек, то они его в любом случае возьмут. Не меня, так другого. Кого же, интересно? Нас в группе всего-то семеро. И все такие идейные борцы со стукачами... Вот и посмотрим.

А с третьей стороны, что тут смотреть? Через несколько месяцев мы станем лейтенантами и разбежимся кто куда. И все эти институтские

сплетни и интриги можно будет повесить на гвоздик в деревенском сортире. А тот, кому я сейчас такой подарок делаю, он ведь только счастливым будет, что я такой чистоплюй...

О моей институтской жизни Таня знает очень мало. Почти ничего. Зато в японской редакции все давно в курсе, что мы встречаемся, что я бываю у нее дома. Видимо, активно интересуются развитием сюжета, поскольку Татьяна сообщает мне о приглашении в гости к Лене Роговой, переводчице из ее редакции.

Лена — приятная, симпатичная черноглазка. Живет в милой, очень уютной квартирке. Свет приглушен, тихо играет музыка, мы в уголке на диване ведем интересные разговоры под экзотические коктейли. Четыре коктейля уже позади, на подходе пятый. Танцуем медляки. И все бы хорошо, но я начинаю засыпать. Глаза закрываются, ничего поделать с собой не могу. Уже пять лет живу по выверенному до минуты распорядку. В одиннадцать — отбой. А тут уже далеко за полночь, вот меня и сморило.

Шепчу Татьяне, что пора бы закругляться, и совершенно неожиданно для себя наталкиваюсь на ее жесткое сопротивление. Никуда мы не уезжаем, мы же в гости пришли! И не потихоньку мне на ухо возражает, а так, что слышат все и повисает неловкая пауза. Господи, зачем она? Ведь все было так хорошо!

После этого казуса начинаю чувствовать себя не в своей тарелке, как, впрочем, и Лена Рогова. Стараюсь сгладить неловкость, но прежнего веселья уже нет. Долго еще сидим. Теоретически мог бы встать и уйти без Татьяны. В конце концов, никто никому ничего не должен. Но неудобно как-то. Пришли ведь вместе...

А Таня нарочно никуда не торопится. Культурно отдыхает. Показывает мне, кто в доме хозяин и кто здесь решает, когда уходить? Ну-ну. Не рановато ли захотела взять быка за рога?

Веду себя расслабленно и естественно. Я уже знаю, как поступить.

Наконец Таня соглашается объявить, что нам пора. Одеваемся, выходим. Я галантен. Я не уйду прямо сейчас, а провожу девушку до самого дома. Это ее успокаивает. Чистая победа!

Довез до Строгина, допрыгали по досочкам до дома. Чмокнул на прощанье в щечку и сообщил, что мне надо возвращаться в «Хилтон». Что роман наш немножко затянулся, и ей, судя по всему, нужен совсем другой мужчина: покладистый и покорный, которым она сможет командовать. А я не соответствую, со мной ей будет трудно... Ну, пока!

Я не шантажирую. Я действительно имею это в виду. Но она не верит. Думает, что это мое конъюнктурное «фе», о котором я уже через полчаса пожалею. Поэтому в ответ — сухое «пока». Мне в спину, поскольку я уже ухожу, испытывая чувство облегчения. Ничего, не пропадет. А там, глядишь, и Бузелович вернется.

Да... Сегодня она открылась мне с совершенно новой стороны. А я уж было вообразил, что сюрпризов ждать нечего...

Хорошо, что воскресенье. Отсыпаюсь после вчерашнего. Никуда не поеду, буду валяться дома, в своей комнате в «Хилтоне». А завтра — на занятия. В последнее время меня привлекают подменять наших преподавателей на речевой практике по итальянскому у девочек. Если, скажем, преподаватель заболел или вызван куда-то «на работу», то вспоминают обо мне.

Девочки с итальянским учатся на четвертом курсе, на год младше нас. Живут по домам, приезжая утречком на занятия из своих теплых квартирок. Чистенькие, намытые, в форме а-ля стюардесса. И рядом ты — в кирзовых сапогах и фланелевых портянках. Но не форма красит человека!

Есть и хорошенькие. И вот что бы с кем-нибудь из них поближе не сойтись? Один институт, одна профессия и даже одинаковые языки. Масса общих тем и интересов. И выискивать способ познакомиться не нужно, коль уж я периодически прихожу к ним в аудиторию в качестве преподавателя. Все так естественно... Но я нашел себе какую-то разведенку Татьяну с ее никчемной, совсем мне не интересной «богемой». Хорошо, что вчера все закончилось!

Проходит пара дней. Восстанавливать отношения я не собираюсь. Умерла так умерла. Но на третий день вызывают меня после занятий на институтский КПП: дескать, приехали ко мне и ждут. Про Татьяну сразу даже и не подумал. Но выхожу на КПП — стоит, красавица. Очи долу, изображает раскаяние и смирение. Это я сейчас так пишу: «изображает». А тогда засомневался. Может, и не изображает вовсе, а на самом деле искренне сожалеет о том, что между нами произошло? Почему-то всегда хочется верить в лучшее. Извечное проклятие оптимистов.

— Привет.

— Привет. Как ты тут?

— Да работаю. Пятый курс все-таки. Из библиотеки не вылезаю.

— А-а... А я приехала извиниться. Не знаю, что на меня нашло.

Была неправа. Ты меня простишь?

— Да я и не сержусь. Ты же мне ничего не должна. Как, впрочем, и я тебе... Каждый поступает так, как считает правильным. Это потом возникает зависимость. А пока что — полная свобода!

— Значит, по-прежнему сердишься...

Ну как ей объяснить, что «сердишься» — неподходящий термин? Что он означает наличие отношений. В то время как отношения уже закончились. Их нет. Я так решил. Как это ни трудно проглотить.

Но раскаяние выглядит настолько убедительным, а зов плоти настолько настойчив, что я решаю уступить.

— Ты ко мне сегодня вечером приедешь?

— Ну, не знаю... Как получится.

— Я буду тебя ждать.



Вот. Был уверен, что граммофон сломался или пластинка треснула. Ан нет, все работает. Что я чувствую, вернувшись в омут, из которого пару дней назад успешно выбрался? Не знаю. Мысли такие, что у молодых пар всегда бывают размолвки и это вполне нормально. У нас ведь на самом деле ничего страшного не произошло... Ну да, прощупываем друг друга на предмет, кто у нас главный. Если прибежала — значит, готова принять на себя роль ведомой. А может, она в таких терминах и не мыслит? Может, для нее главное — чтобы я прямо сейчас «не соскочил», а там уж разберемся?

И вот я снова на знакомой кухне. И Евгений Пантелеймонович здесь, и Галина Михайловна.

— Ромочка, я хочу, чтобы вы знали... — Это вступает в разговор Галина Михайловна. — Если вы решите жениться на Танечке, то сразу после свадьбы мы вас пропишем.

— Ну мам! — Это уже Танечка.

— Что «мам»? Что «мам»? Рома должен знать, что его ждет! Московская прописка, знаешь, на дороге не валяется!

Ну не буду же я им рассказывать, что буквально пару недель назад преспокойно отказался от этой самой прописки, да еще и от работы с итальянским языком прямо здесь, в Москве? Что эта прописка, которая для многих вождеденная, недостижимая мечта, мне просто неинтересна?

— Галина Михайловна, спасибо, конечно. Но я ведь оканчиваю языковой институт. Буквально через три месяца стану лейтенантом. Я хочу поработать там, здесь — в разных странах. Поездить по миру. Это ведь так интересно! А про Москву буду думать ближе к пенсии. И зачем мне сейчас эта прописка?

Родители Танечки смотрят на меня, как на законченного идиота.

— О, Рома, вы не понимаете! Это вы сейчас так говорите, а потом поймете. Но имейте в виду, мы от своих слов не отказываемся!

Учеба стремительно подходит к концу. Неужели старшина Феокистов буквально через месяц будет просто таким же лейтенантом, как и мы все, и никому из нас не начальник? Даже представить себе не могу...

Годовые экзамены уже позади. Сдавали итальянский, английский, научный коммунизм и тактику. У меня — все на отлично. Вырисовывается золотая медаль. Но, чтобы ее получить, надо сдать без четверок еще и госы. А госэкзамены у нас — ровно по тем же дисциплинам, что и годовые. И зачем одни и те же экзамены два раза сдавать с интервалом в одну неделю? Однако такой порядок. Это даже хорошо. Если к годовым был готов, то к госам и готовиться специально не надо.

И вот последний рубеж, за которым диплом и офицерские погоны. По итальянскому уверенно получаю «пять». По английскому — тоже. Третий гос — научный коммунизм. Идеологически самый важный предмет, хоть и лженаука. Списки очередности решили не менять, а оставить

старые, что были на годовом экзамене. А я там шел в самом конце, под занавес. Ну и пусть. Заночую у Татьяны, отосплюсь как следует и ближе к часу, незадолго до своей очереди, появлюсь в институте. Чтобы уж со свежей головой докладывать государственной комиссии основы вечно живого учения.

План, казалось, был неплох. Но не сработал. Приезжаю в институт к часу дня, а там переполох! Смотрят на меня, как на врага народа. Заталкивают к начальнику нашего курса майору Коле Рыбакову в кабинет. Коля красный, в бешенстве. И так на волчару похож, а тут — ну просто «я тебя съем!».

— Ты где был?!

— Повторял, готовился к экзамену.

— А во сколько начинается экзамен?

— В девять. Но вы же объявили, что очередность — как на годовых... А я в самом конце иду.

— Ни хрена ты в конце не идешь! Списки переиграли! Госкомиссия решила сначала пропустить претендентов на красный диплом. Тебя уже несколько часов ищут по всему институту! Несколько раз объявляли построения! Комиссия в бешенстве! Начальник факультета генерал Афанасьев — тоже! Пойдешь к нему докладывать сразу после экзамена. А сейчас — вперед, в аудиторию! Они мне уже сказали, что после такой идеологической диверсии больше тройки тебе не поставят!

Ну вот, уже и дело шьют. Политическое.

Иду по опустевшему коридору. Пара курсантов болтаются перед дверью, но они уже сдали. Стучусь, захожу. Сидят четверо. Матерые партийные работники. Докладываю: мол, курсант такой-то на сдачу государственного экзамена по научному коммунизму прибыл.

Как только прозвучала моя фамилия, вечер перестал быть томным. Оказывается, лазерное оружие давно уже изобретено. Сейчас они испепелят меня взглядами.

— А, Костицын! Давно же мы вас ждем! Обыскались! Смелый вы человек, если на главный государственный экзамен изволите опаздывать. Разгильдяйства в вас много... А вот есть ли хоть крупница научного знания? Давайте тяните билет!

Вот так попал! Ну что ж, терять все равно уже нечего. Тройка так тройка. А если все предрешено, то и волноваться нечего. Встречу судьбу с открытым забралом.

Взял билет, пошел готовиться. Посмотрел на вопросы — все прекрасно знаю. Никаких загадок. Объявляю, что готов отвечать без подготовки.

Члены комиссии переглянулись:

— Ну что ж... Валяйте!

Я начал отвечать. Громко, внятно, уверенно, по существу. Остапа, что называется, несло. И чем глубже я уходил в тему, тем больше теплели взгляды тертых партийных работников. Остановили, попросили перейти

ко второму вопросу. Та же картина. У меня как будто выросли крылья. И это по такому специфическому предмету!

Когда я закончил ответ на третий вопрос, в аудитории повисла оглушительная тишина. Которую через несколько секунд прервал глава госкомиссии:

— Не думал я, что поставлю вам больше тройки... Но за такой ответ... Уважаемые члены комиссии, я думаю, что за такой ответ курсант Костицын заслуживает отличной оценки!

Члены комиссии дружно закивали головами. Неужели? Не могу поверить!

Я со смешанным чувством покидаю аудиторию.

А под дверью уже ждет Коля Рыбаков:

— Ну что?! Сколько?

— Пять!

— Не может быть!

— Может, товарищ майор.

— Ну молодец! Только теперь я должен тебя вести к начальнику факультета. Он ждет. Очень злой!

Да, это еще не все. Сейчас мне достанется колотушкой по голове от нашего генерала. Герой Советского Союза, «Золотую Звезду» получил за форсирование Днепра. Когда кончились патроны, вступил в рукопашную. Пять немцев порешил саперной лопаткой.

Робко открываю дверь. Очень надеюсь, что саперной лопатки у него под рукой не окажется...

Коля Рыбаков подталкивает меня вперед:

— Вот, товарищ генерал, привел!

Видимо, несколько часов ярости утомили генерала, и он смотрит на меня усталым взглядом.

— Какая оценка?

— «Отлично», товарищ генерал!

Генерал с минуту молчит, смотрит недоверчиво.

— «Отлично»?

— Так точно, товарищ генерал!

— Ну хорошо, что «отлично». Но как ты мог не явиться на госэкзамен по научному коммунизму? Поставить на уши весь институт? Объявляю тебе пять суток ареста! Рыбаков, под арест его!

— Товарищ генерал, через три дня последний госэкзамен — по тактике. Не успеет отсидеть! Может, после экзаменов его?

— Да, совсем вылетело из головы... Ну давай после госов. Только запиши себе, чтоб не забыть! Это ты, Костицын, у нас на красный диплом идешь? Хорош красnodипломник! Хрен ты у меня красный диплом получишь! Кто дипломы выписывает?

— Прапорщик Веня...

Щупленький прапорщик Веня в институте незаменим. Обладает изысканным, удивительно красивым почерком. Ему бы летописи писать. О том, как меня красного диплома лишают.



А генерал тем временем берет трубку внутренней связи, набирает номер. Стоя по стойке смирно посреди его кабинета, я могу слышать почти все, что отвечает генералу прапорщик Веня.

— Ты Костицыну диплом уже выписал?

— Нет, вот прямо сейчас буду выписывать.

— А какой?

— Красный.

— Не надо красный, выписывай ему синий!

— А что, четверку получил?

— Да нет, получил-то он пять... Но вот на последнем экзамене по тактике точно получит четыре.

— Понял, товарищ генерал.

Я стою ошеломленный. И как же ему не стыдно?! На губу — это пожалуйста, коль я виноват. Но вот так подсиживать с дипломом? Мягко говоря, не по-генеральски. А ведь я его уважал!

Говорят, что нет пророка в своем отечестве. Оказывается, есть. Предсказание генерала Афанасьева в точности сбылось: на последнем государственном экзамене по тактике я получил четверку — и, как следствие, синий диплом. Сильно переживал? Сказать честно, не переживал вообще. Никогда не верил в практическую ценность красного диплома. Разве что детям потом показывать... А сейчас буду показывать синий и рассказывать, как генерал в гневе топал ножками! Уверен, детям это больше понравится.

На губу меня так и не посадили. Предвыпускные хлопоты, все бегает, суетятся — не до меня. А и хорошо. Хотя последние пять дней перед присвоением звания провести под арестом — это где-то даже прикольно.

Паланга, все ночи полные огня.

Паланга, зачем сгубила ты меня?

Начало лета — самый лучший в Москве сезон. Зелень свежая, солнышко, теплынь. Середина июня, и все лето еще впереди — красота!

Мы стали офицерами. Отпраздновали выпускной. Приглашали наших преподавателей. Была и Галина Александровна, и подполковник Орел. Вроде и тянулись эти пять лет мучительно долго, а теперь кажется, что просто промелькнули. Прав Эйнштейн: все относительно. И относительность эта сидит в наших стриженных головах.

Я получил диплом переводчика-референта с итальянским и английским языками. Что, можно уже жениться? Наказ родителей выполнен, диплом в кармане. Похоже, Танечкины предки ждали этого диплома с еще большим нетерпением, чем я сам. Песни про московскую прописку заполняют все музыкальные паузы наших вечерних посиделок.

А на этих посиделках я услышал много воспоминаний о Танечкином детстве. И обязательным персонажем этих рассказов всегда является Ольга Кудесникова, Танечкина подруга, которая преследует их семью,

как древнее проклятие. Как невыразимый кошмар. Родители ее тихо ненавидят, но Кудесниковой хоть бы что.

Знаком я с этой Кудесниковой. Она настолько убеждена в том, что находится в центре мироздания и весь мир вращается вокруг нее, что поневоле залюбуешься. Таких уверенных в себе людей я в жизни еще не встречал. Этот эгоизм не дано перешибить никому. Внутренний стержень, сидящий в Кудесниковой, ощущаешь почти физически. Горе тому, кто вздумает с ней конкурировать! При этом она не производит отталкивающего впечатления. Наоборот, возникает ощущение, что говоришь с человеком очень надежным, который не подведет. У которого сложный и многообразный внутренний мир, и в мире этом есть место трагедии. Да, совсем не хохотушка. Не из писанных красавиц, но вполне привлекательная, можно и увлечься.

В детстве ее брали с собой на отдых к морю, в Краснодарский край. Приходилось брать, поскольку Танечка отказывалась куда-либо ехать без лучшей подруги. Обладая характером весьма неуступчивым, Кудесникова делала не то, что ей говорили, а то, что сама хотела. А Танечка, естественно, изо всех сил пыталась не отстать. Поэтому неудивительно, что, когда разговор доходил до этих совместных выездов на юг, Евгений Пантелеймоныч закипал. Воспоминания плавно перетекали в перепалку. Расплевавшись, семья разбегалась по разным спальням.

Но если с Евгением Пантелеймоновичем у Кудесниковой отношения были прохладными, зато простыми, то с Галиной Михайловной все было намного сложнее. Галина Михайловна тоже была эгоистка еще та. Собственница до мозга костей, не хуже самой Кудесниковой. Именно эта подковерная борьба двух эгоисток и собственниц за влияние на Таньку и была определяющей в их непростых взаимоотношениях. Конкуренция, о которой неудобно говорить вслух, но которую прекрасно понимают обе стороны. Как и окружающие их статисты. И тут вдруг я. Еще один конкурент? Нет, меня они в расчет не берут: мелковат. Особенно для Кудесниковой. Поскольку Галина Михайловна, как мать, все же понимает, что замуж Танечке по-любому надо.

Вот нас и распределили. Меня и еще двоих — в военно-транспортную авиацию. Что за зверь такой? Никто не в курсе. Никого из нашего института туда еще не распределяли. Во взглядах у некоторых — плохо скрываемое злорадство. Я ведь, считают они, наверняка рассчитывал на работу с итальянским, на теплое местечко прямо здесь, в Москве. А что в итоге? Довольно невнятное распределение. Военно-транспортная авиация. Однозначно отстой!

В профессиональном плане это отстой и был. Но во всех других смыслах это был праздник. Хотя понял я это уже потом. Спасибо тебе, Боже!

Место моей будущей службы тоже известно: город Арциз Одесской области. Ну, Одесса — это все ж не Магадан, не пропаду. Может, еще и



море есть? Посмотрел на карте — нет, до моря оттуда не так уж близко. Городок располагается где-то на полпути между Одессой и Измаилом. Бессарабия.

Бортпереводчик... Трудно представить себе что-то более специфическое. Не просто переводчик, толмач в широком смысле, а такая штатная единица, обитающая исключительно на борту военно-транспортных самолетов, крашенных под «Аэрофлот» и перевозящих в братские, преимущественно африканские, страны различной природы грузы. Военные грузы в зоны локальных конфликтов. Страшно... И романтично. Девочкам нравилось. Девочки вообще падки на экзотику. А много ли надо молодому лейтенанту? Признаться, много. Этим он и отличается от зрелого полковника, которому бы футбол посмотреть да сразу и уснуть.

Что нам готовит день грядущий? Согласно предписанию, в Арциз мне надо явиться только к третьему августа. Так что сейчас, после пяти лет учебы, построений, нарядов, смотров, лагерных сборов и тому подобного, можно взять да и расслабиться. Заслужил, котик-обормотик.

И вот семнадцатое июня, и едем мы с Татьяной в «свадебное путешествие» в Палангу. Договорились, что распишемся после возвращения, перед моим отъездом в Одессу. Правда, «едем с Татьяной» — это некоторое преувеличение, попытка выдать желаемое за действительное. Поскольку в купе нас трое. Куда же без тещи? А почему именно в Палангу? А потому, что Галина Михайловна так решила. Это даже не обсуждалось.

Я уже писал о густом антисоветском духе, витавшем в коммуналке на улице Горького. Так вот, этот дух переехал вместе с ними в Строгино и теперь проживает там. А где антисоветский дух, там и страстная, взыскающая, любовь к США и Европе. Литву Галина Михайловна считает «советским Западом» и каждое лето направляет свои стопы напрямик туда. Было бы смешно, если бы не было так грустно. То есть она просто едет по своему обычному маршруту. Видимо, предложила Таньке присоединиться. Вместе с женишком. Та согласилась, а я не возражал.

Я еще не научился отстаивать свои интересы в делах семейных. Хотя тут вроде и об интересах особых речи не идет. Просто возникает вопрос: а зачем нам в первом же совместном путешествии будущая теща? Ну на хрена она мне в этой поездке сдалась? Я что, без нее никак не обойдусь? Но нет, проглотил, как будто так и надо.

Первый пробный шар прокатил? Хорошо! Дальше — больше. В Паланге в первое же утро пошли в полном составе на море. И вот развилка: прямо — общий пляж, направо — женский, для нудистов. Догадайтесь, куда потащила Татьяну моя будущая теща? Правильно, направо. Сверкать голой жопой. Ну а я пошел прямо. Лесом. Думаете, нездоровое любопытство тещи по поводу нудистов было в первый же день удовлетворено? Ничуть не бывало! История повторилась и на второй день, и на третий. За время отдыха они с Татьяной пару-тройку раз на общий пляж вместе со мной все же вышли, но остальное время я загорал в гордом одиночестве.

Жизнь посылала мне ясный сигнал: Татьяна всегда будет находиться при мамаше. А я всегда буду один, на вторых ролях. И какая, к черту, женитьба? Им и без меня хорошо! Бежать отсюда, пока не поздно! Ан нет, не уехал. Ведь вечера мы проводили вместе. Да и ночи тоже. Это был частный сектор. Маленькие комнатухи с дощатыми перегородками. В одной комнатухе мы с Татьяной, в другой, через перегородку, теща. Слышен был малейший звук. У тещи все под контролем. Ах, как это сближало!

После возвращения в Москву мы с Татьяной расписались. Событию этому предшествовало несколько напряженных моментов.

Я нервничал. Думаю, где-то внутри чувствовал, что совершаю ошибку. Но никаких действий не предпринимал. И вот во время какой-то ссоры разбил в сердцах пластинку. Просто хватил ею с размаху об пол. Видимо, достала суженая капитально, поскольку так-то я человек даже слишком терпеливый... Трагедия состояла в том, что это был диск с песнями Владимира Семеновича. Покусился на святое. Ах, какая истерика была по этому поводу! И самое бы время выставить меня за дверь. Как жаль, что не выставила! Проехали.

Потом, под самую свадьбу, поведала мне, что в Москву вернулся Бузелович. Театр на Таганке бурно обсуждает его возвращение. Три года там проболтался, да так и не прижился. Сумел выучить «хау ду ю ду», но дальше дело не пошло. Талантливый, однако! Впрочем, какое мне дело до ее бывших хахалей? Ни терзаний, ни какой-то ревности по поводу его возвращения я не испытывал. Возможно, что и зря. Татьяна говорила о нем, как о госте из прошлого. А с другой стороны, мало ли что она говорила... Вот вернулся бы я после трех лет отлучки, встретил бы свою бывшую пассию, которая в Америку провожала, и что? «Ах, Танечка, вы уже засватаны?» Ну да, конечно! Теоретически возможен и отлуп, если уж очень увлечена новым ухажером. Хотя, глядя на Таню, трудно предположить, что любовь ко мне так уж вскружила ей голову.

Расписали нас без лишнего шума в районном загсе, который располагался на первом этаже хрущевской пятиэтажки. Татьяна, как и ее родители, была категорически против любой свадьбы, даже символической. Оно и понятно: не первый раз замужем. Да и мне было почти безразлично, со свадьбой будем или без. О свадьбах обычно девушки мечтают. Сам я денег пока не зарабатывал, а организовывать шумные мероприятия на средства родителей — ради чего?

Однако и процедура в загсе оказалась подпорчена. Мы прибыли туда в сопровождении «родственников со стороны невесты»: Галины Михайловны и старшей сестры Нины. Перед нами — пар семь или восемь. Процедура поставлена на поток. И крутятся несколько фотографов, предлагая свои сомнительные услуги. У них там, естественно, «картельный сговор». Цены заламывают космические. Но никто не хочет остаться без свадебных фото, по такому поводу люди готовы и переплачивать. Грех не воспользоваться чужим ажиотажем.

Впрочем, насильно никто фотосессию не навязывает. Можно либо вообще без этих фотографий обойтись, либо заказать минимальное количество. А можно прийти со своим фотографом, назло этим жукам. Но есть и еще один вариант: поднять жуткое орово и начать скандалить. Что, собственно, и начинает делать Галина Михайловна при полной поддержке со стороны Татьяны. К моему великому ужасу. Бог с ним, с праздничным застольем, но можно хотя бы не превращать нашу женитьбу в этот жуткий балаган?

— Что, Ромка, комплексуешь? — интересуется моя избранница, заметив, как я обескуражен и шокирован происходящим.

Судя по всему, мы видим этот день в своей судьбе совершенно по-разному. Для меня это вежа, событие, праздник. Я собираюсь прожить с этой женщиной всю свою жизнь. Родить с ней детей, вырастить их. Делить горе и радости и умереть в один день. Я хорошо понимаю масштаб этого события. Оно — главное в моей жизни, и от него зависит все мое будущее.

А что означает этот день для нее? Почему она так безобразно орет, почему устраивает этот цирк шапито? Зачем это ей? Она не чувствует торжественности момента? Для нее это просто досадная бюрократическая процедура? Понятное дело, не венчание в храме... Но ведь суть происходящего от этого не меняется! Когда они наконец уймутся? Как будто меня и нету здесь вовсе. Как будто я на этом празднике жизни — совершенно постороннее лицо... А может, так оно и есть?

— Заткни свою мамашу! — выразительно шепчу я на ухо Татьяне, когда сил это терпеть уже не остается.

Татьяна вспыхивает, смотрит на меня ненавидящим взглядом. Я ясно вижу, что она борется с желанием развернуться и уйти.

Это самое умное, что ты можешь сейчас сделать! Ну, давай!..

Странно писать об этом по прошествии времени. Ведь понятно, что развернуться и уйти должен был я. Почему так не поступил? Инерция. Не склонен к резким движениям. Какие-то важные решения привык обдумывать не спеша. К браку этому готовился исподволь, постепенно, и вот так, в секунду, взять да и отменить... Не смог! А собственно, как я «готовился»? Явных сигналов, что эти отношения надо прекращать, было с избытком. А я предпочитал их игнорировать. Ну вот и получил. Женился на проблеме. Еще из загса не вышли, а семейного счастья уже полные штаны...

Время до моего отъезда в Арциз быстро сокращается. А тут Танюшу подташнивать стало. Сходила к врачу и вернулась с новостью. Беременность! Не успел мужем стать... Быстро, однако!

И Татьяна, и Кудесникова имели очень четкую позицию относительно абортов. Считали это величайшим преступлением. Убийством. Что было довольно странно, с учетом влияния на их неокрепшие умы театральной тусовки. Там ведь до православной морали далеко, как до Австралии. Тем не менее такие взгляды Татьяны были мне по душе. Значит, не все еще

потеряно. Может, после отъезда всех этих пустышек в Америку православное зернышко в Танькиной душе все же прорастет?

Беременность вносит коррективы в наше планирование ближайшего будущего. Рожать — оно по-всякому лучше в Москве. Но сроки беременности пока такие, что на несколько месяцев вполне можно и в Арциз съездить. А насколько было бы лучше, если б я мог никуда отсюда не уезжать! Но ведь это, увы, невозможно...

А тут еще и проблемы с покупкой билета в Одессу... Разгар лета, и любые билеты на юг в страшном дефиците. Как всегда. Куда ни плюнь — одни дефициты. И толпы Бузеловичей, которые на них паразитируют.

При распределении меня снабдили телефоном штаба Военно-транспортной авиации. Чтобы перед выездом к месту службы я туда позвонил, представился, получил нужные инструкции. Что я, конечно, и сделал еще до поездки в Палангу. Оставил строгинский номер телефона для связи. И вот сегодня, двадцатого июля, неожиданный звонок. Звонит Анатолий Васильевич — мой новый начальник, ведает службой бортовых переводчиков. Именно он будет вызывать меня телеграммами в командировки в составе экипажей в те города, где базируются полки ВТА.

Звонит он с очень конкретным предложением. Получается, что шансы остаться в Москве после выпуска из института не утрачены даже при распределении со вторым английским в никому не ведомую ВТА. Как же это? А вот так. Им желательно иметь «дежурного» переводчика прямо в Москве, чтобы подстраховывать срочные вылеты. ВТА вынашивает этот план уже давно, однако для его осуществления надо, чтобы кандидат обладал московской пропиской.

И вот все срослось. Анатолий Васильевич предлагает мне не ехать ни в какой Арциз, а остаться в столице. Жить дома, просто быть постоянно на связи и в готовности лететь, куда прикажут. И спрашивает, прописан ли я.

— Пока нет, но сделаем быстро! — был мой самонадеянный ответ.

Мне столько раз обещали, что после свадьбы немедленно пропишут, что я не сомневался.

Рассказал тестю с тещей о перспективе остаться с женой в Москве и никуда не уезжать. Пошушукавшись, они закрылись в комнате Евгения Пантелеймоновича, чтобы держать семейный совет. На который я, естественно, допущен не был. Совещались долго. А когда вышли, то, не глядя в мою сторону, молча прошествовали кто куда с каменными рожами. Но Анатолий Васильевич ждал моего звонка, поэтому я спросил прямо, что решили с пропиской. Ответ был уклончивым: «Тебе надо, ты и прописывайся». И объяснили, как пройти в жилконтору. И я, наивный мальчик, действительно туда пошел. Я даже не понял, что меня банально послали. Понял только тогда, когда меня послали уже в жилконторе.

Ну а это унижение мне устраивать было — для чего? Или если уж быть дерьмом, то до конца? Меня просто разыгрывали втемную. Вели

свою игру, в правила и обстоятельства которой я не был посвящен. Только спустя много лет я узнал, что товарища Воробьева, первого мужа Тани, они успели прописать в коммуналке на Горького. А потом решили его использовать, чтобы получить в Строгине не двух-, а трехкомнатную квартиру. Для этого пришлось прописывать Воробьева уже в Строгине. А что он сам? А он не возражал, поскольку, участвуя в этой махинации, получал очевидную гарантию, что теперь так легко его оттуда уже не выпишут. Сидят на крючке, осталось только подсечь. Всему свое время.

Молодцы! Значит, ради своих шмекерских схем они и чужого человека готовы были прописать. А мужа своей дочери, отца будущего ребенка, — его можно и к монахам послать. По принципу «да мало ли что я вам обещал». Все равно ведь уже женился! Впрочем, о своем собственном взгляде на великую ценность московской прописки я уже писал. Это нужно прежде всего беременной Татьяне: и ехать никуда не надо, и муж под боком, за границу летает, деньги для семьи зарабатывает — красота! Спокойно и комфортно. Однако ж нет.

Совсем не Вергинская, а туда же...

Время отъезда неумолимо надвигалось. Кончилось тем, что я без билета, в сопровождении Татьяны приехал на Киевский вокзал брат вагон штурмом. Вроде Гражданская война давно уже позади, а все как прежде.

На Одессу билетов нет. Никаких. Готов был ехать даже в общем. Что же делать? Опоздать к месту службы? Хорошее будет начало... И тут мой взгляд упал на табло убытия. Через двадцать минут отходит поезд Москва — Кишинев. Да, еще не Одесса. Но ведь уже Кишинев! Ни о какой кассе и речи быть не могло. Прямо к вагону, где с легкостью необыкновенной нашел общий язык с каким-то мятым, небритым проводником.

Появившись в части, предстал пред ясны очи командира полка и начальника штаба. Не опоздал! Хотя рабочий день уже на исходе.

Третьего августа тысяча девятьсот восемьдесят второго года началась моя военная служба.

Нас здесь, в Арцизе, пять бортовых переводчиков. Включая меня, новоприбывшего. Вообще-то, это очень много. Обычно в «выездных» полках по две-три клеточки³. Тут и Витебск, и Джанкой, и Псков, и Сеца.

С Арцизом, однако, все веселее. Раньше этот полк действительно много летал за рубеж. А теперь экипажи переучиваются на новый тип самолета, начался ремонт взлетно-посадочной полосы... В общем, лишние мы тут. Но четверо из нас — гражданские, которые вскоре отправятся по домам. А я останусь, и со мной надо что-то делать.

В принципе, невыездной статус Арциза не мешал нормальной работе бортовых переводчиков. Арциз был просто местом формальной при-

³ Клетка — здесь: штатная единица.



писки, где проводили свободное от работы время и получали зарплату. Где мы дожидались вызова на очередной вылет. Приходит телеграмма на строевой отдел, и там сказано, в какой полк тебе прибыть, в чьем экипаже ты летишь и в какую страну.

Переводчики в транспортных авиаполках — как бельмо на глазу у руководства. Вроде и летный состав, но ни к какой эскадрилье не относятся, а в состав экипажа включаются только на время выполнения спецзаданий. Получается, что в полку им вообще делать нечего, кроме как ждать вызова в новую командировку. Но дисциплины ради мы должны обозначать свое присутствие на построениях. Как утренних, так и вечерних.

Поэтому каждое утро переводчики спешат на конечную остановку городского автобуса, откуда один за другим отъезжают крытые брезентовые грузовики. Машины никого не ждут, отходят точно по расписанию. И если не успел, то добираться будешь на перекладных. Со всеми вытекающими.

Приезжаем, завтракаем в летной столовой, становимся в строй. Слушаем объявления командира полка и начальника штаба. Иногда офицеров разводят по шеренгам и командир лично проходит перед строем, вступая в разговор с теми, кто вызывает сомнения. А какие сомнения могут одолевать полковника Байбакова? А разные. Полк считается «пьяным»: Бесарабия, вокруг виноградники, домашнее вино делают почти в каждом дворе. За бутылкой тут бегать не принято. Бегут сразу за трехлитровой банкой. Однако же и пьют в основном не водку, а натуральное вино. Или не натуральное. Многие «производители» в погоне за быстрой прибылью ускоряют процессы брожения искусственным путем. Добавляют в вино всякую гадость, вплоть до куриного помета. Поэтому лучше где попало не покупать. Места надо знать.

И вот полковник Байбаков идет перед строем, присматриваясь да принюхиваясь. Иногда дает офицеру команду: «Два шага вперед!» Случается, что офицер просто выпадает из строя, поскольку стоял только благодаря боевым товарищам, которые поддерживали его с двух сторон. Бывает, что выйдет, но стоит очень шатко. А бывает, и стоит относительно твердо, но от факела его перегара дурно делается уже за пару метров.

А переводчика Колю Григорьева Байбаков любит и частенько ставит другим в пример. От Коли всегда изысканно пахнет чем-то французским. Я точно знаю чем. Тут или «Драккар», или «О'жен», как повезет. В последнее время отечественная торговля стала баловать наших джентльменов этими мужскими одеколорами из Франции. Стоили они немислимо дорого — по двадцать пять рублей за флакончик. Зато запах! Необычный, яркий, узнаваемый. Холостые офицеры могли себе позволить, а женатые — почему-то нет. После свадьбы сразу переходили на «Шипр».

И вот Коля Григорьев в нашем холостяцком ДОСе⁴ знаменит был тем, что по утрам, после ночной пьянки, пробегал по комнатам офицеров в поисках опохмелки. Собственно, в сами комнаты он не заходил, ограничиваясь посещением предбанников и беглым осмотром туалетных полочек над раковинами. Если на полочке стоял «Шипр» или глубоко уважаемый Колей «Лосьон огуречный», он хватал флакончик и убежал к себе. Там выцеживал содержимое в граненый стакан и выпивал одним махом. Опохмелился — полегчало. Теперь можно и на построение. Но иногда Коле везло и с туалетной полочки он прихватывал не завалящий «Шипр», а благородный «Драккар». И употреблял его внутрь точно таким же способом.

И вот величественно проплывающий мимо строя Байбаков вдруг чует этот нежный весенний и одновременно такой мужской аромат. Он же не в курсе, что это Коля только что отрыгнул... Он с презрением смотрит на стоящих рядом летунов и громко произносит:

— А вот от переводчика Григорьева бормотухой никогда не пахнет! Григорьев, два шага вперед! Пусть эти алкаши на вас посмотрят!

Коля послушно шагает вперед. Эх, не упал бы!

Живем мы на первом этаже ДОС-22, предназначенном для молодых холостых офицеров. Четыре переводчика занимают одну комнату. Я туда не вписался, поскольку пятый. Так что мне — отдельный номер практически напротив. Он двухместный, но я там пока один. Ну и слава богу! Не люблю толпу. Окна моей комнаты выходят на такой же двухэтажный дом, сложенный из сероватого силикатного кирпича. Там тоже живут летчики, только спившиеся и возрастом постарше. Обнесенный низеньким штакетником дворик, в нем скамеечки. И даже почему-то песочница. Не знаю, какой юридический статус у этого заведения. Вряд ли больница. Что-то вроде приюта. И вот ходят они по этому дворику в длинных линиялых больничных халатах. Штакетник — по колено высотой, сбежать оттуда ничего не стоит. Но глаза у мужиков потухшие, и желания куда-то бежать не просматривается совершенно.

В начале сентября переводчики из Питера разъехались по домам. Остался я да выпускники Харьковского университета: тот самый, не к ночи будь помянут, Коля Григорьев и второй — Стас Константинопольский. Если целиком, то вообще импозантно получается: Станислав Адольфович Константинопольский. Который любил повторять: «Ребята, я по национальности не русский! А кто — не скажу!» Кокетка такой. На лбу написано, что еврей, а все равно интригует!

По вечерам мы, как правило, играем в преферанс: Коля Григорьев, Стас и я. Еще приходит некто Шемякин, тоже двухгодичник⁵, после МГУ, только не переводчик, а технарь. Странноватый тип. Губы тонкие и вечно синюшные, а взгляд злой. Да и самого его добряком не назовешь. С подвохом такой паренек.

⁴ ДОС — дом офицерского состава.

⁵ Двухгодичник — здесь: выпускник гражданского вуза, прошедший в нем обучение на военной кафедре и отправленный служить в армию на два года в звании лейтенанта.



В преферанс мы играем не на сухую, а непременно под глинтвейн, который заваривается в стальном электрочайнике со стеклянным колпачком наверху. Местное домашнее вино, корица, гвоздика, немного сахара — и ждем, когда в прозрачном колпачке запузырится наш нектар. А потом проигравший бежит за очередной трехлитровой банкой в какие-то дворы и все продолжается. Иногда до утра. Холостяцкая жизнь молодых лейтенантов в дальнем гарнизоне.

А бывает, что для разнообразия выезжаем в «нижний» город автобусом номер один. Его конечной остановкой с той стороны является железнодорожный вокзал, при котором, естественно, имеется ресторан. Считается, что это лучшее заведение общепита во всем Арцизе. Единственное место в городке, где можно культурно отдохнуть. Поначалу у меня возникала ассоциация с фильмом «Вокзал для двоих». Заштатный городишко, привокзальный ресторан... Но вскоре я понял, что она неверна. И дело не в размерах городка, а в безнадежной атмосфере захолустья, которой пропитан весь Арциз.

Потом пришла другая ассоциация, куда более точная, и тоже из мира кинематографа. Она не покидала меня до самого отъезда из этой глуши. Прекрасный фильм с Вертинской и Костоловским в главных ролях — «Безымянная звезда». Там действие происходит в Румынии, в одном из самых глухих ее городков, где главным развлечением для жителей был такой же железнодорожный вокзал, куда все население сбегалось встречать редкие поезда и обедать в привокзальном ресторане. По духу очень близко к тому, что имеем в Арцизе. А ведь Бессарабия, в которой я теперь служу, как раз Румынией до войны и была. Все сходится.

Уже два месяца сижу в Арцизе. «Сижу» — не фигура речи, а печальная быль. Уже октябрь, а я еще никуда не летал. Для начала самостоятельной работы надо выполнить пару стажерских вылетов. А на эти вылеты нас целых шесть переводчиков в очереди стоит. Оно и понятно. Стажеру за границей надо платить столько же, сколько и остальным членам экипажа, — от двадцати до двадцати пяти долларов в сутки. Бешеные деньги! Долларами, правда, никто не платит, а платят чеками, которые можно потом отоваривать в «Березках». Слетал с четырьмя ночевками — сотню чеков получи. Вот и тянут с вылетами, деньги экономят. Хотя коль уж выпросили переводчика, то надо же его в строй вводить!

И Татьяна чего-то в Москве все высиживает, я до сих пор один. А срок беременности все увеличивается... И ехать хочется все меньше... А что, к мужу совсем не тянет? Ну хоть посмотреть, как он там живет? Испытываю по этому поводу смешанные чувства. С одной стороны, молодая жена не особо ко мне рвется, и это неприятно. А с другой... Квартиры у меня здесь нет, с продуктами в магазинах — беда. Вроде восемьдесят второй год на дворе, и эпоха застоя в расцвете, и Брежнев еще жив... Правда, жить ему осталось около месяца, но он пока не в курсе.

Ехал я на днях автобусом с «верхнего» города в «нижний». На почту, Татьяне звонить. А на полпути, на спуске у поворота, огромный та-

кой рекламный щит стоит. И Брежнев там нарисован. Очень схематично, но вполне узнаваемо. Цветовая палитра шедевра не очень богата, всего-то три цвета: красный, черный и белый. Так иногда иллюстрируют произведения Маяковского. И ходовая нынче надпись: «Экономика должна быть экономной!» Так вот, рот у генсека аккуратненько разрезан, и из него торчит палка вареной колбасы. А рот высоко, без лестницы туда никак. Пассажиры автобуса прилипли носами к оконному стеклу: вот это событие!

Когда ехал обратно, губы у генсека были уже зашиты суровой нитью. Не очень красиво, но как есть. Колбасу, надо понимать, изъяли в качестве вещдока. Вот же кто-то не пожалел! Никакой колбасой в Арцизе даже и не пахнет. И мясом тоже. И сыром. На полках одни крупы стоят да консервы. А за вареной колбасой надо ехать в Одессу. Это четыре часа в один конец паровозом на дизельной тяге. А там еще как повезет.

Зато у нас в Арцизе бывают яйца. Из окна моей комнаты хорошо виден магазин «Военторг». Вот приеду, бывает, после утреннего построения, стою задумчиво у этого окна, а из окрестных ДОСов тетки с авоськами вдруг как побегут! Можно подумать, сидели на низком старте. Я уже знаю, куда они мчатся: это в магазин яйца завезли. И всем однозначно не хватит, надо торопиться.

В середине октября Татьяна созрела приехать в Арциз, сделать мне такой подарок ко дню рождения. Беременность — три с половиной месяца. Встречал с поезда в Одессе, дальше автобусом. Пока ехали, рассказывала о московской жизни. Жизнь, оказывается, была ключом. Немного смущаясь, показала мне маленькую цветную фотографию. Валера Бузелович, портретный снимок. Перед отъездом подарил, на память. Кто бы сомневался. Не в этом ли причина столь неспешных ее сборов? Впрочем, это только мысли. Я рад, что она наконец приехала. А ревновать поводов мне никто не давал. Не из-за фотографии же заводиться? Впрочем, легкая тень по моему лицу, наверное, все же пробежала.

— Хочешь, я ее порву? — кокетливо спрашивает Татьяна.

— Сама решай! Что мне до нее? — это уже я.

Мне и в самом деле неинтересна эта фотография. Прятать не стала, сама предъявила. Хотя... Могла бы просто в Арциз ее не тащить. А теперь мне доподлинно известно, что общение все-таки было. Насколько «интенсивное» — я никогда не узнаю. Кому в Арцизе нужен этот снимок? Точно не мне. Может, ей? Может, оформим в рамку — и на тумбочку возле кровати? Толстокожее она все-таки существо. А говорят, что в России не водятся бегемоты...

Дали нам комнату на втором этаже. По соседству — молодые лейтенанты со своими юными женами. Такие же торопыги, как и я. Ну хоть не один. Вещей у Татьяны немного, да и куда, собственно, набирать? Продолжаю ездить на построения, а потом сразу обратно, «домой». Вместе читаем, разговариваем, гуляем окрест. Ездим в «нижний» город. Одно



плохо: с продуктами напряженка. Были на рынке — так и там ничего не купить. Даже сливочного масла не найти. Ездил я в Одессу, привез оттуда вареной колбасы и сосисок. Но много не наберешь — нужен холодильник. Которого нет.

Вопросы хлеба насущного врываются в нашу жизнь жестоким императивом. Татьяна требует, чтобы я в летней столовой не сам завтраки съедал, а складывал все в авоську и привозил ей, беременной своей жене. Как она себе это представляет? И кто мне позволит это делать? Спросил было разрешения, так на меня посмотрели, как на дурака, и сказали, что не положено. Выручает пельменная, которая вот она, рядом, и в которой можно перекусить в любой момент.

Однако через две недели такой жизни Татьяна завела разговор о том, что было бы лучше, если бы ее беременность протекала в более комфортных условиях. Например, при маме, в Москве. Да, беременность — это серьезный аргумент. Ну а если бы ее не было? Осталась бы при муже, как и положено верной, любящей жене офицера? Такой уверенности у меня нет. Решаем, что ей надо ехать. Две недели погостила, хоть повидались. Представляет теперь все до мелочей.

Последние дни октября, везу супругу обратно в Одессу. Дизель неспешно пыхтит по степным просторам Бессарабии, потом вдоль морского побережья и пляжей Затоки... Мне почему-то грустно.

Поезд на Москву уже стоит под парами. Занес вещи, попрощались. Татьяна машет мне рукой из окошка купе. Состав тронулся. Такое чувство, будто перелистнули какую-то страничку.

На следующий день вечером позвонил в Москву — узнать, как добралась. И вдруг на том конце провода истерика! Татьяна орет благим матом. Она со мной разводится, она со мной жить не будет, я сволочь, я привез ее в этот ужасный Арциз...

— Какой там у тебя язык? Итальянский? — верещит лучшая половина.

Сколько горечи, сарказма и обманутых надежд в этих обвиняющих воплях! А ты куда, родная, метила? Прямоком в Рим? Вспоминается яркий эпизод из фильма «Москва слезам не верит»: «Чтобы стать женой генерала, надо за лейтенанта замуж выйти да по гарнизонам с ним помотаться...» Но эта королевишна — она ведь особенная! Какие там гарнизоны!

А в чем я перед ней виноват? В том, что меня распределили на юг Украины? А ведь мы могли и без Арциза обойтись. Или память уже отшибло? Ведь можно было и не посылать меня в жилконтору «прописываться». Но об этом Танечка предпочитает не вспоминать. Кому же приятно ощущать себя лживой скотиной? Лучше побыстрее забыть. Проехали!

Любовь прошла, завяли помидоры? Что-то быстро они завяли. Двух недель в Одесской области хватило. А ведь люди и в Магадане служат. С женами, с семьями. Может, жены немножко другие?



Моя семья рухнет, не успев возникнуть? Моя беременная жена от меня уходит? Принять этого я не мог. Пытался объяснить в письмах, но мне никто не отвечал. Ходил на почту и заказывал телефонные разговоры с Москвой. А потом в грязной телефонной кабинке получал очередную порцию оплеух. Не мог поверить в происходящее.

Десятое ноября. Полк подняли по тревоге. Объявлена повышенная готовность. К чему? А к самому худшему. На построении объявили то, что мы и так уже знали. Нас безвременно покинул генсек Леонид Ильич Брежнев. По уму, сюрпризом это быть не должно. Чай, давно уже не юноша, возраст преклонный. Однако же полное ощущение, что этой своей выходкой он всех застал врасплох. Общеизвестно, что, когда умер Сталин, многие плакали навзрыд. Удивительно, но некоторые всплакнули и при вести о смерти Леонида Ильича. Слезный дар открылся прямо тут же, на построении.

Разбитая ваза не держит воды. Возможно ли счастье под знаком беды?

А буквально за день до этого печального известия я получил долгожданную телеграмму. Меня вызывают в командировку. На первый стажерский вылет — в Багдад. Сначала надо ехать в Москву, забирать в штабе ВТА документы на груз, паспорта с визами для экипажа. И есть возможность встретиться с Татьяной, все обсудить лично.

Вот и встретился. Разговаривать не хочет, ненависть так и прет. Все мысли — только о разводе. Иные варианты даже обсуждать не желает. Контакта никакого. Не родной человек — враг.

Зачем же я женился? Вот так вляпался! Со мной она пробыла в браке даже меньше, чем с Воробьевым... Ну да, я же два с половиной месяца жил в Арцизе один. Пока она тут с Бузеловичем ворковала. Продолжает вальсировать. Может, и правда развестись? Зачем она мне такая? Но у нас все серьезнее: скоро родится ребенок...

По-хорошему, конечно, надо разводиться. Но я угодил в капкан. Воробьев — он гражданский, ему ничего. Да и с командировками за границу никак не связан. А я? Со мной все иначе. Вот полечу сейчас в Багдад. Потом второй стажерский вылет — и начнется настоящая работа. Только в СССР с выездами за границу правила особые. Разведенным выезжать нельзя. А женатым — можно. Сам ты поехал, а жена тут в заложницах сидит. Вроде как гарантия, что никуда не сбежишь.

При этом холостяки работают на выездной работе вовсю. Холостой статус препятствием не является. А развод — совсем другое дело. Что это означает в моем конкретном случае? Банальный запрет на профессию. Если я сейчас разведусь с Татьяной, то никуда уже летать не буду. За границу не пустят, а для полетов внутри страны переводчики и даром не нужны. Вот отстранят меня от работы по профессии — и что дальше?

Чем я буду заниматься? На утренние построения ходить да в преферанс по ночам играть?

Выходит, мало того, что семья распадается, так теряю еще и работу, теряю будущее. А ребенок, который родится? Будет расти отдельно и в конце концов станет чужим мне человеком... Кошмар!

Хорошо, подумаем спокойно. Что ее во мне прельстило? Никакая не любовь. Таня в этом смысле оказалась девушкой с двойным дном. Тогда что? Очевидно, моя профессия переводчика и все тот же выездной статус. Выездная работа в СССР — это и престиж, и хорошие заработки. Именно этого она хотела, но даже намек на это не увидела в Арцизе. Поэтому помидоры и завяли.

Но ведь она ошиблась! Начальный период в Арцизе — это всего лишь предбанник в мир моей регулярной работы. Ее корыстные девичьи грезы в самой ближайшей перспективе начнут воплощаться в жизнь. Будут и командировки за границу, и вполне приличные заработки. И как только это начнется, Тане тут же расхочется разводиться. А там и ребенок родится. После рождения ребенка спеси обычно становится меньше, а ума — наоборот, больше. Возникнет понимание, что ребенку нужен отец, а ей самой — выездной, хорошо зарабатывающий муж.

С ней, положим, все понятно. А как же я сам? Я согласен жить с женщиной, которая меня не любит, а просто устраивается поудобнее за счет моих денег? Или это вынужденный компромисс, чтобы не потерять работу и не лишиться ребенка? Да, именно так. Но с надеждой на то, что после родов наши отношения постепенно окрепнут, молодая дурость из головушки моей супруги улетучится и останется в сухом остатке понимание, что семья — это святое, чем нельзя рисковать, что нельзя бросать под винты, за что надо держаться обеими руками. Возможна такая метаморфоза? Поживем — увидим. Очень хотелось бы.

Этот вылет у меня — из Калинина, на Ан-22. Огромный транспортник «Антей». Перелетели в ГДР, в городок Кетен. Там я наблюдал интересную процедуру закатывания внутрь нашего самолета двух истребителей. Со сложенными крыльями они легко вписались в грузовой отсек, еще и место осталось.

Вылетаем в сумерках. Я сижу рядом со своим инструктором, Рустамом Газизовым, двухгодичником, окончившим Горьковский иняз. Осваиваюсь на месте радиста.

Под крылом проплывают Чехословакия, Венгрия, Югославия. Какие же они маленькие! Быстро сгустилась ночь, города и деревушки далеко внизу отмечены россыпями электрических огней. Веду радиосвязь, а Рустам пошел пить кофе. Под нами уже Адриатика, идем на юг. Справа прекрасно виден итальянский берег, слева — албанский, потом греческий. Нейтральные воды.

Везем истребители, поэтому пролет над натовскими территориями желательно исключить. А так быстрее бы было по прямой, через Турцию.

В Багдаде эти истребители очень ждут. Идет ирано-иракская война. Немножко странная в том смысле, что Багдаду помогаем и мы, и американцы, и немцы с французами. А Иран — один. И проигрывать эту войну он не собирается. Ну да, персы — хорошие воины, а арабы никогда такими не считались.

Сирийское небо для нас открыто, а за Сирией уже и Ирак. Заходим на посадку на базу иракских ВВС возле города Хаббани. Спускаюсь по трапу. Вдыхаю теплый, насыщенный южными ароматами воздух. На дворе первая половина ноября, поэтому и не жарко. Подсвеченные дорожки, зеленые газоны, много финиковых пальм. Я впервые за границей. По работе.

Нас покормили с дороги в летной столовой и отправили отдыхать в небольшую гостиницу тут же, на территории военной базы. Лежу с закрытыми глазами, проваливаюсь в сон. Калейдоскоп впечатлений сегодняшнего дня продолжает вращаться в моей голове. Вращается все медленнее, медленнее... останавливается.

Следующий день — приятный отдых. Выгрузили истребители и поехали сначала в Хаббанию получать командировочные деньги у нашего военного финансиста, затем — в Багдад. Просто так, посмотреть.

Вечером ходил в центр отдыха для иракских военных летчиков. Чувствуется, что они здесь на особом положении. Сливки общества. И этот социальный статус ощущается во всем. Центр отдыха включает в себя прекрасный крытый бассейн с шезлонгами вокруг, тренажерный зал, хаммам, откуда я только что вышел. Кроме меня возле бассейна отдыхают двое. Лежат на шезлонгах в снежно-белых махровых халатах. Летчики истребительной авиации. Играет тихая восточная музыка, прислужник в белом балахоне подходит поинтересоваться, что закажут господа. Один заказывает кофе, второй — чай. Да, мне тоже, пожалуйста, чайку.

Медный поднос с выгравированной арабской вязью, а на нем — медный же чайник с длинным изогнутым носиком. Странной формы стаканчики под чай, неслышно скользящий по мозаичному полу слуга, пряные запахи Востока. И все это как-то не по-советски. Условия жизни и отдыха летчиков в моей стране — совершенно иные. А ведь этим авиаторам до наших пилотов ох как далеко!

Вернулся в Москву. Первый вылет позади. Татьяна по-прежнему вещает про развод, но уже не так нахраписто. Заработанные чеки приняла без разговоров. Даже про Багдад пару вопросов задала. Прогресс!

И второй стажерский вылет ждать себя не заставил, но с ним получился прокол. Вылетал я из Витебска, с Женей Филиным в качестве инструктора. Должны были лететь в Анголу. Хороший, денежный вылет. И вспыхнула бы ко мне Танюша новой страстью. Поэтической, есенинской любовью. Он ведь тоже березки любил...

Но не срослось. На киевской таможне нашли у меня в портмоне девяносто рублей и сняли с рейса с формулировкой «контрабанда валюты». Оказывается, можно вывозить не более тридцати рублей. Я этого просто

не знал. И вот теперь контрабанда, да еще и валюты... Конченный человек! Какая ему заграница? Прямым на зону!

В глазах таможенника счастье: поймал контрабандиста, выслужился. Надо же так нагадить из-за девяноста рублей, без которых мне просто не добраться обратно до Арциза...

Придется возвращаться. Для начала — в Москву: доложить о том, что случилось. И не только в штабе ВТА, но и жене Тане, которая ждет моего возвращения с таким понятным нетерпением. Да, Татьяна Евгеньевна, не повезло тебе на этот раз! Мимо носа носят чачу, мимо рта алычу.

Приехал в Сокольники, в штаб ВТА. Рассказал, как меня сняли с самолета, как оформляли протокол о «контрабанде валюты». Как-то меня теперь накажут? Может, вообще от полетов отстранят... Тогда можно смело разводиться. Все равно терять уже будет нечего.

Но нет, обошлось. Пожурили, но и похвалили — за то, что рассказал им эту историю раньше, чем информация прошла по официальным каналам. Есть возможность сработать на опережение. Попросили в следующий раз быть аккуратнее.

В итоге второй стажерский вылет я выполнил в Дамаск. Уже из Пскова. А потом пошло-поехало. Каждый месяц куда-нибудь лечу. В конце февраля повел Таньку в «Березку» и купил ей роскошную дубленку. Красивую, длинную, почти в пол. Как она любит. Дубленка стоит дорого, и своих чеков на ее покупку я, конечно, еще не заработал. Занял, сколько не хватало, у коллег-переводчиков.

Татьяна очень довольна. Сказала, что я все делаю правильно.

А то я не в курсе, чего тебе надо!

А утром первого апреля Таньку увезли в роддом. Я в это время находился в Арцизе, но уже спустя пару дней, в рамках очередной командировки, которую мне по такому случаю оперативно выписали, прибыл в Москву. Стоял на заднем дворе пятиэтажного роддома, а Татьяна показывала мне в окно родившегося сына, моего первенца, — такие сценки любят обыгрывать в женских сериалах. А потом встретил из роддома, отвез домой.

Имя моему сыну давала теща. По согласованию с женой, конечно. Мое мнение никого не интересовало. Митя — в честь Мити Карамазова. Какие тонкие натуры! Залюбуешься!

Вроде общение восстановилось. Хотя, конечно, не в прежнем объеме. Ведется так, через губу. С подтекстом, что брак наш все равно обречен. Вроде про развод больше не голосит, но при этом каждый разговор начинается словами: «Вот, Ромка, когда мы с тобой расстанемся и ты найдешь себе хорошую девочку...»

Митьку вижу примерно раз в месяц, имею возможность заехать на денек-другой. Славный такой малыш. Гукает. Мой путь в любую командировку пролегает теперь через Строгино. И у каждого из нас — своя мотивация. У меня — сына на руках поддержать, у Татьяны — мои коман-

дировочные после вылета получить. И только у Митяя никакой мотивации нет. Просто дергает меня за ухо, смотрит в глаза и смеется. «Будьте как дети...» Легко сказать!

Середина мая. За прошедшие месяцы я уже отметился в Ираке, Сирии, Эфиопии, Анголе — странах третьего мира, где идут войны, тлеют гражданские конфликты. И вот новая командировка, в принципиально ином направлении. Лечу я в Париж на авиакосмический салон в Ле-Бурже. Везем экспонаты и оборудование. Ах, как возбудилась Танечка! Париж — это круто! У них в редакции выездные переводчики всегда считались элитой. А уж те, кто имел выезд в европейские страны, вообще составляли касту недосыгаемых. И вот после голодного Арциза, после этого захолустного гарнизона в причерноморской тьмутаракани — и вдруг Париж? Тут и в Багдад-то верилось с трудом...

По Тане видно, что она довольна. Даже с разговорами про развод стала притормаживать. Но полностью все восстанавливать не торопится. Ведь если «забыть» о серьезнейшем кризисе отношений, из которого мы каким-то чудом выползаем, то в перспективе должен встать вопрос о совместном проживании. А в ее планы это, похоже, совсем не входит. Ей и так хорошо.

Вылетать мне предстоит из Сежи. «Посадка на рейс Сежа — Париж началась!» — забавно звучит. Примерно как «межзвездный турнир Васюки — Большая Медведица»...

Добрался из Москвы до Брянска, дальше электричкой. Деревенька — в микроскоп не видно, а аэродром там — один из крупнейших в Союзе. Говорят, способен принять до ста «Антеев». Всякий, кто приезжает в Сежу в командировку, наслышан о «прекрасной мельничихе» — официантке Мане, что работает в летной столовой. Летчики называют ее Манька Облигация, а она и не обижается. Любвеобильна и малограмотна, прямо как героиня известного фильма. Если на душе тоска и хочется тепла и ласки — то это к Мане. Не откажет, поможет развеять скуку. А кто без греха — пусть первый бросит в нее камень.

После трех дней подготовки наш огромный «Антей» взял курс на Париж. С посадкой в Борисполе, где прошли таможенно. Видел я того козла, что шил мне «контрабанду валюты». Узнал меня, но делает вид, что все забыл. Ну и ладно. Планов мести я не вынашиваю.

Авиакосмический салон проходит в Ле-Бурже раз в два года, по нечетным. А сейчас как раз восемьдесят третий. Поселили наш экипаж в отеле «Президент», на рю Клебер. Очень удачное расположение. До Триумфальной арки — пять минут ходу, а в другую сторону — минут десять до Эйфелевой башни. Сеять свои семечки на чужих, Елисейских полях я не буду. Денег маловато. Бродили по улицам, по магазинам, заглянули на Монмартр. Одни арабы! Приятная кафешка возле Сакре-Кер, которой лет четыреста...

Утро вылета, мы завтракаем в ресторане отеля. Изобильный шведский стол, все вкусняшки. И вдруг вижу: один из членов экипажа на-

правляется к этому столу с авоськой. Что он собирается делать? Внутри шевельнулось нехорошее предчувствие. Да! Так оно и есть! Накладывает в авоську колбаску, сыр, фрукты, а сверху пристроил ананас... Остальные с завистью наблюдают за его действиями из-за стола. Вот оторвался от стула второй, потом третий... Замечаю ехидные улыбочки обслуживающих халдеев. Что же делать?

План сложился быстро. Тоже встаю и подхожу к стоящему у двери официанту. Спрашиваю его шепотом, когда заканчивается время завтрака. Он мне отвечает, и я возвращаюсь на свое место.

— О чем ты с ним говорил? — Члены экипажа настороже. Ведь еще неизвестно, как все обернется.

— Я спросил, можно ли брать еду со шведского стола на вынос.

— И что он ответил?

— Говорит, берите на здоровье. Потом вычтут из командировочных. Это не так уж дорого.

Повисла напряженная пауза. Вдруг первый, который с ананасом, встает и направляется обратно к шведскому столу. Вынимает и раскладывает по тарелкам все, что так аккуратно сложил в авоську. То же самое проделывает и второй, и третий... Слава богу! Хозяйственные вы мои...

Летим обратно. В Ле-Бурже нас хорошо затарили бортпайками. В красивых коробочках завтраки, обеды. На таможенню садимся в том же Борисполе. Экипаж отчего-то нервничает. Все напряжены, молчаливы. Офицеры таможни усердно ищут. Ведь из Парижа можно много чего привезти! Роются в личных вещах, простукивают обшивку, просят механика открыть панели в грузовом отсеке... Ничего! Ну, на нет и суда нет. Они уходят, а мы идем на взлет.

От Киева до Сещи — совсем коротенький перелет, даже высоту толком не успеваем набрать. Под крылом — брянские леса. А вот показался аэродром: две полосы накрест, а по кругу — огромная рулежка. Заходим на посадку.

— Прилетели, ребята! Прорвались! — это радостный голос штурмана по внутренней связи.

— Закрылки! Твою мать, закрылки! — орет кто-то благим матом.

Все прилипли носами к иллюминаторам. А из-под выпущенных закрылков вылетают блестящие упаковки. Господи, что это? В самолете гробовая тишина. Открытые рты, бессмысленно выпученные глаза. Случилось что-то страшное.

Уже после посадки радист мне рассказал, что в Париже экипаж закупил женское нижнее белье. На все. По заказу жен и боевых подруг. Ну и на продажу, конечно. Контрабанда, которую на разрешенные тридцать рублей закупить трудно. И спрятали все это под закрывками. Которые по этой причине нельзя было выпускать ни при посадке, ни при взлете. На киевской таможне волновались, но пронесло. А тут увидели внизу родную деревню, расслабились — и на автомате выпустили эти самые закрывки. Оно и полетело. Все, что было нажито честным, непосильным трудом, — все пропало!

Узнав о случившемся, Манька Облигация плакала навзрыд. Ей, оказывается, тоже везли... Говорят, пару месяцев после этого случая женское население окрестных деревень ходило в лес отнюдь не за грибами. Прочесывали местность в радиусе нескольких километров. Так что, ребятки, не пропадет ваш скорбный труд!

Начало июня, и я в штабе ВТА, на улице Матросская Тишина. Анатолий Васильевич рассказывает мне о ближайших перспективах. Арцизский полк ВТА, в связи с переучиванием, в обозримой перспективе за границу летать не будет. Поэтому переводческие клетки там ликвидируются. Двухгодичники просто разъедутся по домам, а меня надо куда-то переводить. Я ведь кадровый! И есть для меня несколько предложений на выбор.

Можно продолжить службу в Витебске. Или в Пскове. Или в Сеце, поближе к Маньке Облигации, коль уж я де-факто холостой. А есть еще один вариант. В Литве, в городе Паневежисе, полк ВТА стоит. За границу он сроду не летал, а вот сейчас его делают выездным. В связи с этим открываются три переводческие вакансии, и у меня есть возможность одну из них занять.

— Станешь родоначальником паневежской школы бортового перевода, — добродушно балагурит Анатолий Васильевич. — Можешь занять там должность старшего переводчика, а на две другие клетки мы тебе двухгодичников пришлем. Так что выбор у тебя богатый. И, кстати, чтобы принимать решение не с бухты-барахты, есть возможность съездить туда в командировку и лично посмотреть, что это за Паневежис такой. Их полк готовится к своему первому вылету за границу. А это всегда тревожно и волнующе. Важно, чтобы прошло без эксцессов. Ну вот, езжай, подумай, а потом доложишь.

Перевестись из Арциза в Литву, которую так обожает вся Танькина семейка? Которую Галина Михайловна считает лучшим местом во всем СССР? Куда Татьяна, по идее, должна аж бегом побежать? Ха! Возможно, я даже буду прощен за свое подлое, непростительное распределение в Арциз...

Князь Курбский предал свой народ. А я? Я русский патриот!

Странные чувства я испытываю к Вильнюсу. Бывал в этом городе не раз. Там с тысяча девятьсот сорок шестого года живет тетя Рая, старшая сестра моего папы. Она часто гостила у нас в Краснокутске, а я в курсантские годы посещал ее иногда на летних каникулах. Помню один приезд со школьным другом Андреем. Ночевал я у тети Раи только первую ночь, а потом нашел себе такую заводную девчонку (родители уехали в отпуск), что появлялся в теткиной квартире лишь поутру. Мо-



жет показаться странным, но не эта ночная подруга оставила тогда след в моей душе.

Пошли мы как-то с Андреем прокатиться на речном экскурсионном кораблике, оценить вид на Вильнюс с другого ракурса. Солнечный погожий день, тепло, мы сидим в хвостовой части прогулочного судна, о чем-то болтая, глядя на пенный след за кормой. А рядом сидит красивая девушка Вильма, с которой мы только что познакомились. Живет она в пригороде Вильнюса, в Неменчине. И тоже решила сегодня на речную прогулку. Болтаем ни о чем, смотрим на проплывающие берега. Прогулка длится чуть больше часа. Вслух сожалею, что приехали всего на десять дней, три из которых уже позади. Через недельку улетаем в Харьков...

Прошла неделя, и память об этой мимолетной встрече уже начала растворяться в потоке новых впечатлений. Пора возвращаться. Выходим с Андреем из такси, направляемся к зданию аэровокзала. И вдруг прямо перед входом навстречу мне шагает та самая девушка. Вильма. У нее в руках — большой букет цветов. Она приехала меня провожать. Очень смущается... Господи, какая же она красивая! Узнала, когда вылетает самолет на Харьков, и вот решила... На каких-то клочках бумаги мы торопливо записываем адреса друг друга. Она пишет мой институтский, других адресов у меня пока нет. Я в смятении.

А потом пошли курсантские будни, и я начал получать от Вильмы письма. С удовольствием на них отвечал. Ее послания становились маленькими праздниками, прерывавшими монотонное течение моей почти затворнической жизни. В том уголке души, где жила Вильма, было светло и зелено. Как на кораблике, где мы познакомились.

А спустя несколько месяцев переписка прервалась. Вильма перестала отвечать на мои письма. Я продолжал писать, но ответа не было. Может, случилось что-нибудь? А может, кто-то у нее появился...

Прошло полтора года, я уже встречаюсь с Татьяной. И вдруг приходит письмо из Вильнюса, полное горечи и обиды. Вильма живет с матерью и сестрой. И отношения с этой сестрой очень непростые: конкуренция, девичья ревность... Но вот посетило сестру раскаяние, и решила она снять камень с души. Рассказала, как было дело. Оказывается, все последние мои письма она перехватывала и сжигала, превращая в печальный пепел. Сначала Вильма ждала и страдала. Потом решила, что я не хочу поддерживать с ней связь. Может, кого-нибудь полюбил...

Поздно... А может, и не поздно еще было? Как бы сложилась моя жизнь, если бы я оставил Татьяну в тот, начальный период отношений — ради Вильмы? Но, к сожалению, начало — оно всегда бывает бурным. Гормоны блокируют нормальную работу мозга. Да и прошло уже столько времени. А в активе наших с Вильмой встреч — только прогулка на том кораблике... Яркая, как вспышка молнии.

И вот я снова в Вильнюсе. Платформа номер шесть Вильнюсского автовокзала. Вот мой автобус с табличкой Panevėžys на лобовом стекле.

Литовская речь. Занимаю свое место. Соседка — милая девушка, сидит читает книгу на литовском. Автобус отходит точно по расписанию и, петляв немного по малосимпатичным привокзальным районам, выезжает на автостраду, ведущую в Ригу, а по дороге прихватывающую Укмерге, Паневежис, Пасвалис. Дороги — это гордость литовцев. Они здесь и в самом деле хороши, совсем не как в глубинных регионах России.

Литовцы объясняют это тем, что они — другие: более культурные, более европейские. Поэтому, мол, и дороги у них лучше. Странно, что не понимают очевидного. Мы ведь в одной стране живем. И литовцы не на Луне обитают, а в том же СССР, с той же советской властью, с КПСС во главе, с бюджетной нарезкой из Москвы. Значит, Москва выделяет деньги на строительство дорог в Прибалтике, но при этом держит на голодном пайке центральные области России. Для чего? Чтобы подпитывать чьи-то националистические грезы о своей местечковой исключительности? Все они такие важные на портретах — члены Политбюро... А мозги-то есть? Понимают, что творят и чем это когда-нибудь закончится?..

Впрочем, мысли эти носят мимолетный характер, ибо внимание мое поглощено литовскими пейзажами, проплывающими за окном автобуса. Перелески, поля, хутора, там и здесь пасутся коровы. Пасторали. Достал из пакета книгу, полистал. Соседка бросила украдкой заинтересованный взгляд. Заприметила, что книга на русском. Что-то внутри подсказало, что самое время подать голос.

— В этом году в Аргентине ожидается рекордный урожай пшеницы. Вам знаком запах свежей аргентинской краяхи? — вежливо интересуюсь я.

«Вот, — подумалось, — сейчас грудью встанет на защиту вкусовых качеств хлебобулочных изделий литовского производства». Ан нет! Девушка оказалась даже не литовкой. Вера Соколова — из маленького литовского городка Укмерге, который мы будем проезжать. Из староворов, которые живут здесь уже столетия. Но родной городок Вера просто проезжает, так как конечная цель поездки — все тот же Паневежис. Она сейчас там живет и работает, преподает в музыкальной школе. Отлично! Первый контакт с населением Паневежиса налажен.

В суждениях Вера была пряма и несколько категорична. Чем-то напоминала Алентову из фильма «Москва слезам не верит». Впрочем, это очевидное отсутствие склонности к притворству говорило в ее пользу. Осознание и подача себя как русской у Веры были выражены очень ярко, но совсем не в ущерб народу, среди которого она родилась и выросла и чьим языком владела как родным. Видимо, полемика на национальные темы была здесь делом вполне обычным и очень злободневным. И протекала, похоже, не всегда в доброжелательном и мирном ключе.

Вечереет, мы выходим из автобуса. И нога моя впервые ступает на землю этого муниципального образования — Паневежиса. Пока — только командировка. Выходит и Вера со своей небольшой сумкой. Что, вот так и расстанемся? Мне кажется, что Вера тоже чего-то ждет. Прошу телефончик. Есть!



Через тропинку между домами попадаю на главную площадь городка. Он не такой уж маленький: сто тридцать тысяч населения. И, говорят, самый литовский во всей Литве. Площадь очень большая, но при этом уютная. Не голый «стадион», а с островками зелени, с дорожками, с магазинчиками и кафе по периметру. И огромная многоэтажная гостиница. Здесь что, туристическая Мекка? Вряд ли. Но коль уж Москва деньги выделяет...

В этой гостинице я и расположился. Бросил вещи, отужинал в симпатичном гриль-баре через дорогу и вернулся в номер. Ах, какой вид из окна! Весь город предо мной, как на ладони. Прямо под окнами — та самая площадь, театр Баниониса, гранитный памятник Ильичу... Я что, буду здесь жить?

В ярко освещенных окнах квартир мелькают тени. Люди занимаются своими привычными вечерними делами. Где-то там и Вера Соколова. Единственный человек, которого я знаю в этом городе... Может, позвонить?

Набираю, гудки.

— Клаусю!

Это, надо полагать, «слушаю».

— Вера, это я, Роман. Я тоже хочу «клаусю»!

Рассказав, как я тут устроился, предлагаю встретиться и посидеть в кафе. Выходить Вера никуда не хочет, а вот если я загляну к ней на ужин — это пожалуйста. Что? Уже поел? Ну тогда на чашку кофе.

А как дойти? Рассказываю, что вижу из окна номера. Оказывается, тот длиннющий пятиэтажный дом, до которого не более пяти минут ходу, жители называют «колбасой». А Вера живет сразу за ним. Не потеряюсь.

Уютная двухкомнатная квартира, маленькая дочка Карина, которая лопочет то по-русски, то по-литовски. Вера разведена, мужа нет.

Паневежис встречает меня вполне гостеприимно.

На следующее утро я уже в штабе полка. Представился командиру, познакомился с экипажем. В учебном классе эскадрильи прорабатываем со штурманом варианты заходов на посадку в аэропорту Дамаска. От этого первого вылета зависит многое, и руководство полка волнуется. Все взлеты и посадки — по непривычным картам Джебпсен⁶, все команды с земли — не напрямую от диспетчера, а через этого незнакомого переводчика. В диковинку все. Мне известно, что Анатолий Васильевич звонил командиру полка и сообщил, что прибывающий переводчик — он не просто так, приедет и уедет, а ему предлагается остаться здесь работать. Что переводчик этот на отличном счету и если он согласится служить в Паневежисе, то Паневежису однозначно повезет. Хороший мужик Анатолий Васильевич! И такая рекомендация от него совсем не лишняя.

⁶ Джебпсен (*Jeppesen*) — американская компания, один из мировых лидеров на рынке аэронавигационной информации и образовательных услуг в области авиации.

...Вылет позади. Все прошло без сучка без задоринки. Экипаж доволен, да и я тоже. Иду с аэродрома со своей командировочной сумкой через плечо мимо здания штаба. На асфальтовых дорожках — островки белого тополиного пуха. Солнце слепит, жара. Прямо перед входом в штаб замечаю командира полка. Такое впечатление, что меня ждет.

— Здравия желаю, товарищ полковник!

Хоть по форме я гражданский летчик, честь надо отдавать.

Геннадий Петрович предлагает подняться в его кабинет и поговорить.

Кабинет у него небольшой, но уютный. Окно выходит на реку Невежис, которая и дала название городу. Хозяин садится за массивный стол, предлагает мне располагаться поудобнее.

— Ну, как слетали, как впечатления? — интересуется Геннадий Петрович, внимательно рассматривая кандидата на переводческую должность.

— Экипаж дружный и слаженный, в такой атмосфере и работать приятно, — бодро отвечаю я.

— Мне тут из Москвы звонили, очень вас рекомендуют. Какое решение вы приняли? Остаетесь?

— Да, мне здесь нравится. Я бы остался. Но...

— Не стесняйтесь, спрашивайте. Какие у вас сомнения?

— Товарищ полковник, а как здесь обстоят дела с жильем?

Геннадий Петрович вызывает по внутренней связи замполита. Замполит — второе лицо в полковой иерархии, его кабинет располагается тут же, рядом. Поэтому появляется он буквально через пару секунд. Зиряк Зайнуллоевич Зиганшин, черноглазый красавец с бархатным баритоном.

— Товарищ подполковник, у нас в управлении появляется новая штатная единица — старший переводчик. Будет обеспечивать вылеты полка за границу. Нужна квартира. Что там у нас по жилью?

— Да вот, товарищ командир, сдаем тридцать седьмой дом на улице Рамигалос. А какая жилплощадь нужна?

— Какой у вас состав семьи? — Это уже вопрос ко мне.

— Женат. И есть ребенок.

— Ну тогда надо давать трехкомнатную. — Это Геннадий Петрович, обращаясь к замполиту.

Но обманывать я никого не собираюсь и сразу вношу коррективы:

— Знаете, ситуация не такая простая. Жена у меня москвичка и выписываться из Москвы вряд ли захочет...

— Это уже сложнее. Значит, квартиру надо давать вам одному. Вообще-то, у нас холостые офицеры в офицерском общежитии живут... Но с вами — особый случай. Зиряк Зайнуллоевич, однокомнатную можем выделить?

— Если надо, то сделаем, товарищ командир!

— Тогда давайте в тридцать седьмом доме. Ключи очередникам еще не раздали?

— Нет, пока не раздал. Но вчера я уже огласил, кто в какую квартиру поедет. Придется кого-то разочаровать. Сейчас, только посмотрю по списку...

— А как долго офицеры ждут своей очереди на жилье? — спрашиваю я.

— У нас в этом вопросе дела обстоят лучше, чем в других полках. Обычно года три-четыре.

— Я еще даже в Паневежис не перевелся, а уже дорогу кому-то перехожу... А если никого не теснить, то когда я мог бы рассчитывать?

Вижу, как теплеет взгляд командира, как улыбнулся замполит.

— Тогда я вам обещаю квартиру в течение года! Слово замполита!

«Слову замполита» я верю не особо. Но этим глазам — верю.

— Спасибо большое! Меня это устраивает.

— Вот и хорошо. Тогда оформляйте перевод в Паневежис. Мы вас ждем!

Позвонил Татьяне, сообщил о своем предстоящем переводе, о возможности получить в Литве трехкомнатную квартиру и жить там всей семьей. Готова ли она выписаться из Москвы и прописаться со мной в Паневежисе? А уж как здесь хорошо по части хлеба насущного! На полках свободно лежит и мясо, и колбасы, и сыры... Совсем не Арциз! Впрочем, тут Татьяну и уговаривать особо не надо. Прекрасно знает, как обстоят дела с продуктами в Литве. И Галина Михайловна знает. Очень довольна, что я перебираюсь в Паневежис. Но не потому, что теперь Танечка с ребенком сможет сытно и комфортно жить при муже. А потому, что в Литве появится своя «дача», куда Танечка сможет время от времени в гости приезжать. Ведь жить-то она все равно будет в Москве! А уж насчет «выписываться»... Я что, совсем с ума сошел?

Пришла пора прощаться с Арцизом. Сожалений особых не испытываю. Страшные события я здесь пережил! Крушение надежд на семейное счастье, рождение сына от женщины, которая меня не любит и жить со мной не хочет. Как будто огненный смерч прошелся по душе. Домик семейного счастья еще не построен, а уже одни головешки.

Полная смена антуража, да еще и с таким явным улучшением бытовых условий, с перспективой получения жилья — надо же, на меня одного! — это именно то, что могло бы отвлечь от проблем на семейном фронте. Ну и придется потихоньку привыкать к странноватому статусу женатого холостяка. Надо обустроить свою жизнь без Татьяны, без семьи. Влюбляться не имею права, поскольку, чтобы жениться, надо сначала развестись. А это в мои планы не входит. По крайней мере, пока... Может, еще одумается?

Начало августа семьдесят третьего года — и я уже в Паневежисе. Пока не дали квартиру, буду жить в офицерском общежитии. По странному совпадению, воинская часть здесь располагается на конечной остановке городского автобуса номер один. Точь-в-точь как в Арцизе. Возле



этой остановки — КПП, сразу за ним довольно широкая река Невежис. От КПП через реку перекинулся мост, по которому каждое утро идут на службу летчики, техники, офицеры управления. Военного городка в Паневежисе нет, офицеры живут в обычных городских квартирах.

Невежис широк и полноводен. По крайней мере, для реки, названия которой я и не слышал, пока не приехал в Литву. На этой реке полк каждую весну несет небоевые потери. Местные прапорщики, живущие на «гражданском» берегу Невежиса, в зимнее время предпочитают не делать крюк через КПП, а пересекать реку по льду, кратчайшим маршрутом. И каждую весну наступает момент, когда лед начинает подтаивать. Тут бы и остановиться, и ходить, как все нормальные люди, по мосту. Но нет. Продолжают переть напрямик, пока кто-нибудь не провалится под лед. Как правило, с концами...

Мое офицерское общежитие располагается прямо на территории части. Сто метров до летной столовой, столько же — до места построения. Живу на третьем этаже, со мной в комнате еще двое: летчик Володя Бережной и штурман Саша Афанасьев. Прибыли и переводчики-двухгодичники, оба из Минского иняза: Серега Пацино и Гена Зданович.

График переводческой службы в Паневежисе примерно такой же, как и в Ардизе. Утром надо построиться, чтобы тебя посчитали «по головам». А после построения — свободен. И повадились мы с Серегой Пацино сразу, с утрачка, выходить по тому же мосту на остановку автобуса номер один для приятной экскурсии в город. Что нам делать в городе? А особо нечего. Погулять, посетить одну кафешку, другую... И чтобы не просто чашечка кофе, а под вкусный тягучий ликер. Серега очень любит ярко-зеленый шартрез, первую рюмку которого мы опрокидываем на полпути к центру города, в кафе-баре на остановке «Скайстакальнис». Шартрез кажется мне слишком сладким, но за компанию...

Практически сразу по приезде я наметил себе культурную программу. Ведь в этом городе есть театр, который считается одним из лучших в Литве, да и во всей Прибалтике. Театралов сюда туристическими автобусами привозят — то из Вильнюса, то из Риги. Все дело в Донатасе Банионисе, который здесь играет. Точнее, играл. Недавно он стал главным режиссером этого театра, и на исполнение ролей времени у него почти не осталось.

Все спектакли идут на литовском, но в большинстве случаев дается синхронный перевод. Сидишь в наушниках, как в лингафонном кабинете. Я пересмотрел практически весь репертуар. По сравнению с московскими театрами, которые я иногда посещал в курсантские годы, это, конечно, откровенно слабо. Но для городка со ста тысячами населения — очень даже ничего!

Наметился у меня друг и среди летного состава — Серега Махалин. Нестандартный, всем интересующийся, идущий на смелые эксперименты. Купил где-то доску на колесиках и начал кататься по дорожкам нашего военного городка. В шортах! Был отловлен парторгом и примерно «выпорот» перед строем. Чтоб другим неповадно было.

Друзей литовских хороводы и чувство внутренней свободы

По вечерам я читал или выходил прогуляться в город, который довольно быстро стал для меня открытой книгой. И вот однажды вечером, закладывая вираж по новому маршруту, наткнулся я на ничем внешне не примечательное кафе «Аушрине», что означает «Утренняя зорька». Странное название для вечернего кафе, ну да ладно. Зашел посмотреть. Внутри интерьер вполне сносный, заполнено помещение под завязку. Можно и поесть, но в основном выпивают. Подошел к стойке, попросил шампанского. Пока делал заказ, рядом появился парень. Худой, высокий, с приятной улыбкой. Слышал, что я говорю на русском. Приглашает присоединиться к их компании. Очень даже кстати, поскольку все столы заняты. Подсаживаюсь к ребятам. Их там трое. Пригласивший меня — Аурис. Второй — крупный, высокий, в теле — Видас. Третий ни худой, ни толстый, спортивного вида — Аугис, по-русски — Женька.

В ходе разговора узнал много интересного. Все трое одного возраста, двоюродные братья, из разных семей. У нас и между родными-то не всегда связь поддерживается, семейные узы ослабли. А тут все немного иначе. Дело, видимо, в том, что Литва по-настоящему вошла в состав СССР только после войны. Культ Павлика Морозова их не коснулся. В этом отношении можно сказать, что повезло. По-русски говорят неплохо, отслужили в армии. Тем не менее сразу выясняется, что их родители в послевоенные годы прятались по лесам, устраивали засады... Были «лесными братьями», одним словом. Считали, что сражаются за свободу Литвы. Но времена те давно позади...

Оказывается, в «Аушрине» собираются в основном завсегдатаи. Многие друг друга неплохо знают.

Так появились у меня первые литовские друзья. Стал я захаживать в «Аушрине» регулярно и почти всегда находил их там, иногда всех троих, иногда порознь. И для остальных завсегдатаев вскоре стал вполне «своим».

У литовцев отношение к границе особое. Примерно как в московской семейке моей жены Татьяны. Можно сказать, боготворят. Поэтому, как только узнают, что я переводчик, да еще и регулярно летающий за границу, ледок отчуждения сразу тает, а на его месте появляется желание завязать неформальный дружеский контакт. На русском языке, поскольку литовского я, увы, не знаю. Это «увы» — не шуточное и не наигранное. Я действительно хотел бы его знать. Во-первых, изучать языки мне нравится и получается это у меня очень хорошо. Во-вторых, коль уж жизнь меня сюда забросила, то зачем упускать такой шанс? Никакой язык лишним не бывает.

Под эти рассуждения я даже разузнал, где можно поучиться литовскому. Выяснил, что в Доме офицеров есть языковые курсы для желающих, совершенно бесплатные. Но в итоге так и не пошел, поскольку ра-



бота моя сплошь состояла из командировок. Уезжал на полмесяца, затем на полмесяца возвращался. Отдыхал, отмывался, ходил в «Аушрине» к своим новым литовским друзьям. И все же, когда вокруг почти исключительно литовская речь, трудно не нахвататься хоть какой-нибудь лексики. Тем более что она оказалась удивительно схожа с русской: много общих корней. Не зря великий Пушкин называл литовцев славянами...

Правда, так благостно общаться получалось не везде и не со всеми. Вернулся я как-то из командировки. Зимний вечер. Летная столовая уже закрыта, а есть хочется безумно. И поехал я на автобусе в центр — поужинать в гриль-баре. Повесил на вешалку при входе свой новый кожаный плащ, заказал курочку, присел за единственный свободный столик. Бар маленький, и столиков там всего четыре. Пока ждал курицу, зашли еще трое: два парня и девушка. Свободные места — только за моим столиком. Спросили разрешения, сели. Сразу же поняли, что оказались в одной компании с русским. Завели беседу, начали расспросы. Но без доброжелательности, с какой-то ноткой агрессии.

А вот и еда моя готова. Забрал у бармена тарелку, начинаю есть. А парни не унимаются. Похоже, решили покрасоваться перед девахой. Словесные эскапады становятся все неприятнее. А за соседним столиком сидят еще четверо. Похоже, их друзья. Переговариваются с ними время от времени.

— А ты не подавишься нашей литовской курочкой? — глумливо вопрошает тот, что сидит прямо напротив.

Да, я настроен на сдержанность. Но вывести меня из равновесия не так уж трудно — горяч. Вскакиваю, хватаю наглеца за грудки. Он тоже вскочил, второй парень и девка нас разнимают. Вроде проехали, сели на места. Но не успел я притронуться к трапезе, как этот обормот протянул руку и влез ко мне в тарелку. Поковырявшись пальцами, выцепил из соуса крылышко и стал его обсасывать. Хорошо, что после первого обострения у меня было несколько секунд, чтобы обдумать дальнейшие действия.

Перед гриль-баром — центральная площадь, ходят люди. Но можно через узенькую арку в доме нырнуть на площадку заднего двора. Там уже никого нет. А за этой площадкой — не такое уж маленькое озеро Сайнаге с мощеной дорожкой вокруг. Ландшафтная доминанта городского центра. Летом там гуляет много народу, а сейчас — темно и пусто и озеро сковано льдом.

Девка поощрительно хихикает, парень посматривает на меня с прищуром, ожидая взрывной реакции. Битюки за соседним столиком тоже оторвались от еды, наблюдают за происходящим. А этот нахал, посмеиваясь, выписывает ворованным крылышком разнообразные кренделя. Прямо перед моим носом. Типа дирижирует в такт звучащей в баре музыке.

— Зачем нам устраивать разборки прямо здесь? Пойдем на улицу, поговорим, — спокойно предлагаю я.

Очень рассчитываю, что это мое спокойствие введет их в заблуждение. Ситуация непростая. Можно даже сказать, хреновая. Я один, а их

шестеро. И если они сразу пойдут вместе с ним, то ничего хорошего меня не ждет. В этом случае с центральной площади никуда нельзя уходить. А если они сразу за ним не пойдут... На это и рассчитываю. Но хорошо понимаю, что даже в этом случае времени у меня в обрез, ведь все равно вывалят наружу посмотреть, что происходит...

В институте я занимался карате. Это была особая честь, и допускали на такие занятия далеко не всех. Только отличников. От нашего курса — меня да Лешу Курникова. А вел курсы знаменитый Тадеуш Касьянов⁷. Конечно, я там многому научился и вполне мог за себя постоять. Но тут кроме быстроты и четкости действий требовалась еще и изрядная доля везения.

Встаем из-за стола, направляемся к выходу. Большой соблазн захватить по дороге свой новенький кожаный плащ. Но тогда они поймут, что возвращаться я не собираюсь, и точно пойдут следом. Поэтому иду в чем был. За мной — этот хренов «дирижер». Остальные провожают нас взглядами. Выходим, и я сразу предлагаю ему пройти в арку на задний двор. Времени у меня не больше минуты. Поэтому на его вальяжное: «Ну, что ты хотел мне сказать?» — я отвечаю резким ударом в челюсть. Получается коротко и жестко. Парень падает. Пытается подняться, но я тут же роняю его снова. Третий удар, четвертый... Мое бешенство вырвалось наружу. Я сгораю от желания выбить из этого подонка всю его националистическую спесь, стереть эту наглую ухмылку с его поганой рожи. Мимоходом жалею, что не захватил со стола куриную ножку. Куда бы я ему сейчас ее воткнул, даже подумать страшно... Но надо уходить. Приятели вот-вот пойдут его искать. По-хорошему, бежать бы мне в чем есть, да жалко кожаный плащ.

Залетаю в гриль-бар в тот самый момент, когда дружки «дирижера» уже поднимаются из-за стола.

— А где Альгирдас?

— Ждет. Мы еще не договорили. Там прохладно.

Успокоенные, они опять присаживаются.

Беру свой плащ и снова выхожу. Снег падает крупными хлопьями, кружится в желтом свете фонарей. Я на ходу натягиваю плащ, перебегаю через дорогу и скрываюсь в узком проходе за театром Баниониса. Старый Донатас даже не догадывается, какие сюжеты предлагает реальная жизнь прямо под окнами его заведения.

Мчусь на остановку «первого». Прибежал, отдышался. Погони вроде нет. Ушел.

В принципе, в Паюосте⁸ можно и не ехать. Прямо через дорогу от остановки живет Вера. Но я взвинчен, мне надо успокоиться. Да и рассказывать ей об этой истории неохота. Зачем?

⁷ Касьянов Тадеуш Рафаилович — советский и российский спортсмен, мастер рукопашного боя, актер, каскадер и постановщик трюков в кино. Стал широко известен после того, как сыграл боцмана в советском боевике «Пираты XX века».

⁸ Паюосте — место расположения военного аэродрома и гарнизона на окраине Паневежиса.

У Веры я иногда бываю. Но нечасто, чтобы избежать привыкания. Постоянные отлучки из Паневежиса помогают мне достичь этой цели. Она знает, что я женат, и не питает иллюзий.

Через пару-тройку дней заглянул в «Аушрине», встретил там Видаса. За бокалом шампанского, среди прочих разговоров, он рассказал мне о драке, которая произошла недавно возле гриль-бара. Русский избил литовца. Сломал ему челюсть и убежал. Догнать не удалось. Видас кипит и негодует по этому поводу. Решаю, что лучше все ему рассказать, и рассказываю. Со всеми подробностями.

Видас долго молчит, потом выносит вердикт:

— Ты поступил правильно!

Ну что ж, приятно слышать. Значит, наша дружба уже чего-то стоит.

На одном этаже со мной в офицерском общежитии живет молодой лейтенант Данила Сазонов. Немножко глупый, в чем-то наивный и очень добрый. Мы, конечно, не друзья, но иногда пересекаемся в общаге, а бывает, что и перекинемся парой слов.

Данила — фанат хоккея. Не совсем патриотично болеет за канадскую сборную. Прямо сходит с ума. А в канадской сборной есть обожаемый Данилой кумир — Винни Гретцки⁹. Если бы Данила умел рисовать, то наверняка написал бы его икону и молился бы на нее всякий раз, возвращаясь к себе в комнату после ужина в технической столовой.

И вот однажды поднимаюсь я по лестнице после очередной командировки на свой третий этаж общежития, мечтая побыстрее добраться до постели. А на следующее утро у меня новый вылет — в Аддис-Абебу. С экипажем из Паневежиса.

Мне навстречу спускается Данила Сазонов.

— Роман, привет!

— Привет!

— Из командировки?

— Да, Данила. Устал как собака!

— Ничего, сейчас отоспишься.

— Отоспаться особо не получится. Завтра в шесть утра подъем.

— Что, опять куда-нибудь летишь?

И тут словно какой-то бес начал нашептывать прямо в мой утомленный мозг. План довольно глупой шутки созрел мгновенно.

— Да, Данила. В Канаду!

Данила аж присел. Глаза округлились. Хватает ртом воздух, но звуков пока не издает. Наконец:

— Надолго?

— Да нет, Данила. Всего-то на три дня. Груз доставим, отдохнем — и обратно.

⁹ Уэйн Дуглас Гретцки — центральный нападающий канадской НХЛ в 1978—1999 гг., один из самых известных спортсменов XX века.

— Роман... Я понимаю, что это, может быть, наглость с моей стороны... Хочу спросить...

— Спрашивай!

— Ты не мог бы мне оттуда привезти... шайбу? Ты не бойся, я деньги отдам! Сразу.

— Шайбу? Да отчего же не привезти? Места она много не занимает. А что так скромно? Может, еще чего прикупить? Ну коль уж я все равно туда лечу?

Данила смотрит мечтательно. Он даже у Деда Мороза таких подарков не смел просить... Шел себе вниз по лестнице, никого не трогал...

— Роман, ну если можно... Я так хотел клюшку...

— А чего ж нельзя, Данила? Давай и клюшку привезу. А что про шлем молчишь? Не нужен?

— Ну-у-ужен! — взвыл Данила. — Еще как нужен!

— Слушай, я едва живой, завтра утром ничего уже не вспомню. Ты давай это... Список составь. Пронумеруй по пунктам. Пиши туда все, а я уж посмотрю, что получится раздобыть.

— Список?

— Список!

Данила умчался наверх, забыв, зачем шагал вниз. А я дополз до своей комнаты, разделся, лег и тут же вырубился.

...Кто-то настойчиво тормозит за плечо. Вокруг темень. Смотрю, ничего не понимая, на светящийся циферблат часов. Пять утра. Мог бы еще целый час отсыпаться!

— Данила, тебе чего?

— Роман, это... я список принес!

Спросонок ничего не соображаю. Какой список? И вдруг — дошло! Я мгновенно проснулся. Не может быть!

Включаю свет. Горящие от возбуждения глаза Данилы, дрожащие его пальцы, тетрадный листочек в клеточку... Беру, читаю. Тут все причиндалы формы хоккеиста. Коньки сорок второго размера, наколенники, налокотники, шорты, майка с номером Винни Гретцки... Всего двенадцать пунктов. Меня разбирает смех. Бес все куражится в моей отдохнувшей за ночь башке.

Господи, неужели он такой наивный? Ну-ка, вот сейчас дам ему подсказку, пусть меня разоблачит!

— Знаешь, Данила, а ведь Винни Гретцки не только у нас популярен. Его и в Канаде считают героем!

— Да уж, представляю!

— Ты еще кое-что забыл в список дописать.

Данила насторожился. Похоже, он провел бессонную ночь, список выверил до мелочей. И вдруг выясняется, что что-то забыл?!

— Можешь дописать: «Слезы Винни Гретцки». Они там продаются в аптеках по десять центов за пузырек. Фанаты раскупают со свистом. Дефицит! Но поискать можно.

Данила выхватывает у меня листок и тринадцатым номером дописывает туда... «слезы Винни Гретцки»!

Мне почему-то не смешно. Мне стыдно. Данила — чистая душа. А я вот так... Если сейчас ему признаюсь, он меня проклянет. Лучше потом, после командировки, скажу, что в последний момент Монреаль заменили Аддис-Абебой...

После обещания замполита прошло одиннадцать месяцев. А после моего официального перевода в Паневежис — всего десять. Теплое зеленое лето тысяча девятьсот восемьдесят четвертого, и я получаю свою первую в жизни квартиру. А ведь это праздник!

На утреннем построении замполит раздавал ключи счастливым новоселам. И вот эти ключи у меня в кармане.

Куда мы едем после построения с Серегой Пацино? Правильно, квартиру смотреть! Располагается она на той же улице Рамигалос, только в самом ее конце. Минут пятнадцать пешком от центральной площади. Поднимаемся на второй этаж. Заходим. Так. Прихожая, дальше — большая кухня. Направо — просторная, светлая комната с выходом на лоджию. Лоджия длиной метров семь, и оттуда открывается чудесный вид на две ветряные мельницы, на зеленый стадион рядом со зданием школы.

В квартире совершенно пусто, пахнет краской. Заворачиваем на кухню. Ее окно выходит на ту же лоджию. Справа — стена, отделяющая кухню от комнаты. Я вдруг понимаю, что мозг уже нарисовал будущую расстановку мебели. А еще он нарисовал... довольно большое окно в этой стене! С красивыми деревянными створками! Я сижу в комнате на диване перед телевизором, а жена подает мне через это окно кружку пива и орешки. Ну а не будет жены — значит, будет лицо, ее замещающее. Все будет так, как хочется Татьяне. Даже упираться не стану!

Осмотрелся вокруг. В углу стоит, забытый строителями, ржавый топор с потеками засохшего цемента. Я его беру и неожиданно для Серегина наношу мощнейший удар по этой стене обушком. Потом еще один! И еще! По центру стены образовалась большая дыра.

Сергей смотрит на меня в ужасе. Не бойся, дорогой! Ты в безопасности. И с ума я от счастья не сошел. Просто уже начал отделочные работы. Ну да, пока что грубыми мазками.

Сели в комнате на голом полу, разлили предусмотрительно прихваченное шампанское. И внутри такое чувство, что начинается новая жизнь.

Теперь надо обставлять квартиру мебелью. Только вот никаких денег для этих целей я не накопил. С учетом командировок зарабатываю очень неплохо, но большая часть идет на содержание семьи в Москве. Себе оставляю только на текущие расходы, сбережений нет. На что же обстановку покупать? Выручили родители. Радовались этой квартире, наверное, больше, чем я сам, и оперативно выслали мне телеграфом две тысячи рублей. На мебель. Я даже не просил.

Есть поговорка, согласно которой «никто не положит, все только возьмут». В целом правильная, она все же не учитывает родителей. Да, есть в моей жизни люди, которые затаив дыхание следят за каждым моим успехом, за каждой моей неудачей. Которые радуются и огорчаются вместе со мной. Которые всегда готовы прийти на помощь. Мои папа и мама.

В Паневежисе есть большой мебельный магазин «Клявас». И всякой разной мебели там предостаточно: красивые стенки, диваны, кухни... Но народ и здесь умудряется создать дефицит. Каким образом? Очень просто. Бывают, к примеру, стенки за полторы тысячи рублей, а бывают за восемьсот. А по эстетике — практически одно и то же. Поэтому первые стенки будут стоять в «Клявасе» месяцами, а за вторыми народ устраивает настоящую охоту. Вот почему работа моего друга Видаса считается престижной. А работает он грузчиком в этом самом «Клявасе». Как все же деформирует взгляды на престижность профессии призма дефицита!

В квартире пока кроме телефона — только стол со стульями на кухне. Красивый комплект из цельной древесины, в литовском стиле.

А вот и Видас звонит:

— Роман, срочно приезжай! Появилась стенка «Секлича-5». Задержу на разгрузке!

И вот я уже в «Клявасе». Прекрасная стенка литовского производства, прозрачный светлый лак, структура древесины хорошо видна. И всего семьсот рублей! Покупатели месяцами ее караулят, но достается она мне. Оформляем покупку.

Видас — не только грузчик мебели, он в свободное от работы время еще и сборкой занимается. Заказов хватает.

— Роман, не надо самому ничего крутить! Приеду в субботу, соберу.

Поскольку стенка обошлась недорого, то денег хватило еще на диван, холодильник, телевизор, напольный ковер в комнату, шторы... В общем, вписался в родительский транш по всем позициям.

А окно из кухни в комнату получилось вполне симпатичное.

Моему Митяю между тем уже полтора года. В командировки летаю через Москву, так что изредка его вижу. Дня три в месяц получается. Обеспечиваю, как могу, деньгами. Когда прилетаю, Татьяна со мной спит. Но при этом в Паневежис перебираться не собирается и продолжает тянуть все ту же волюнку: «Вот, Ромка, когда ты наконец найдешь себе хорошую девочку...» Да нашел я уже, и не одну. Так что можешь успокоиться. Знающие сроки — не суетятся.

А недавно произошел отвратительный случай. Мои родители решили поехать в Москву посмотреть внука, познакомиться в личном режиме со сватами. И, конечно, напоролись. Они даже не представляли себе, в какое дерьмо вяпался их сын...

Ехали, везли подарки. Татьяна их встретила на вокзале и повезла... Вы думаете, домой? Нет, к подруге Оле Кудесниковой. Посадили их на кухне часа эдак на три, а сами в другой комнате закрылись и занимались

чем-то своим. Танюшу сильно раздосадовало, когда мои родители постучали к ним в комнату, чтобы сообщить, что очень устали с дороги и хотели бы чего-нибудь поесть.

Недовольно фыркая, перевезла их в Строгино, где их даже толком не накормили. Да и со «сватами» общения никакого не сложилось. Те ходили молча, морды кирпичом. В общем, «приехали». А под конец Татьяна нахамила моим с три короба, и они оттуда ушли, потрясенные увиденным и пережитым.

Это была демонстрация реального отношения к их сыну. Чтобы осознали, какое место в семейной иерархии он на самом деле занимает. Если он здесь никто, то его родители — и подавно. Конечно, папа и мама рассчитывали, что их в Москве достойно встретят, накроют праздничный стол. У себя в Краснокутске они бы так и поступили. Какая же пропасть между нашими семьями! Поэтому такие разные и мы с Татьяной. Воспитаны по-разному. И как слепить это воедино? Возможно ли?

А ведь я отдаю ей ежемесячно большую часть заработанного! Отдаю исключительно ради Митяя. Испытывая к ее семейке примерно те же чувства, что и к литовцу Альгирдасу, который копался пальцами у меня в тарелке: презрение и брезгливость. Но если бы я мог, то и без этого эпизода давно бы уже развелся. Останавливают две причины: сын и еще работа.

Чувствую себя виноватым перед папой и мамой. Если бы только я мог предположить, что эти вурдалаки так их встретят, разве я разрешил бы им ехать в Москву?!

Заканчивается восемьдесят четвертый год. Я уже неплохо обжился в своей квартире, а офицерское общежитие полгода как осталось в прошлом. Привожу из командировок картины, маски, статуэтки из черного дерева. Украшаю свое холостяцкое логово экзотическими артефактами, и оно все больше смахивает на жилище героя из фильма «Экипаж». В симпатичном баре, выполненном в виде деревянного бочонка, джин, виски, ликеры, шампанское. Всегда готов к визиту друзей.

Продолжаю заглядывать в «Аушрине». Зимы в Паневежисе мягкие, теплые. Чуть ниже нуля. Народ на улице всегда без шапок. Стиль такой. И даже маркер — тест на национальную принадлежность. Если видишь кого-то в шапке — значит, точно русский. Поэтому, если хочется понять, много ли в Литве русофобов, надо надеть зимой шапку и прогуляться по улицам. Многие пройдут мимо, не обращая внимания. Но будет немало и таких, кто начнет подчеркнуто на вас пялиться, что-то шептать товарищу на ухо, оглядываться назад после того, как уже разминулись. Цель такого поведения — сделать так, чтобы вы почувствовали себя не в своей тарелке. Чтобы напомнить вам, что вы здесь — чужой, которому не рады.

Есть альтернатива — стать таким, как они. Отморозить себе мозги. Не носить шапку. Мимикрировать. А чтобы мимикрия была полной, надо в быту перейти на литовский. Тогда уже будешь воспринят как свой.



Или ты должен быть каким-то особенным. Например, переводчиком, который только и делает, что пасется за границей. Тогда то обстоятельство, что ты русский, становится в глазах знакомых совершенно вторичным.

Моя мимикрия под литовца ограничилась отказом от головного убора. И то исключительно потому, что и сам не имею привычки носить шапку, если снаружи около нуля. А сегодня — именно такой вечер. Тепло, штиль, валит крупными хлопьями снег.

Зашел в «Аушрине», подсел к кому-то из знакомых. Потягиваем мартини, болтаем ни о чем...

Вдруг появляется взъерошенный Аугис:

— Роман, пойдём! Помощь твоя нужна!

— А что случилось?

— Пойдем, там расскажу!

Не знаю, как уж так вышло, но знакомые в Паневежисе считают меня хорошим бойцом, владеющим карате. Преувеличение, конечно. Никакой я не мастер. Но что-то, наверное, могу. А тут еще эта история с гриль-баром, которая быстро стала известна всему Паневежису. В общем, добавился еще один романтический штрих к моему и без того романтическому портрету.

Глаза у Женьки горят, он чем-то очень возбужден. Рассказывает. Есть у него девушка Диана. Встречаются, любовь-морковь. Пару раз я ее видел, но мельком. Учится в музыкальном училище. Родом из Кельме, а в Паневежисе вместе с подругой снимает комнату в доме прямо напротив «Аушрине». И Женька видел, что они привели к себе двух здоровых парней! Сидят там внутри четвером. Если еще сидят. Надо бы с ними разобраться — чтобы пропала у Дианы охота хвостом крутить. А на штурм лучше идти с товарищем. Со мной, стало быть.

Вечер перестает быть томным. Ладно, Аугис, веди!

Квартира расположена на первом этаже. Аугис звонит. За дверью шорохи, шаги. Видимо, нас изучают в глазок. Слышны мужские голоса, ключ начинает проворачиваться в замочной скважине. Вдруг женский крик:

— Не открывайте, там Роман! — по-литовски.

Вот, значит, как меня здесь воспринимают!

Впрочем, этот крик помог избежать прямого боестолкновения. Кричала, как выясняется, Диана. Дверь осталась на замке, а осажденные надолго затихли. Что же делать?

— Женья, а балкон здесь есть?

Вряд ли, конечно. Первый этаж все-таки.

— Есть! — обрадованно реагирует Аугис. — Целая лоджия!

Идем вокруг дома нехоженой тропой. Снег поскрипывает под ногами. В сотне метров, через дорогу, играет огоньками «Аушрине». Вот эта лоджия. Без труда на нее проникаем. За окном внутри темно, прозрачные занавески.

— Это не их комната. Здесь другие девчонки живут, — шепчет Аугис.

— Вряд ли откроют, но попытаться надо! — говорю я и негромко барабаню пальцами по стеклу.

Из глубины комнаты к балконной двери приближается что-то стройное в ночнушке ниже колен. То ли девочка, то ли видение. Открывает дверь и убегает обратно.

Есть! Путь свободен!

Заходим, стараясь не шуметь. Остановились, чтобы дать глазам привыкнуть к темноте. У стены — большая двуспальная кровать, а на ней лежат две девчонки. Одеяла подтянуты до самого носа, глаза поблескивают во мраке. Испуганные такие мышки. Тем не менее открыть не побоялись. Аугис что-то вопрошает по-литовски. Отвечают. Они снимают эту комнату, а Диана с гостями — в соседней.

Только мы тронулись в сторону двери, как вдруг за нею раздаются громкие голоса и шум передвигаемой мебели. Баррикадируют вход. Наверное, когда мы заходили с лоджии, по ногам потянуло холодом. В общем, мы разоблачены. Попытки ворваться к Диане успехом не увенчались. Шкаф они, что ли, придвинули? Да еще, наверное, навалились всем скопом.

— Женья, ты уверен, что тебе нужна невеста, которая в едином строю с другими мужиками готова держать от тебя оборону до последнего патрона?

Убедившись, что нам не подобраться и с этого фланга, решаем ретироваться. Но перед этим я все же прошу у девочек номер телефона. Глаза привыкли к темноте, и я хорошо различаю их лица. Обе — красавицы. Одна — брюнетка, вторая — блондинка. Инна и Анна. Инь и Янь. Нашли бумажку, пишут мне телефончик. Обстановка знакомства предвещает продолжение банкета. Хорошо-то как!

Уходим.

Наступил май нечетного восемьдесят пятого. Опять в Париж лететь? Похоже на то. Даже не верится, что с первого моего посещения этого города прошло целых два года... На этот раз мне вылетать из Пскова. Там всего два переводчика, и один из них — мой хороший товарищ Паша Козырев. За документами в Москву ехать не надо, уже с кем-то передали. А с другой стороны, как до Пскова добираться, если не через Москву? Впрочем, есть идея...

В Паневежисе располагается не только авиационный полк, но и штаб дивизии. Второй наш полк — в соседнем Кедайняе, а третий — в эстонском Тарту. Между ними довольно часто снуют самолеты, а от Тарту до Пскова уже рукой подать. Интересный вырисовывается маршрут!

Цветущий май в разгаре. Я лечу бесплатным военным самолетом из Паневежиса в Тарту. Тут лету — взлететь да приземлиться. По прибы-

тии нахожу Олега Таткова, военного Айболита. С некоторых пор завязалось у нас дружеское общение. Недавно вот привез ему бутсы из Анголы, комплект пятнистой формы... Олег показывает мне город, периодически пробавляемся глинтвейном.

Тарту считается столицей эстонского национализма. Хотя в совсем недавней ретроспективе этот город носил красивое русское название Юрьев. Здесь на дверях квартир принято привинчивать таблички с именем хозяина. Попадаются презабавные. Типа «Пыыдар». Или «Муудак». Скорее всего, на эстонском языке эти фамилии означают что-нибудь приличное. Но я-то эстонского не знаю, поэтому воспринимаю несколько однобоко.

Через Тарту пролегает главная речная артерия Эстонии — река Эмайыги длиной километров восемьдесят. Впадает в Псковское озеро. И ходит по этой реке из Тарту пассажирское судно на подводных крыльях, и можно с ветерком добраться до самого Пскова. Красота!

Десять утра, и я только что отчалил от речной пристани города Тарту со своей невесомой командировочной сумкой через плечо. Мимо проплывают зеленые берега, перелески... Красиво. А вот наше судно вышло на озерную гладь. Синее небо, чайки, теплый ветерок. Где-то здесь Александр Невский разделал тевтонских рыцарей как бог черепахи.

Проплывая мимо островков, притормаживаем. Тут никто не выходит, просто отдают островитянам почту. Рядом со мной сидит худой белобрысый юноша. Он из Питера, ездил в Тарту к бабке. Отец у него русский, мать — наполовину эстонка. При этом выясняется, что самоидентификация у парня нетрадиционная. Считает себя эстонцем.

— Так ты ведь эстонец всего на четверть! — удивляюсь я. — Живешь в Питере, учишься в Питере, родной язык — русский. Ты, поди, эстонского и не знаешь совсем!

Парень несколько смущен. Признается, что эстонского действительно не знает. Но уже начал учить.

Да, наломала дров советская власть! Разве при царе-батюшке такое бывало, чтобы великоросс выдавал себя за чухонца?!

Смотрю на его бледные, покрытые веснушками ноги, на козлиную его бороденку — и испытываю к нему жалость пополам с презрением. Он и не русский, и не эстонец. Он нечто, добровольно потерявшее свою идентичность.

...Париж позади, и я снова в Москве. С подарками. Как всегда, на пару дней. С Татьяной спим вместе. К телу допущен. Но на этом, собственно, и все. Относительно перспектив перебраться в Паневежис — молчок. Правда, собирается заскочить летом «в гости». У меня уже скоро год, как своя квартира в Литве, а супруга еще даже ни разу там не отметилась. Странная у нас семья...

Ее не соблазнить ни платьями, ни снедью...

Позвонила Танька. Вот так новость! Снова беременна. Вроде и в Москве-то бываю лишь наездами... Но бываю. Правильно говорил Жванецкий: «Одно неловкое движение — и вы отец». Не знаю, что и думать. Если семья наконец объединится и заживет, как все нормальные люди живут, то и хорошо. А если не объединится? Митяй вон так без отца и растет. Вроде как и папа есть, и бросать сына не собирается, и жить хотел бы со своей семьей. Но наша Таня по-нормальному не хочет, а хочет, чтобы все так и продолжалось. А петля затягивается все туже, туже...

Знакомство с Аней и Инной получило свое продолжение. Анька иногда забегает ко мне в гости. Посидим, поговорим, кофею попьем — и уходит. Думаю, при желании давно бы уже с ней переспал. Но мой друг Серега Махалин к связи с Анькой относится очень серьезно, жениться собрался. Поэтому держусь. Интересно, насколько типично такое мое поведение? Может, я не в тренде? Может, так сейчас не принято?

Настал июль. Срок беременности у Таньки пока совсем маленький, путешествия не противопоказаны, и она наконец решила осчастливить меня своим визитом. Митяя брать с собой не стала, поехала одна. Это разведка.

Встретил с поезда, привез в квартиру. Танька урчит, все ей нравится. Зашли в магазин прикупить продуктов — заурчала еще отчетливее. Ассортимент, пожалуй, даже лучше, чем в Москве. И толп никаких.

На следующее утро сам рванул в Паюосте на утреннее построение, а ее оставил досыпать. Здесь тебе не загазованная Москва, воздух прозрачен и чист. Спится хорошо.

Отметился в части и бегом обратно. Захожу домой, и перед моим удивленным взором разворачивается трогательная картина: Танюша с Анечкой сидят у меня на кухне и пьют кофе. Ну просто идиллия! Анька слегка зарумянилась, красивая до ужаса. А Татьяна напряжена, но улыбается и виду не подает. Оказывается, не успел я на службу умчаться, Аня в дверь ко мне звонит. И натывает на мою лучшую половину. Классика жанра. Принесла мне пару пачек сигарет. Она такая, с пустыми руками заходить не любит. Вот это обстоятельство и смутило нашу Таню больше всего. Если девушка сигареты парню на свои покупает — значит, точно любовница! Да еще такая красивая... Ну и хорошо. Пусть думает что хочет. Променяла мужа на свободную жизнь в Москве? Пташка вольная? Вот и не жалуйся теперь.

А Анечка на этот раз забежала не просто так, а чтобы пригласить меня в гости к себе на хутор в ближайшие выходные. С ночевкой на сеновале. И Сергей будет, и младший брат Мирослав. И коль уж Татьяна ко мне приехала, то приглашает, конечно, нас обоих.

Танька не упирается, согласна ехать. Да ведь и интересно. А вдруг никакого жениха и в помине нет?

Приехали на хутор. Аня встречает, знакомит с родителями. Серега уже здесь, Мирослав по хозяйству помогает, гуси гогочут. Вокруг кра-

сивые перелески, небольшая речушка журчит. Дом каменный, а сеновал большой, деревянный. Здорово здесь!

Изобильный ужин накрывается внутри дома. Хотя можно было бы, наверное, и на воздухе: тепло и зелено и ароматы окрестных лугов.

Дело к ночи. Анька убежала на сеновал стелить постели. Приглашаются все, кроме родителей, которые заночуют в доме. Неожиданно Таня становится в позу, на сеновал идти не хочет. Предпочитает тоже в доме остаться.

— Да ты что? Пойдем все вместе! Можно подумать, ты каждый день на хутор ездешь и на сене спишь! Только представь, как пахнут свежескошенные травы!

Но ароматы Танюшу не прельщают. Похоже, чувствует себя не в своей тарелке. Вроде и жених у Ани есть, а сомнения все равно остаются. И обида: «Значит, он тут без жены и не страдает вовсе, а устроился вполне даже сносно. И квартира у него своя, и девушек вокруг хватает...» Да, нету здесь театра на Таганке со всей его смешной богемной камарильей... «Как же он обходится?» Да уж как-то обходится...

Идем на сеновал без Татьяны. На втором ярусе на сене лежат одеяла. Укладываемся: Мирослав, Серега, Аня, я. Глаза быстро привыкают к темноте. Анечка лежит лицом ко мне, ощущаю ее дыхание. Смотрим друг на друга. Сладкая мука. Нельзя.

Яркое летнее утро, завтрак в деревне. Потом купание в речке, игры на берегу. Во второй половине дня возвращаемся в Паневежис.

Таня мрачновата. А вот и первые упреки. Она не знает, что я «там с Анькой на сеновале вытворяю».

— Танюша, ну уж при женихе-то да при брате? Уж если очень хочется, то мог бы и в своей квартирке, где никто не помешает. Возможностей — миллион!

— А грубый секс в таких условиях и необязателен. Можно за носик потрогать, за ушко...

— И все-то ты знаешь! Откуда же столько бесценного опыта почерпнула? Да, фантазия у тебя буйная. Может, попробуешь себя на кинематографическом поприще? Снимешь эротический триллер с интригующим названием «Разврат на хуторе»... «Оскар» огребешь, нос утрешь всем этим бездарям, что трутся вокруг Таганки...

На «бездарей вокруг Таганки» Танюша предсказуемо обижается. Таганка — это святое.

— Вот, Ромка, когда мы с тобой разведемся и ты найдешь себе хорошую девочку...

И осеклась. Что такое? Про хутор вспомнила?

— Женишься на Аньке... Впрочем, Анька для тебя слишком жирно!

Можно подумать, это ей решать, что для меня жирно, а что — не очень. А ведь, похоже, зацепило! И Анькину красоту, хоть и таким кривым способом, а признает...

— Таня, а может, все-таки переберешься ко мне в Паневежис? Здесь ведь не Арциз. И красиво, и сытно, и квартира своя. И Митя счастлив будет. Чего еще надо?

— Посмотрим. Пока я не готова.

Это «посмотрим» звучит очень обнадеживающе. В унисон с моими надеждами на светлое будущее. Если визит в Литву заронил в ее душу какие-то сомнения, то это уже большая победа. Где-то даже неожиданная. А может, и ожидаемая. Ведь беременна уже вторым ребенком! Сколько же можно прыгать с ветки на ветку? Может, пора уже уgomониться? Иначе жизнь уgomонит, да так, что мало не покажется.

Мало того что у нее самой к семейным ценностям отношение весьма специфическое, так еще и висят на Танюшкиных ногах две здоровенные гири. На одной ноге повисла эгоистка Галина Михайловна, которая отпустить ее от себя никуда не хочет, на другой — вторая эгоистка, еще похлеще Галины Михайловны. Подруга не разлей вода, Оля Кудесникова. Я всего лишь пылинка в сиянии ее великолепия. И взгляд у Оли на мою семейную жизнь до чрезвычайности прост: если Танька поедет ко мне жить, если ради этого «сомнительного» семейного счастья откажется от лучшей подруги — значит, она полная дура.

Вскоре Таня уехала в Москву. Предлог имелся, уже обкатанный в Арцизе: ребенка лучше рожать в столице. Правда, с Паневежисом это далеко не так очевидно. Да и срок беременности такой, что можно смело еще несколько месяцев пожить вместе. Но мама и лучшая подруга испереживались там уже. Очень ждут. И Таганка ждет.

А может, мне самому стать кинорежиссером? Сниму фильм ужасов и назову его «Зов Таганки». На «Оскар» не рассчитываю, но душу точно отведу!

Вот так новость! Серега Махалин сделал Аньке предложение. Видать, действительно все серьезно. Запал. Ну а что? Все правильно. Уже и послужить успел, и на командира скоро начнут возить¹⁰. Самое время о семье задуматься. А семейным и квартиру дают. Так что пора. Это у меня все случилось сикось-накось: вчерашний курсант, ни дня не работал, невесту еще толком узнать не успел, а уже бегом под венец!

Но невесел Серега, поскольку на его предложение Анька ответила не счастливым обмороком, а весьма сдержанно. И даже уклончиво. Мол, выходить замуж она пока не планирует, а Сергей — он слишком торопит события. Зачем что-то менять, если им и так хорошо? Такой ответ Серегу озадачил, но надежды он не теряет. Решил продолжать попытки по принципу «вода камень точит».

А я продолжаю летать. И жизнь моя сплетается в косичку из трех сюжетных линий. Строгино, Митяй, Татьяна и все, что с этим связа-

¹⁰ *Возить на командира* — учить командовать самолетом. Сразу после окончания летного училища молодые офицеры служат в должности помощника командира корабля. После двух-трех лет такой стажировки их специально готовят, чтобы они могли принять командование.

но, — это одна грань. Работа, экипажи, командировки, различные страны — это нечто совсем другое. Паневежис, своя квартира, жизнь между командировками со всем набором друзей и подруг, весь мой круг общения — отдельное третье. И не пересекаются они почти никак.

Еще в самом начале службы в Арцизе у меня неожиданно-негаданно появился друг. И вовсе не под Одессой, как было бы логично предположить, а в Москве. Во время первых наездов туда, когда люто возненавидевшая меня Танюша мечтала только о разводе. Наверное, я искал, на что бы отвлечься. На этом фоне предпринял попытку найти — и без особого труда нашел — своего бывшего преподавателя итальянского языка Васю Фалевича.

Конечно, Васей он стал не сразу. Поначалу он был Василием Михайловичем, подполковником, старшим преподавателем кафедры романских языков. На самом деле Вася Фалевич никогда нам не преподавал, только заменял иногда других преподавателей в случае их отсутствия. Но этого оказалось достаточно, чтобы проникнуться к нему симпатией. Он был более открытым и менее перестраховщиком, чем, например, Анатолий Константинович Орел, еще один подполковник с нашей кафедры. А то обстоятельство, что Вася никогда не воспринимался мною в качестве начальника, способствовало налаживанию между нами вполне дружеского контакта. Посещая Москву, я обязательно у него отмечался.

Он тоже писал стихи, и очень даже неплохие. Так что наши беседы под водочку были захватывающе интересны.

Воздушный мост Москва — Луанда

Самый «накатанный» маршрут у нас — в Анголу. С обязательной промежуточной ночевкой в Гвинее, в Конакри. Вот и сейчас я собираюсь туда же, прибыл за документами в штаб ВТА.

Ждать пришлось недолго. Анатолий Васильевич, передавая пакет, вдруг что-то вспомнил:

— Слушай, Роман, тут чудак один звонил. Хочет отправить передачу в Луанду. Сын там у него работает. Вот, телефон оставил. Хочешь — так позвони. А вообще, мы такие вещи делать не обязаны, — и протягивает жеваную бумажку с номером телефона.

Приехал я в Строгино, таскаю на руках Митяйку. Ему уже скоро два года и девять месяцев. Хороший мальчонка растет. Щекастый. А Татьяна уже на большом сроке, появился животик. Но не сказать, чтобы очень округлый. С Митей было заметнее.

Вчера она провернула интересную операцию. Заметила на универсаме объявление, что требуется дворник. Надела дубленку, которую мы покупали в «Березке», покрутилась перед зеркалом. В дубленке живота практически не видно. И пошла устраиваться на работу. Я в качестве сопровождающего. Опытная, стержовного вида кадровичка не разглядела ничего. Так что теперь Таня у нас дворничиха. Через неделю-другую пой-

дет в декретный отпуск. Очень практичная девушка, с такой надо держать ухо востро. Хотя поздно уже, осмотрительный ты наш...

Решил все же позвонить по тому телефону. Ответил, судя по голосу, пожилой мужчина. Зовут его Алексей Николаевич, а его сын Илья работает в «Авиаэкспорте» в Луанде. Связи никакой, а передать что-нибудь сыну хочется. Не мог бы я прихватить посылочку? Небольшую, килограммов на пять? А заколачивать он ее не будет, чтобы если таможня — так все на виду...

Вдруг представилось, как мой папа таким же образом пытается передать что-то для меня в далекую африканскую страну через совершенно чужого человека, которому эта посылка даром не нужна.

— Ну конечно, возьму, Алексей Николаевич! Где мы с вами встретимся?

Встретились на Арбате. Алексей Николаевич оказался немолодым уже человеком маленького роста в сером, выдавшем виды пальто.

Посадка в Луанде. Многие годы гражданской войны, нищета. Климат в Анголе заметно приятнее, чем в Гвинее. Дышится легче. Здесь огромный советский контингент, в основном военные технические специалисты. Помогают правительству воевать с Йонасом Савимби¹¹ и его партией УНИТА. Но есть, конечно, и гражданские организации. «Авиаэкспорт», например. Уж не знаю, какие самолеты они сюда экспортируют. Врачей довольно много. По рыболовству тоже тесные контакты.

Каждый день нас возят на косу. Роскошный песчаный пляж, чуть прохладный океан, пиво в пляжных барах. Все обгорели. А дома — зима. Заплываю подальше и не спеша гребу к берегу. Я всегда так делаю. Мне нравится, как смотрится берег из воды, как колышутся макушки кокосовых пальм над желтым пляжем. Народу купается немного, а вокруг меня — так и вообще никого.

Впрочем, нет. Вон чья-то голова мелькает среди волн. Явно белый человек. И тоже к берегу плывет. Скоро наши траектории пересекутся. Вот остается метров десять... Ба! Не может этого быть! Неужели Серега Матвеев? Мой однокурсник, с португальским языком? Вот это встреча! Бывает иногда, наткнешься на кого-нибудь знакомого в московском метро и диву даешься: надо же — в огромной Москве и вдруг не разминулись! А тут Южное полушарие, Атлантический океан — и вдруг среди волн Серега Матвеев. Чудеса!

Все хорошее заканчивается быстро. Готовимся к вылету домой. К самолету подъезжает микроавтобус «Авиаэкспорта». Илья приехал, привез передачу для отца в Москву. Похоже, нам предстоит долгое общение. А впрочем, почему бы и нет?

¹¹ Йонас (в других написаниях — Жонас, Жонаш, Джонас) Савимби — ангольский военный лидер и политик, создатель Национального союза за полную независимость Анголы (УНИТА). Странники Савимби воевали сначала с португальскими колонизаторами, а в описываемый период — с Народным движением за освобождение Анголы и правительством страны, которым оказывал поддержку Советский Союз.

Восемнадцатого февраля восемьдесят шестого года родилась Зиночка. По уже установившейся традиции, к выбору имени дочки я отношения не имел. Не был допущен. Имя давала снова теща на пару с Татьяной. Зина — так звали какую-то из их бабок. Теперь у меня жена и двое детей. Большая, полноценная семья. Только живут они с бабушкой Галиной Михайловной, а не со мной.

А в Паневежисе у нас большие перемены. Так и не добившись от Аньки согласия на брачные узы, Серега решил на кардинальную рокировку:

— Знаешь, с Анькой толку не будет. Жалко, конечно, но надо заканчивать отношения. Я что решил? Хочу попробовать с Инной.

Я в некотором шоке. Они же лучшие подруги! Живут вместе, снимают одну комнату на двоих.

— Ну и как ты себе это представляешь? То ходил к ним в гости и Аню приглашал на прогулки, а теперь будешь звонить ровно в ту же дверь, но спрашивать уже Инну?

— А что тут такого?

— Да, может, и ничего... Думаешь, она согласится? После того, как ты любовь с ее подругой крутил?

— Посмотрим. Я же спешить не собираюсь. В кино будем ходить, в кафе-мороженое... Глядишь, со временем и привыкнет.

Стратегия Сереги не меняется. И сбоев практически не дает. А что, парень холостой, и намерения у него вполне серьезные. О чем Инне хорошо известно.

Жизнь моя постепенно обогащается новыми приметами. Если по прибытии в Москву я встречаюсь с Алексеем Николаевичем, то это к командировке в Анголу. А хорошему человеку и подсобить приятно.

В курсантские годы я часто заглядывал в бар «Лабиринт», что на Калининском проспекте. «Лабиринт» был излюбленным местом отдыха наших курсантов. Если видишь там спортивного молодого человека с короткой стрижкой, в джинсах, с дипломатом и в очках-капельках — значит, точно свой. Подходишь, протягиваешь руку:

— Четвертый Запад!

А в ответ:

— Пятый Восток!¹²

А теперь Калининский стал местом моих встреч с Алексеем Николаевичем. Возник своеобразный воздушный мост Москва — Луанда.

Намедни с Васей Фалевичем изрядно напились, и я поделился с ним своими грезами о долгосрочной командировке куда-нибудь в Африку.

— Ну я, в принципе, могу помочь. Учился вместе с Колей Аккуратновым, а он сейчас в ГУКе этими вопросами и занимается. Только имей в виду, тут уж куда пошлют. Я разве что могу инициировать сам факт твоего оформления. И делается это не очень-то быстро.

¹² *Четвертый Запад* — т. е. студент четвертого курса факультета западных языков. *Пятый Восток* — студент пятого курса факультета восточных языков.

— Понятно. Я и не тороплюсь никуда. Может, запустим тогда этот процесс?

Уже год как в стране идет перестройка. Улыбающийся Горбачев, рядка напряженности, уничтожение виноградников. Пьянству бой, культуру в массы!

А я сегодня утром позавтракал в Фергане и теперь лечу в Мозамбик на Ан-12. Путь неблизкий, несколько промежуточных посадок, на которых — только дозаправка и дальше пошел. Отсыпаться буду уже в Мапуто. Экипаж спаренный, они будут меняться, дремать по очереди. А я? А я один. Тридцать четыре часа на рабочем месте, без сна, не снимая наушники... Хотя не так уж все печально. Во время дозаправок наушники буду снимать.

Полчаса, как вылетели из душного Карачи, летим на Аден. Я еще вполне свеженький, умяться не успел. Стрелок заварил хорошего чаю, потягиваю его, сидя на месте радиста. Под нами Аравийское море, синее и безбрежное.

Впереди показалась Африка. Влетаем в Мозамбик над точкой «Пемба». Под нами небольшой городок с таким же названием. Это самый север страны, почти на границе с Танзанией. А вокруг такие пляжи, что дух захватывает. Широкие, песчаные, на многие километры. Отсюда до Мапуто еще лететь и лететь.

Иногда мне кажется, что я могу вспоминать будущее. Не в деталях и в картинках, а на уровне некоего беспричинно щемящего чувства, как будто меня с этим местом что-то связывает. Или свяжет, но потом. Вот и сейчас накатило... Что это?

Откуда же мне знать, что пройдет совсем немного лет — и мое имя в этом городке, во всей этой провинции будет известно многим...

Его контузило, но выжил!

Зинуле уже полгода, и Татьяна приехала ко мне в Паневежис. С двумя детьми. Вот это да! Семья в сборе! Не знаю, как решался вопрос с Галиной Михайловной, даже спрашивать боюсь. Правда, Татьяна тут же вносит ясность:

— Ромка, я не насовсем. Вот перезимуем с тобой, а там вернусь в Москву.

— А зачем в Москву?

Молчит.

Митя пошел в русский детский сад. Отвожу его туда — и дальше поехал на службу. А Татьяна с Зиночкой дома. После утреннего построения тороплюсь к ним обратно.

На Рамигалос сдали новый дом рядом с нашим. Потом еще один. Полку прибыло. В новом доме живет симпатичный такой офицер, служит в штабе дивизии. Высокий, спортивный. Серега Харченко по прозвищу Слон. И есть у него жена Вика. Не то чтобы прямо слониха, но

тоже крупная. С этой Викою моя Таня очень подружилась, и стали Харченко нашими постоянными гостями. А и ничего. Появляются какие-то зацепочки, дружеские связи, Паневежис перестает быть для Татьяны чужим.

Одно немного напрягает: снисходительно-высокомерное отношение Вики к своему Слону. Вот она в семье — королевишна, а он... Он просто при ней. Любит Вика поговорить о своей бабке, которая была замужем четыре раза и при каждом разводе получала от очередного мужа приличную часть «совместно нажитого». Прожила жизнь припеваючи и завершила ее вполне состоятельной старушкой. Ах, как нравятся Танюше эти разговоры! Вот это бабка! «Так им, козлам, и надо!» Господи, откуда это в ней?

Опыта совместного проживания у нас практически нет. Две недели в Арцизе — не в счет. Надо же, как интересно получается! Двух детей нажили, а толком вместе еще и не жили. Опасался, что начнется притирка, возникнут какие-то разногласия на бытовой почве. Но нет. Все у нас мирно и полюбовно. Неужели налаживается? На пятом году совместной жизни, которой не было... Дай-то бог!

Идиллия завершилась уже следующей весной, в апреле восемьдесят седьмого. Недолго счастье длилось! Татьяна с детьми уехала из Паневежиса в Москву. Причина? Так не было причин. И ссор не было. Просто уехала, поскольку пребывание в Паневежисе всегда подавалось как временное. А ведь лето впереди. Из Москвы, наоборот, люди за город бегут. А здесь — экологично, зелено и отличный пляж на речке...

Есть у нас под Кедайнём запасной аэродром Казлу-Руда. «Казлас» — это по-литовски «козел». Наши языки, действительно, похожи... Аэродром расположен в живописной местности, среди перелесков и литовских хуторов. Постоянно там никто не служит, только дежурный сидит. На всякий случай. Обычно туда отправляют молодых холостых офицеров, чтобы женатых от семей не отрывать. А никто особо и не противится. Целых две недели загорай себе, купайся. Никаких построений, сам себе хозяин. Девки с окрестных хуторов молочко носят, яйца. Да и сами ничего...

Отправили наемдны в Казлу-Руду Серегу Махалина. Хотел я было его навестить, посмотреть, насколько бдительно службу несет мой боевой товарищ. Но не успел. История приключилась.

Приехал в наш полк проверяющий из Москвы. Целый генерал. В предрассветный час поднял нас по тревоге, а сам с командиром полка сидит на вышке управления полетами и наблюдает за происходящим. Экипажи примчались из города, сразу по самолетам, весь полк взлетает. Тридцать Ил-76 кружатся в воздухе, отрабатывают различные маневры и перестроения. Вроде все хорошо.

Командир полка расслабился: ребята не подвели. И вдруг проверяющему генералу очередная шлея под хвост:

— Даю посадку на запасной аэродром!

Что ж, мы и к такому повороту событий готовы. Там у нас старший лейтенант Махалин следит за небом недреманным оком!

Три десятка самолетов следуют курсом на Казлу-Руду. А тут и следоват-то — семь минут лету. Начинают заход на посадку, вызывают диспетчера. А диспетчер молчит. Пошли на второй круг, на третий, зовут, а дежурный — молчок... Полетали, покружились, но так никто и не ответил. Много тонн топлива зря сожжено, запасной аэродром не принимает, учения сорваны. Кошмар!

Командир полка как в воду опущенный, заезжий генерал весь красный как рак и брызжет слюной. Не хватил бы кондратий!

— Где дежурный?! Почему не отвечает?!

— Не могу знать, товарищ генерал! Сейчас будем выяснять.

— Так выясняйте быстрее! И ко мне этого засранца!

Отправляют машину в Казлу-Руду — искать Серегу. Возвращаются ни с чем: не нашли. Пропал дежурный. А страсти все кипят, наш командир с генералом мечутся по кабинету, не зная, что еще можно предпринять.

Тут кто-то припоминает, что в Паневежисе вчера вечером праздновали день рождения, а именинник — хороший приятель Сергея Махалина. Срочно посылается группа захвата по месту означенного торжества. Так и есть! Дежурного по запасному аэродрому выковыривают оттуда тепленького. Заводят под белые руки в начальственный кабинет и бросают прямо на середину ковровой дорожки.

У начальства больше нет сил орать. Пар уже выпущен. Поэтому генерал усталым голосом сообщает Сереге, что летчиком тому больше не быть. Отстраняется от летной работы. Навеки.

Бедный Серега! Мне сразу вспомнилось, как после экзамена по научному коммунизму тащили меня в кабинет к генералу Афанасьеву... Но там на кону был всего лишь красный диплом. А тут всю жизнь ломают через колено, поскольку летчик, который не летает, — это даже хуже, чем переводчик, который не переводит.

— Что же теперь делать? — Этот вопрос бледного, раздавленного обстоятельствами Сереги обращен ко мне. — Неужели все?!

— Да, дружище, похоже на то. Но побороться все-таки надо. Терять тебе все равно уже нечего, так что давай...

— А что давать-то?

— Генерал улетает завтра утром. Значит, ночует в Паневежисе. Иди к нему, падай в ножки, проси и умоляй! Авось простит. Скажи, что без авиации жить не можешь. Что угодно, только не отстранение от полетов!

— Думаешь, простит?

— Откуда же мне знать? После твоего фортеля вся ВТА на ушах стоит, не то что Паневежис. Но попытаться надо.

— Ну тогда я пошел!

— Да нет, мой яхонтовый, не прямо сейчас. Сейчас он в таком состоянии, что может лишить тебя не только летной работы, но и жизни.



Погоди, дай ему поостыть. Его поселили в гостевой комнате нашего офицерского общежития. Никуда он не денется, не сбежит. Надо дожидаться ужина. Пусть сходит в летнюю столовую, хорошенько поест, а уж как вернется, тут ты его и накроешь.

До ужина еще пара часов. Серега в прострации, но решение принято, и план действий составлен. Все плохо, хуже некуда, но надежда теплится.

Стемнело. Генерал возвращается после ужина к себе. Мы с Серегой — на первом этаже общежития, в темном коридоре, ждем. Засада тут у нас.

За генералом захлопывается дверь.

— Ну, авиатор, пора! Ни пуха!

На плохо гнущихся ногах Серега направляется к двери, за которой через пару минут решится его судьба. Уже окончательно. Скребется как-то робко. Нет чтобы по-военному постучать, гаркнуть молодцевато: «Разшите войти!» Впрочем, все правильно делает. Какая тут, к черту, молодцеватость!

Серега скрывается за дверью. Ну, если его не выгонят сейчас пинками, то, может, и ничего...

Проходит минут пять. Открывается дверь, и оттуда, ни жив ни мертв, мой приятель.

— Ну что там? Что ответил?

— Остаюсь на полетах! — только и выдыхает Сергей.

Серый кардинал

Хорошая новость от Васи Фалевича. Поговорил он с Аккуратновым, реакция положительная. Будут оформлять на три года за границу. Куда — неизвестно. Уж куда пошлют. Я, правда, особых иллюзий не питаю. Может, получится, а может, и нет. Поэтому о моих телодвижениях не знает даже Татьяна.

Однако же получилось! Мое оформление в Африку стартовало. Скоро придет конец и посылкам Алексея Николаевича в Анголу. Воздушный мост Москва — Луанда вот-вот превратится в прозрачную раду-гу приятных воспоминаний. Надо бы сказать старику, пусть ищет мне замену.

Я помогал Алексею Николаевичу совершенно бескорыстно и никакой благодарности, кроме искреннего спасибо, от него не ждал. Просто не находил обременительной такую помощь. И где работает старичок в потертом сером пальтишке, понятия не имел. А вот ведь как, однако, устроен мир!

Стоим с Алексеем Николаевичем на Калининском проспекте перед кинотеатром «Орбита». Мне снова лететь в Анголу, и он привез очередную посылку для сына. Я рассказал ему о своих планах. Что все, надоело бывать в Африке наездами по три дня, пора обосноваться там на три года. Чтобы не спеша и основательно.



— А куда тебя оформляют? — поинтересовался Алексей Николаевич. — Ах, еще не знаешь? Так что же ты молчал, давай я тебе помогу!

Я с сомнением посмотрел на маленького отважного человека в потертом пальто.

— Ты напиши мне список, страны три-четыре, куда бы хотелось, а я узнаю.

Вот те на! Но чем черт не шутит? «Если это сон, то во сне можно все», — подумал я и тут же, стоя, огрызком карандаша на клочке тетрадного листка криво вывел: «Сейшельские острова».

— Алексей Николаевич, а каким образом?..

И дальше: «Кения».

— А я начальник парткома у них в Генеральном штабе. Может, что и получится.

В детстве я собирал марки, и попало мне несколько танзанийских. Папа с почты принес. Был у него там друг, который, зная о моем увлечении филателией, отклеивал от конвертов и бандеролей интересные марки и передавал их с папой. Одна марка меня просто очаровала. Серия «Подводный мир». Марок в серии — с пяток, но заинтересовала меня только красивая рыбка с желтой полосой от головы до хвоста. Я подолгу рассматривал именно ее. Не знаю уж, что в ней было особенного.

И теперь это смутное ощущение чего-то далекого и прекрасного, пришедшее откуда-то из детства, вдруг выплеснулось на бумагу: «Танзания».

— Ну еще одну — для подстраховки, — решил действовать наверняка Алексей Николаевич.

Четвертым номером я впалял Замбию. Не знаю почему. Так масть легла. Мысли вертелись вокруг Танзании, а там и до Замбии недалеко. А вообще, благодаря полетам я довольно четко представлял себе, чего стоит хотеть, а чего — ни в коем случае. Точно знал, что Восточная Африка интересней Западной, что Мозамбик предпочтительней Анголы, а Сейшелы — это осколок рая в океане. И в этом раю служат наши военные. Грызут незрелые яблоки с древа познания, а змий работает у них референтом, ибо мудр.

Но, кроме климата, болезней и прочих нюансов, есть и еще один параметр, по важности далеко не последний. В каких-то странах наш контингент исчисляется тысячами: Ангола, Ирак, Алжир, Эфиопия, Мозамбик и далее по списку. А есть страны, где наших военных меньше сотни. Там не казарма, не стадион — маленький, уютный коллектив, в котором меньше «совка» и больше личной свободы. Конечно, и там может сложиться по-разному, но исходные параметры куда как привлекательнее.

Одним словом, принцип «пальцем в небо» со мной не прокатывал. В том смысле, что я знал, где хорошо, а где не очень. А с другой стороны, выбирать до сих пор не приходилось: оформляют — и слава богу. И вдруг такой конек-горбунок в лице Алексея Николаевича! Непривычно было воспринимать его в новом, открывшемся статусе серого кардинала...



Через несколько дней состоялась встреча, на которой были подведены предварительные итоги. Четко обозначились границы поля битвы.

— В Кении, Роман, никогда не было наших военных, поэтому Кения отпадает, — сообщил Алексей Николаевич. — А вот на Сейшелах целых две клетки для военных переводчиков. Правда, обе они в настоящее время заняты. Первая освободится ровно через год. Согласен ли обождать?

Ради Сейшел, наверное, не жалко и годик потерять. Я вот давеча сказал, что Сейшелы — сказка. Но Алексей Николаевич, рассуждая с позиций начальника парткома, думает, что это партийная песня. И вероятнее всего, мы оба недалеко от правды.

— В Замбии идет сокращение, туда попасть затруднительно. А вот в Танзанию — можно. Сейчас!

Не может быть! Рыбка с почтовой марки! Так ты была золотая! Ты говорила со мной, когда я зачарованно рассматривал твои плавники...

«Танзания!» — отчеканил голос внутри. Я в этом, похоже, даже не участвовал. Жребий был брошен и падал на землю тихо, как перышко. А вокруг — ветры перестройки. Они дуют, а перышко, наперекор всему, тихо кружит над моей планидой.

— Тут еще вот что, — задумчиво произнес мой добрый волшебник. — В Танзании есть пять точек, где живут и работают наши военные. Всего их в стране немного, человек шестьдесят — шестьдесят пять. Половина сидит в столице, в Дар-эс-Саламе. Если удастся, разузнай, какое место в стране для тебя предпочтительней. Мы можем решить и этот вопрос.

На следующий день я поехал в альма-матер. На Лефортовский вал, в Военный институт. Противоречивые чувства вызывает у меня это заведение. С одной стороны, вся моя судьба обусловлена его дипломом. С другой — все пять лет пребывания там я испытывал моральный дискомфорт из-за натянутых, а порой и откровенно враждебных отношений с некоторыми однокурсниками. Ощущение изоляции, шепотки за спиной — удушливая атмосфера замкнутого казарменного мирка, из которого можно было вырваться, лишь бросив учебу. Но платить такую цену, расписываясь в собственной слабости, я не собирался.

Я не любил этих вчерашних школьников, по сути, еще детей. За бравирование «блатным» поступлением, за посредственность, за какой-то инфантильный снобизм, за склонность к сплетням, зависти, мелкому интриганству, но больше всего — за стайную психологию, которая оказалась определяющей силой этой тухлой экосистемы. А они в ответ не любили меня и изобретали весьма изощренные способы оформить свою нелюбовь в подобие идеологии.

Но «настоящие буйные» — их всегда можно по пальцам сосчитать. Было много ребят, о которых после пяти лет учебы могу лишь сказать, что помню их в лицо. Мы не испытывали друг к другу никаких эмоций. Чем более «дальним» был круг, тем нейтральнее — отношения. К примеру, языковые группы с первым английским находились на периферии моего восприятия. «Немцы» и «французы» ощущались уже много ближе,

ну а в «круге первом», в моей итальянской языковой группе, там и вовсе все было окрашено в очень личные тона.

Интересное наблюдение: чем хуже учился курсант «ближнего круга», тем хуже он ко мне относился. А нас в итальянской группе было семеро, как козлят в известной сказке. Вернее, сначала нас было девять. Но двух, самых «одаренных», отчислили в течение первых полутора лет обучения, чем сильно облегчили мою жизнь.

Бытовало мнение, что поступают в наш вуз преимущественно по великому благу, но вот удержаться в седле — это надо суметь самому. И если ты балбес, то никто тебя не спасет. Экзамен по языку разрешалось пересдавать три раза. Если с третьей попытки не дотянул до тройки с минусом — все, приплыл. И если это произошло до окончания второго курса, то ступай дослуживать в армию. В штрафбат. Шучу. На самом деле все было, конечно, намного сложнее.

Родители за своих недорослей сражались до последнего. Первым из нашей группы улетел Дима Тамахин по прозвищу Рыбий Глаз. Родословными коллег по цеху я никогда не интересовался, но говорили, что Димкин папка — генерал КГБ. Помните, у Высоцкого: «А отец, говорил, у меня генерал!» Дима и по-русски-то не мог связать двух слов. К концу первого года обучения, когда все хоть что-то говорили на изучаемых языках, Дима пучил глаза и радовал «откровениями». Вот он пересдавал итальянский аж семь раз. К чести преподавательского состава, никто не дрогнул под нажимом папаши-кагэбэшника. Просачивалась информация, что на кафедре оказывается беспрецедентное давление. Что экзаменаторов напористо убеждают поставить Димале хотя бы тройка. Но номер не прошел. В институте действительно работали профессионалы, отвечавшие за качество продукта.

Из окон казармы я наблюдал удивительные сцены. Вот Дима после шестой переэкзаменовки плетется в роту обеспечения с подушкой под мышкой — дожидаться отправки в действующие войска. А вот он через пару дней идет с той же подушкой обратно, поскольку папа «продавил» седьмую переэкзаменовку.

Последний бой — он трудный самый! Но Дима вчистую проиграл и его. И отправился служить. Правда, тут органы уже не сплеховали: Рыбий Глаз дослуживал в роте обеспечения какого-то военного училища, прямо в Москве.

Спустя полгода вернувшийся из увольнения Олег Березовский таинственным шепотом сообщил, что видел Диму Тамахина, который как раз в это время нес караульную службу. Удалось поговорить, и Дима ему «охарактеризовал всех курсантов нашей языковой группы». Всем было очень интересно, что же сообщил Дима Тамахин. Я, вполне предсказуемо, получил от него самую нелестную характеристику, чем был очень горд. Я жил в своем обособленном мире, который был богаче и разнообразнее за счет работы вне стен института. И за счет библиотеки. Кажется, я единственный из наших часами там пропадал.

Вторым «улетел» Андрюша Пузик, еще один желающий считаться душою общества. Примерно так же «талантлив», как Рыбий Глаз, но продержался на полгода дольше. Его отец числился «главным военным философom Советского Союза». Алхимия — тоже лженаука, но у алхимиков, говорят, рождались умненькие дети, да и их самих дураками никто не считал. А у Андрюши только что слюни изо рта не текли. Взгляд «иностранный» — абсолютно пустой. Мог бы работать нелегалом. Но вот с языком незадача, а если прикидываться глухонемым — хорошей работы не дадут.

Философов в нашей стране уважали явно меньше, чем генералов КГБ. Андрюше Пузику разрешили передавать итальянский только пять раз. И все пять раз — два балла. Из уважения к отцу колы не ставили. Дослуживать он поехал всего на полгода. Где дослужил — история умалчивает, но почему-то я уверен, что в первопрестольной. Жаль, что не выпало ему случая «охарактеризовать» всю нашу группу. Люблю подтверждать статус.

Да, цирк уехал. Но, к сожалению, не в полном составе. Некоторые клоуны остались и продолжили дело изгнанных из института титанов мысли. С кем-то я встречался после выпуска на хрупких перекрестках мироздания. Кто-то даже приносил мне извинения по пьяному делу. Но из песни слова не выкинешь. Я не могу назвать годы учебы счастливыми. Зато могу назвать их самыми важными в моей жизни, настоящей школой выживания и закалки характера. Я не сломался, я победил — стал самим собой. Сформировалась шкала основных ценностей. Может, немного радикальная, из-за чего я порою и страдал, но в основе своей верная. Жизненный опыт произвел необходимую шлифовку.

И вот я снова здесь. Через КПП просочился без особых проблем, поднялся на этаж восточного факультета, где преподавался красивый язык суахили — тот самый, который является государственным в Танзании, Кении и Уганде. Старший преподаватель кафедры Борис Борисыч, вот кто был мне нужен. Топтал Танзанию неоднократно и много лет. В промежутках между командировками отсиживался в институте, преподавал.

Была как раз перемена.

— Борис Борисыч в курилке, — бодро сообщил мне «зеленый» лейтенант, выбегавший из преподавательской.

В курилке было пусто, если не считать грузного подполковника у окна. Стрижен под бобрник, высокий, лицо мясистое, оправа очков роговая.

— Борис Борисыч? — осторожно поинтересовался я.

Мясистый внимательно посмотрел на меня сквозь толстые линзы:

— Ну?

— Я собираюсь в командировку в Танзанию... Хотел поговорить с вами об этой стране. Что там за работа, к чему быть готовым? Что непременно взять с собой? В каких городах имеются наши переводчики и в чем специфика каждого из этих мест?..

— Не люблю позвоночных, — последовал ответ.

Понадобилась пара секунд, чтобы понять, что он имеет в виду. «Позвоночные» — это, видимо, те, кто свои жизненные проблемы решает «по звонку сверху». Иными словами, «блатные».

Долгая пауза. Что ж... Этот прожженный муж отлично осведомлен, что Танзания не является местом массового паломничества военных. С другой стороны, не отчитываться же перед ним об Алексее Николаевиче! С третьей стороны, он в этой самой Танзании провел благополучно четыре командировки по три года. Ему ли квохтать про позвоночных? Мысленно послав мясистого ко всем чертям, я начал уже было разворот на выход, но тут он заговорил. Говорил лаконично, по существу. Умен и хитер. При всей сдержанности средств выражения этого было не скрыть.

Странно устроен «совок»: культивирует мысль как инструмент выживания. Не зря европейцев отличают от наших по взгляду. Самую европейскую, самую дорогую одежду напяль, а глаза не заменишь. Взгляд совсем другой, и с ним ничего не сделать. У европейцев глаза пустые. Европейец витает где-то, взгляд у него отсутствующий, как у фарфорового болванчика. А у наших взгляд сканирующий. Это не просто опознавание «свой-чужой». Опытный взгляд выудит море полезной информации о вас.

— ...И последняя, пятая точка, куда ты никогда не попадешь, — это Аруша, — подытожил Борис Борисыч. — Настоящий курорт. Национальные парки, горные вершины, включая Килиманджаро, прекрасный климат, круглый год плюс двадцать пять, нормальная влажность, много зелени. Все иностранные туристы направляются именно туда. Группа там очень небольшая, и к тому же их собираются переводить в другое место, а точку закрывать.

Я поблагодарил Бориса Борисыча и ушел.

Перед тем как выйти через КПП, постоял возле казармы, где провел три года. Поглазел на «Хилтон», где прожил два. Ничего не изменилось. И вместе с тем — изменилось все. Тогда это был взгляд изнутри. Жизнь протекала здесь, а мир за кованой решеткой ощущался чужим и загадочным, доступным иногда по выходным. Сейчас все было ровно наоборот. Мой мир находился там, снаружи, а сюда я забежал мимоходом. На меня не прикрикнет дежурящий по институту полковник Куроцапов. Капитан с красной рожей не будет распекать за неотдание чести. Меня не пошлют в наряд, в караул или на кухню. Как странно находиться здесь — и одновременно не зависеть ни от одного из этих людей в погонах! Они бегут по своим делам и даже не смотрят в твою сторону: ты не из их епархии. Совершенно неожиданное, свежее ощущение, категорически идущее вразрез со всем предшествующим курсантским опытом.

Позвонил Алексею Николаевичу, доложил обстановку. А через пару дней получил от него известие, что мне все-таки выпало ехать в Арушу.

Казалось бы, подготовительно-бюрократическая часть работы по моей заграничной командировке позади. Можно лечь в дрейф, наслаждаться

напоследок общением с друзьями и подругами, которых не увижу три года. Когда переломный момент произошел на бумаге, чувствуешь себя удачно финишировавшим бегуном.

И не напрягайте меня больше, пока я сам не возжелаю напрячься!

А рядом случаи летали, словно пули...

Вроде ясность наступила. Но судьба вновь вывела меня на распутье. Я был приглашен в Москву для прохождения серии экзаменов и собеседований. Предлагали должность старшего преподавателя итальянского языка в Академии Советской Армии. Надо же! Мой итальянский оказался востребованным! Пять лет в институте я лепил из себя профессионала и очень гордился достигнутым уровнем. А распределился — со вторым английским. И то не туда, где мои переводческие таланты хоть в какой-то мере были бы востребованы, а на бортперевод с его эрзац-языком — ограниченным узкопрофессиональным сленгом из сотни-другой терминов. Впоследствии я был счастлив непоседливой, полной романтики работой в ВТА, но при этом хорошо понимал, что с профессиональной точки зрения меня просто закопали и что кадровая политика у нас ни к черту. Это было тем более странно, что речь шла о специалистах очень маленькой, закрытой касты: о военных переводчиках, которых и так немного, а по-настоящему хороших — вообще единицы.

И вдруг выясняется, что в профессиональном плане я не забыт. Кто бы мог подумать! Тем паче, что с момента выпуска прошло пять лет. Для языка это катастрофа. Коммуникативная система не питает сама себя. Нужны родники. А какие родники в ВТА? Да, по инерции переводил кого-то из итальянских поэтов, сидя на базе между полетами. Вру, не по инерции. Мне это нравилось. Но это никак не заменит живой коммуникации. Я чувствовал, что теряю форму. А тут — обучать будущих бойцов невидимого фронта. Ответственность дикая! И невыездной на всю жизнь...

Мне сказали: попробуй сдай, а получится — тогда и поговорим.

Приехал в Москву за неделю до экзаменов. На эти несколько дней мне нужна была тишина и полная сосредоточенность, чтобы никто не дергал и не отвлекал. Поэтому остановился я не в Строгине, а на съемной квартире у Юры, моего приятеля еще с курсантских времен.

Удивительная это была семья. Познакомился я с ними через какого-то курсанта восточного факультета, да так и остался гостем, периодически заезжавшим пообщаться в дни увольнений. Лора имела вполне семитский вид, но отрицала любое родство в этом плане, настаивая на испанском происхождении. Фамилия у нее была русская, даже с налетом какой-то кондовости: Косолапова. Мужа ее звали Юра. Фамилия — Топчий. Лорка работала в Москонцерте. Ведущая, конференсье... Вроде Бенгальского, которому оторвали голову. Юра, ее пассия, — бывший мясник. Лорка могла часами рассуждать о том, как редки нынче хорошие мясники, рубщики мяса. Настоящих спецов уже не осталось.



Юра, надо полагать, был последним из могикан. Обладал спортивной фигурой и лицом чертовски походил на одного популярного артиста кино. А именно — на Алена Делона. Понятно, Лорка не устояла. Но с Юрой надо было что-то делать. В штатном расписании Москонцерта должность мясника почему-то не значилась. Юре купили гитару. Юре наняли репетитора. Он взялся за искусство истово, со всем пылом новообращенного. Он даже принял удивительно изящный для начинающего гитариста творческий псевдоним, благозвучно соединив фамилии двух любящих сердец. Он стал Косолапов-Топчий. Куда интересней, чем, скажем, Сеговия.

Но Юра был холеным котиком и скоро увял. Прихожу я, скажем, в какой-нибудь выходной день часов в одиннадцать. Увольнение у меня. Лора на работе. Зато Юра дома. Подожди, говорит, я принимаю ванну. Прохожу в его комнату. Кровать, трюмо, красивый пуф. На трюмо — масса фотографий знаменитостей, от Фрэнка Синатры до Махатмы Ганди. На особом месте — фото Родниной с Зайцевым. Пока рассматриваю, появляется Юра.

— Как ты думаешь, почему я поместил их здесь, на самом видном месте?

Теряюсь в догадках. Может, до Лорки вращался в среде фигуристов?

Не угадал.

— Смотрю я на них, — повествует распаренный, утомленный московским полднем, завернутый в Лоркин халат Юра, — и думаю: как много можно достичь в жизни трудолюбием!

Садится перед трюмо и берет два аккорда. Да! А ведь милый человек. Не чужд искусству.

В итоге с Лоркиной подачи Юра начал концерттировать на второстепенных площадках. Но потом резко бросил. Я знал почему.

В одной из подшефных школ Москонцерт проводил какой-то культурный праздник. Пиршество духа при минимуме затрат. Никто из знаменитостей не хотел отвлекаться от текущих дел, и Юре пришлось отдуваться за старших товарищей. Он вышел на школьную сцену, сказал проникновенную речь о воспитательной силе искусства. Пока говорил, все было хорошо. Но соловья баснями не кормят, пришлось пройтись вальжной кистью по трепетным струнам. Юра выступил, сыграл, как умел. Начиная чуть слышно, а заканчивал громко, с чувством. На мажорной ноте, так сказать.

Одному эстету стало плохо. Чистоплюй. Прихватило сердце. Увезли на скорой. А может, у человека были в семье нелады или на работе проблемы...

Но Юра принял удар на себя.

— Не могу убивать людей! — кричал он дома. — Мне придется жить с этим всю жизнь!

Мы с Лоркой беспомощно молчали. Юра дал себе зарок никогда больше не прикасаться к гитаре. И слово сдержал. Говорил же Гиппократ: «Не навреди!»

И вот я в Москве, в небольшой квартире, которую Юра сторожит. Друг уехал куда-то на все лето, а его попросил пожить здесь. Очень кстати попросил, поскольку с Лоркой Юра рассорился в пух и прах.

Квартира находится в месте, до боли мне знакомом. Рядом со станцией метро «Бауманская», через которую я все пять лет учебы ездил в увольнения. Юра целыми днями отсутствует, мне не мешает. Я пашу неистово, с энтузиазмом. И меньше всего думаю о том, готов ли я променять три года в Танзании на работу в учебном заведении ГРУ. Пока у меня такого выбора нет. За него еще предстоит побороться.

Экзамены в Академии Советской Армии не похожи на те экзамены, к которым я привык. Никаких списков очередности на тяжелой двери. Я один на один с экзаменатором. Прямо пушкинская «Дуэль». И никаких билетов, никакой подготовки к ответу. Только экспромт.

— Завтра последний и самый важный экзамен, — сказали мне. — Принимать будет Ломоносова. Послушает вас.

Я затрепетал. Ломоносова! Живая легенда! Было всего четыре имени, сиявшие славой на небосклоне отечественной италянистики: Алисова, Черданцева, Ломоносова и Добровольская. Их книги, их словари были теми источниками, к которым мы регулярно припадали. Родниками с живой водой. Всех четверых я полагал давно покойными. Классики — они всегда из прошлого века.

— Так она еще жива? — бестактно поинтересовался я, не совладав с эмоциональным всплеском.

Брови полковника полезли было вверх, но он их быстро вернул на место. Офицер ГРУ все-таки.

— Она еще всех нас переживет, — сухо ответил он.

Наступило завтра. Памятный день. Мой итальянский зенит. Мой звездный час. Жаль, что впустую. В жизни будет много побед, плодов которых вкусить не получится. Не стоит об этом горевать. Эти праздники — подарки судьбы.

В экзаменационной комнате я провел три с половиной часа. Говорили обо всем. Дискурс вился то змейкой, то дымком, то веревочкой. Но сколько ни вейся, а концу быть.

Я услышал о своем итальянском такие лестные слова из уст самой Ломоносовой, что мне неловко их воспроизводить. Это была высшая оценка из всех, о каких я мог мечтать. Я не шел в квартиру на «Бауманской», я туда летел. Я был счастлив. Вот он, результат! Итог. Заключительная партия гроссмейстера. Окончательный диагноз. Да, мне приходится работать с эрзац-английским. Пять лет обо мне как италянисте никто не вспоминал. Мои успехи во время учебы были ничто, так уже

казалось. Но сегодня я подтвердил для себя то, что и так всегда знал: чего я стою именно как итальянист.

На следующий день меня пригласили в отдел кадров АСА.

— Мы знаем, — сказали мне, — что вы находитесь на финишной прямой перед отправкой в Африку. И тем не менее делаем вам это предложение. Просим вас не отвечать сразу. Подумайте два дня. Это серьезное решение. Вы капитан. Мы предлагаем вам полковничью должность и работу в Москве. Здесь, у нас. Мы знаем, что вы женаты на москвичке, но что в Москве вас никто не пропишет. Пусть это вас не волнует. Вас приглашают на приличную должность, поэтому в случае вашего согласия квартирный вопрос будет решен сразу же, в трехкомнатном размере. Вы должны также понимать, что в случае вашего согласия о поездках за границу придется забыть.

Я шел от Академии к станции метро. Хороший район. Зеленый. Тополиный пух, мягкое летнее тепло, синее небо. Голова чистая, без лишних мыслей. Состояние праздника. На перекрестке меня окликнули. Сережа Никитин! На курсе — просто Ник. Из испанской группы. Родом из Киргизии, из Фрунзе. Высокий, такой же худой, как и прежде, в гимнастерке. Потрясающе играл на пианино. Импровизировал. Мгновенно подбирал любые произведения популярных музыкальных групп и выдавал их в необычных, интересных аранжировках. Застенчив, скромн, очень добр. Довольно нетипично для нашего курса. Нельзя сказать, что во время учебы мы много общались, но относились друг к другу с большой симпатией.

Поговорили. Рассказал мне новости о тех однокурсниках, с которыми как-то пересекался. Встретить Сергея — хорошая примета. Почему — сам не знаю. Но уверен.

Москва, как много в этом слове! В очередной раз я могу без проблем получить и эту злополучную прописку, и отличное жилье, и хорошую работу на много лет вперед. Но, прислушавшись к себе, понял: дилеммы на самом деле никакой нет. Я не хочу московской прописки. И не хочу быть полковником. И не хочу быть невыездным всю жизнь. А хочу в Африку. По пути, подсказанному рыбкой.

В Академии к моему решению отнеслись без эмоций, пожелали удачной командировки.

Удивительный покой овладел мною. Я знал, что меня ждет в ближайшие три года, пусть и в самых общих чертах. Когда тебе еще нет тридцати, три года кажутся вечностью. Огромным жизненным этапом, который надо пройти. Но пройти его можно по-разному. Интересно, как отнесется к этой вести моя лучшая половинка? Снос определился, и можно открывать карты. В принципе, я готов к любой ее реакции. Захочет остаться при маме — ее дело. Но тут наверняка окажутся задействованы пружины престижа. У них в редакции уехать в долгосрочную командировку за границу считается круто. И это может сподвигнуть Танюшу на нетривиальное и смелое решение... Надо же, как мы зависим от мнения окружающих!

Да, так и есть! Супруга готова ехать со мной в Африку! С детьми! Не в последнюю очередь потому, что в издательстве теперь будут ей завидовать. Жаль только, что обратно к семейному очагу ее поведет не любовь, а тщеславие. И тем не менее годы совместной жизни на другом континенте могут серьезно нас сблизить. Возможно, мы даже наконец станем родными людьми...

Только вот как там прожить без тещи? А без Кудесниковой?

Но попробовать надо. Попытка, говорят, не пытка. Правда, товарищ Берия?

У последней черты

Казалось бы, можно расслабиться и спокойно ждать вылета в Дар-эс-Салам¹³. Но судьба мне готовила еще одно испытание, и с совершенно неожиданной стороны.

Уезжать и возвращаться — разве это не прекрасно? Предвкушая приятную встречу с друзьями, я шел по пустым аллеям расположения части, зеленым и тенистым. Небо было синим, солнышко — ласковым, вокруг пели птицы, а до отъезда в Танзанию оставалось меньше месяца.

Вдруг:

— Капитан Костицын!

Кто это так официально?

Пустота аллей была обманчивой. Здесь теплилась жизнь. Среди этой зелени встречались и представители местной фауны. Длинная тень отделилась от дерева и направилась ко мне. Замполит, некто Колосов. Любит прохаживаться по дорожкам в полном одиночестве, но в расчете на то, что его увидят. Уж не знаю, что это были за ролевые игры, но Колосов явно кого-то изображал. На носу у него, вне зависимости от яркости освещения, всегда сидели темные солнцезащитные очки, а руки были заложены за спину. Так и перемещался, как зэк на прогулке.

В кого же он перевоплощался? Судя по гротескно выгнутой военной фуражке, в какого-нибудь «черного полковника». Или, может быть, в Пиночета. А что? Разве в мелкой войсковой гниде не может обитать настоящий диктатор, неузнаваемый до поры?

— Костицын, где ваши конспекты первоисточников?

Ну да. О чем еще может спросить замполит?

— Они у меня дома.

— После обеда приказываю вам принести их и представить мне для проверки.

— Это можно сделать, но они неполные. Я только что из командировки, отсутствовал больше месяца. Их надо восстанавливать, на это уйдет два-три дня.

¹³ Дар-эс-Салам — крупнейший город Танзании, находится на восточном берегу Африки.

— Если командировки мешают конспектировать Маркса, Энгельса и Ленина, то еще вопрос, будете ли вы в дальнейшем летать. Даю вам час. Если не принесете конспект, продолжим разговор на партсобрании.

Ах, как я предскажем! Как легко подловить меня такому опытному сволочуге, как Колосов! Конечно, у кого же мне взять этот конспект так быстро, как не у своих же — переводчиков братьев Гулинских?

Когда моя тетрадь легла к нему на стол, он на нее даже не взглянул, а срочно отправил посыльного за Витей и Валерой. Чтоб немедленно! И с конспектами!

Привели близнецов, страшная правда открылась, и Колосов тут же назначил заседание партбюро для разбора персонального дела капитана Костицына, который обманул замполита. Заседание провели в тот же день. В итоге — выговор без занесения.

Казалось бы, не смертельно. Но этого оказалось достаточно, чтобы затеять отзыв положительной характеристики, которую мне давали для выезда в Африку. Я ведь изменился — замполита обманул... А с новой характеристикой, если верить Колосову, меня можно будет отправить разве что на Соловки. Партсобрание состоится завтра.

Что, Рома, не ожидал? Еще несколько часов назад все было прекрасно и безоблачно.

Я понял, что оказался у опасной черты. И что спасти меня может только командир полка Геннадий Петрович. В части его уважали и побаивались одновременно.

— А, Роман! Ну заходи, заходи. А я думаю: времени остается всего ничего, а ты все не идешь. Слышал я, что там затевается. Ничего не бойся. Я сам на собрание приду.

Вечернее построение позади, и офицеры гурьбой заходят в класс третьей эскадрильи. Народу много, поэтому рассаживаться никто не будет. Собрание проведем на ногах. К тому же это недолго: вопрос в повестке дня всего один — персональное дело капитана Костицына.

Замполит грамотно дирижирует процессом.

— Вы все, наверное, знаете, из-за чего мы сегодня здесь собрались. У нас в полку произошло событие, мимо которого мы не можем пройти равнодушно. Не имеем права! Мы должны проявить партийную принципиальность и дать четкую оценку этому вопиющему факту. Кто хочет выступить?

Назначенный меня топить Гурьев делает шаг вперед. Но вдруг вмешивается стоящий рядом с замполитом командир полка:

— А можно я скажу?

Это не соответствует плану Колосова, но он пока даже не догадывается насколько.

— Да, конечно, товарищ командир!

Гурьев задвигается обратно, а Геннадий Петрович начинает свою речь. Он достаточно лаконичен. Говорит о моих личных и профессио-

нальных качествах. О том, что со мной полк уже несколько лет выполняет задания за границей — и ни одного прокола. О том, что конспекты, конечно, важны, но ведь офицер не танцевал, а делом занимался. Поэтому самое лучшее, что товарищи коммунисты могут сейчас сделать, — это пожелать капитану Костицыну успешной работы в новых, совсем не простых условиях за рубежами нашей Родины.

После выступления командира в настроениях товарищей коммунистов происходит решительный разворот. Назначенные меня терзать опускают очи долу. Да и сам Колосов понимает, что после речи Геннадия Петровича продолжать изначально заготовленный сценарий уже не имеет смысла. Пытаясь сохранить хорошую мину при плохой игре, бодренько так заявляет, что капитана Костицына пригласили сюда больше в воспитательных целях. А так — конечно, достоин. Ну что, товарищи, голосуем? Кто за то, чтобы оставить все как есть и не отзываться уже выданную капитану Костицыну положительную характеристику?

«За» голосуют даже те, кто готовил обвинительные речи с подачи замполита. Включая продажного Гурьева. Уф-ф, пронесло! Спасибо вам, Геннадий Петрович! А то налетели ветры злые, и думалось уже, что я один тут стою неприкаянной былинкой... А оказывается, вовсе и не один.

Вот и наступил этот день. Я покидаю Паневежис на три года. Даже не верится!

Стоим на перроне железнодорожного вокзала. Провожают меня замечательные девчонки, наполнившие мою холостяцкую жизнь ароматами молодости, фантазиями, авантюрами, маленькими интригами. Позади остается такой сладкий, такой неповторимый отрезок бытия. Он уходит в прошлое навсегда, и я это знаю. Мне его немного жаль, но впереди ждет Африка и жизнь, полная приключений. Новый мир. Другое полушарие, другой континент, другая страна. Новая работа, новые друзья. Новые враги. А куда же без них?

Работа бортового переводчика сделала прощания и встречи чем-то очень привычным. На душе легко и светло. К тому же у меня здесь остается квартира. Значит, точно еще вернусь.



Алексей ИВАНТЕР

ОТ ВОРОНЕЖА И ДО ТАМАНИ

Тесть

Он в школу идет мимо храма,
Где нет ни креста, ни попа.
Тайком перекрестится мама,
А к храму — в пырее тропа.

Он носит на худеньком теле,
Росточком едва лишь за сто,
Из старой мадьярской шинели
Пошитое мамой пальто.

Он топает бодро в Гнилёво,
В тетрадке четыре и пять.
Но вечером, снова и снова,
Придет лихорадка опять.

Веревка привязана к рельсу,
Свистит за Десной товарняк,
Гуляет сыпняк по Арельску,
В Трубчевске гуляет сыпняк.

Далекая жизнь и чужая,
Подвластна чужому гужу...
Я долго его провожаю,
В упрямую спину гляжу.

* * *

В поселке Новые Бурасы,
У банка местного в долгу,
Немного в стороне от трассы,
Медведицы на берегу,

В домишке, с виду неказистом,
Но обихоженном внутри,
Вдова военного связиста
Зимой сушила сухари.

На полку зубы положила
И, чтобы все-таки прожить,
В ломбард районный заложила —
Что было в доме заложить.

Под небом блеклого металла
Одна сидела дотемна.
И по ночам молиться стала
Вдруг Богородице она.

Не так, как слышала от бабки,
Не так, как учат во церквах,
Но как в хмелю ломают шапки,
На водку просят всиневах.

Не за себя она просила,
За всех вокруг, как об одном.
Была в словах такая сила,
Что свет стоял перед окном —

Затеplen отблесками или
Ее молитвою живой?
И тихо голуби ходили
По чердаку над головой.

.....

И в марте, во второй декаде,
На свет, стоявший у окна,
К давно не крашенной ограде
Явилась женщина одна.



В платке, повязанном по-русски,
И в чунях, лопнувших по шву,
Она прошла дорожкой узкой
Проведать бедную вдову.

О чем они поговорили,
Уже мне это невдогад,
Но дверь под утро отворили
И обе вышли в палисад

По громко чвигающей жиже
Раскисшей мартовской земли
И, выбирая путь поближе,
По водам утренним пошли.

От огородов и от трассы,
Куда влекла идти душа...
И спали Новые Бурасы,
И не видали ни шиша.

* * *

В придорожных кафе и пельменных, на заправках и возле постов часовых не разводят бессменных из полков разведенок и вдов. Сорок лет колешу по России; это внуки уже плечевых: Зинаиды и Анастасии начеку на постах боевых. Ни войны вроде нет, ни разрухи, а посмотришь — войною война: медяки подбирают старухи, косяки забивает шпана. Из своей колымаги побитой, семафора седую башкой, выдыхаю дымок ядовитый на уезженной трассе донской. От Воронежа и до Тамани, стороной объезжая Ростов, тормозок достаю от мамани, будь готов, говорю, будь готов. Будь готов — у больницы районной, не желая в приемный покой, дососать свой чинарик законный над великою вольной рекой. Будь готов — это лоно земное, где лежат триста лет казаки, примет утречком тело чумное, на холму, чуть поодаль реки. А внизу — и сады и арбузы, пацанята и девки ешшо... И идут на Тамань большегрузы — хорошо!

* * *

А там, где старые ступени
Спускались к серому дворцу,
К поляне в розовой купени,
Скале и черному скворцу,

Травинку длинную сжимая,
 О чем-то думая своим,
 Сидела девочка немая,
 С отцом пришедшая вдвоем.
 А он, похмельный и синюшный,
 Ее от ветра укрывал
 И, истонченный и воздушный,
 Умом куда-то уплывал —
 Не в Зурбагане, так в стакане —
 И вдруг со мной заговорил
 О Кандагаре, об Афгане,
 Полуоткрыв обрубки крыл,
 Что не возьмешь судьбу нахрапом
 И не исправишь погода...
 А день угас, и дождик крапал,
 А он не чувствовал дождя.
 ...И рядом девочка немая,
 На батю глядя горячо,
 Другое что-то понимая,
 Большое гладила плечо.

* * *

Я был недолго кузнецом
 И сварщиком-кривые-руки,
 И бригадир с рябым лицом
 Не знал, за что такие муки.

Но что умел я так умел —
 Такие рассказать побаски,
 Что армянин, хромой Самвел,
 Платил бригаде без опаски.

Когда делили барыши
 За перестроенную дачу,
 Мне отгрузили от души
 Пятерки, чирики и чачу.

И с вещмешком пошел пешком
 Я мимо города на Каме
 Работать дальше языком,
 А не руками.



* * *

На деревенском чердаке
пылились прялки, веретенца
и свет блуждал в половике
из запыленного оконца.
Как в древнем городе мордвы,
тут смысл каждой приспособы
для посторонней головы
был очевиден не особо.
Но рук натруженных следы
хранили древки и ухваты,
и хлеб сухой из лебеды
жить не наказывал богато.

Уже слезая с чердака
по ветхой лестницы трясине,
я связку писем у конька
заметил в рваной парусине.
Конвертов не было. Листки
краями слиплись, плыли даты,
но почерк няниной руки
легко читался, кругловатый.
Листая, я спустился в сад
к скамье, поставленной под грушу.
Но был убитым адресат;
писала мертвому Марфуша.
Зарыт весной, у Бочага
лежал он, а земля дышала.
Лишь память женская, долга,
его из мертвых воскрешала.
Но у берез сторожевых
давно и Марфе не проснуться.
И я последний из живых,
кому доверено коснуться.

* * *

Меня спасли врачи в Кашире.
Я умирал. Над головой
Пекло, и небо стало шире
В окне, заляпанном листвою.

Я смутно помню эти лица —
В бреду, в жару и без мольбы;

Шесть коек, старая больница,
И рядом липы и дубы.

Среди событий перевитых
И лиц, запомненных слегка,
Сестер и нянек подзабытых
Я помню местного дедка.

На койке скрипкой полулежа,
Он вел негромкий разговор:
Всю жизнь крестьянскую итожил,
Все выходил на приговор.

Мол, виноват и так и эдак,
И тем и этим вообще,
И все хотелось напоследок
Ему со мною о борще.

Мол, борщ — он борщ! Всему основа!
Мол, без борща и жизнь пустяк!
Еще, пожалуй, и корова,
Но борщ — всему основа всяк!

И что нужна к нему сметана,
В которой нож стоит во фронт!
...Его жена звалась Татьяна,
Горячая, как русский бунт.

И, щи больничные хлебая,
С прожилкой тощего мяса,
Роптал он, тихо погибая,
И ждал крестьянского конца.

Но духом вдруг неудержимым
Пахнуло в дверь, и обмер дед:
Кастрюля с красным содержимым
И ложка липовая вслед...

Он ел и ел. Хлебал со вкусом,
Не говоря и не ропща.
И встал. И выписан был с матом
И с духом этого борща.

А следом я — зашитый криво,
Но крепко — доброю рукой...
Кончался август. Зрели сливы.
Ходили кони за Окой.

Елена БАСАЛАЕВА

ЦЫГАНСКАЯ ДОЧЬ

Р а с с к а з

* * *

В доцифровую эпоху, в Маринином детстве, культурное развлечение в поселке было одно — телевизор. Маленькой Маринке особенно запомнился фильм с музыкой, в котором плакала и металась красивая девушка в голубом платье. Этот фильм часто смотрела мама. Там девушку мучили разные неприятные особы, и, видно, чтобы убежать от этих назойливых типов, она села на корабль и стала петь, а вместе с ней пели и танцевали совсем другие, веселые, бойкие люди в цветастых костюмах и с гитарами:

Мохнатый шмель — на душистый хмель,
Цапля серая — в камыши.
А цыганская дочь — за любимым в ночь
По родству бродяжьей души.

Милая девушка в голубом всплескивала руками, танцевала, смеялась. А потом праздник почему-то кончился, на девушку сердились и прогоняли ее с парохода на берег, в хмурое утро. Маринке казалось, что умирает девушка не от выстрела, а оттого, что ее все гонят от себя, злятся на нее за что-то и бросают. Не злились только те, которые плясали и пели на корабле.

— Мама, а кто были эти веселые люди в кино? — однажды спросила маленькая Марина.

— Веселые? В «Жестоком романсе»?! — изумилась мать.

— Ну с гитарами-то! Такие разноцветные, красивые...

— А... Так это цыгане.

— Вот бы их увидеть! Красиво поют, — мечтательно сказала Марина.



Мать отмахнулась:

— Не дай бог встретиться! Воруют они и не работают. Ольга Ивановна рассказывала. Стояла в городе на остановке, там подошла к ней какая-то, просит: «Дай погадаю». Согласилась сдуру. Заплатила сотку, потом смотрит — а браслета на руке нет! И еще хуже бывает — в гипноз могут ввести. Заговорят-заговорят, усыпят и обдерут потом как липку. Поедешь когда-нибудь в город, так смотри, там на улице ни с кем не разговаривай...

* * *

В город Марина поехала после одиннадцатого класса, правда, в небольшой — Енисейск. Поступила в педколледж на специальность «изобразительное искусство и черчение». Соседки в общежитии показались с виду дружелюбными, но потом стали подворовывать еду и устраивать посиделки с парнями по полночи. Постоянный шум мешал делать задания и спать, однако, когда девчонки уходили из комнаты, Марина чувствовала себя одинокой и брошенной. Ближе к выпуску соседки познакомили ее с Сережей, который тогда учился в многопрофильном техникуме на водителя, и через полгода Марина и Сергей в присутствии все тех же веселых общежитных девчонок расписались, а еще через шесть месяцев Марина родила дочку Аню.

Жить стали в Енисейске у Серединой матери. Та не слишком была рада подселению, пренебрежительно относилась к Марининой деревенской родне и однажды заметила вслух, что не такой представляла себе невестку. Но ссор не затевала и помогала с Анюткой: ходила с ней гулять, покупала питание. Марина слушалась свекровь, за короткое время запомнила, где какая банка стоит на кухне, где должны висеть полотенца в ванной, и делала все так, как привыкла хозяйка дома. Себя Марина хозяйкой не чувствовала, так и жила с постоянным ощущением, что находится в гостях. С девчонками из колледжа дружба разладилась. Выяснилось, что у них разные интересы, да и пригласить кого-то к себе было проблемой: гостей свекровь не любила и сама звала их только по большим праздникам.

Молодой муж с трудом устроился на работу. Везде требовали опыт вождения хотя бы от одного года — и в такси, и экспедитором, и тем более на вахту, где платили приличные деньги. Взяли Серегу только в ЖКХ, и вместо вахтового самосвала ему пришлось водить коммунальную машину. Уставал он сильно и домой возвращался злой.

— Не работа, а каторга, — жалела сына свекровь.

— Какую дали, — сквозь зубы отвечал Серега.

Марина уже не помнила, кто из них — муж или его мать — впервые озвучил мысль о том, что надо перебраться в Красноярск. Но, однажды произнесенная, эта идея стала обрастать плотью, и, когда Анютке было почти два годика, свекровь уже всюю рисовала радужные картины счастливого бытия молодых в краевом центре:



— Первое время снимать будете, там у меня знакомые есть, со скидкой сдадут. Кристинка, дочка-то моя, тоже сперва снимала, потом ипотеку взяла. Сережа на вахту устроится, а ты, Мариночка, тоже на работу пойдешь. Мы в наше время как? Ребенку год — уже вовсю работали!

— Куда я работать-то пойду? В школу нельзя... — слабо отбивалась Марина.

— Так ты в садик иди! У меня сестра вон в садике работала нянечкой по молодости. И сама сыта, и ребятишек устроила. Вот и ты девчущку свою пристройшь.

Марина не могла толком понять, почему от этих вроде бы заботливых слов ей стало так больно и обидно. Глаза внезапно наполнились слезами:

— Зачем нянечкой... Я уж тогда воспитателем пойду.

Маринины родители, узнав о том, что дочь с семьей переезжает в крайцентр, обрадовались еще больше и сулили золотые горы еще активней:

— Вот и правильно! Что в глуши-то сидеть? Езжайте, а мы деньгами поможем. Мы всю жизнь в деревне кисли, так хоть ты, может, в люди выбьешься. Второго родите — материнский капитал получите. Работу хорошую найдете. Опять же, сходить там есть куда... А здесь у нас и больницу вон закрыли.

И чем больше Марина слушала эти речи о сказочной красноярской стороне, тем сильнее не хотелось ей понимать того, что на самом деле стремились донести родители и свекровь, прикрываясь словами заботы. Она уже воочию представляла, какая у них с мужем будет маленькая уютная квартирка, где она сможет расставить все по своему вкусу, а в самом переезде стала видеть приключение, которого ей не доставало в жизни. И поторапливала Сергея собираться в дорогу.

* * *

После переезда Марина не спешила устраиваться на работу. Вначале нужно было делать ремонт в квартирке, которую им по дешевке сдали в аренду знакомые свекрови, потом — решать проблемы с документами. Первое время Марина искала заработок через интернет, но получалось плохо: паттерны для текстиля у нее не взяли, подвернулись только удачные заказы на иллюстрации для книжки и рисование стикеров для блога.

— Ты мелко плаваешь, не для того мы в Красноярск приехали, — учил жену Сергей. — Ты бы свой блог завела, мастер-классы записывала, стримы...

— Да когда мне этим всем заниматься?! Ребенок же...

— Ну или в садик иди... Мать же говорила.

Марина устроилась подрабатывать в детский центр: вела два раза в неделю кружок рисования, пока Серега сидел дома с Анюткой. Возможность пообщаться с людьми стала для нее глотком свободы после полугодового домашнего заточения. Однако платили там копейки, и через пару

месяцев Сергей (к тому времени водитель маршрутки) опять напомнил жене про садик.

В двух садах Марину не приняли, объяснив это отсутствием у нее опыта, а в третьем заведующая, рыхлая белая дама с пышной наложенной прической, назначила ей собеседование.

— Что это вы, дорогая моя, нигде не работали? — Заведующая прочертила синим ногтем по году выпуска, обозначенному в дипломе.

— Я в колледже на практике была... В детском центре кружок вела, только неофициально. Картинки для книжки рисовала... — Марина облизала пересохшие от волнения губы.

Заведующая хмыкнула, и крупные серьги в ее ушах недоверчиво качнулись.

— Младшие дети в семье были? Нянчиться умеешь?

— Были! — искренне обрадовалась вопросу Марина. — Брат и сестра, оба младшие.

— О-о, вот с этого бы и начинала! В ясли пока пойдешь. Ну и ребеночка твоего возьмем, куда деваться... Сколько уже ей?

— Два года и десять месяцев.

— В «Ягодку» пойдет, в младшую группу. Нельзя, чтобы мать с дитем в одной группе были, — наставительно подняв палец вверх, сказала заведующая.

* * *

Напарницей Марины оказалась пожилая, отработавшая в яслях тридцать с лишним лет Надежда Петровна. Эта была женщина не злая, но и не добрая; не ленивая, но не сказать чтобы расторопная и трудолюбивая; не угрюмая, но и не особенно веселая. Ходила она всегда в одном и том же платье, лишь пару раз на памяти Марины сменив его на джинсы с кофтой. Марина догадывалась, что когда-то Надежда Петровна была другой, просто десятилетия, проведенные с малыми неразумными детьми, приучили ее не думать и не чувствовать лишнего.

Каждое Марино утро в яслях, если ей выпадала первая смена — с семи утра, начиналось с дикого ора. Дети не просто плакали — рыдали, протягивая руки к входной двери, мотая головенками и требовательно выкрикивая какие-то нечленораздельные звуки. Уже через несколько минут от этих воплей начинала гудеть голова, а успокаивались ясельники только к девяти часам, когда надо было начинать первое занятие. Марине было страшно жаль малышей, и, глядя их по головам, обнимая, она надеялась на то, что ее Анютку в другой группе тоже пожалеют и приголубят. Однако Надежда Петровна, как-то увидев, что Марина обнимается с ребятами, сделала ей строгий выговор:

— Ты что делаешь?! Ты детей к рукам не приучай! Потом не слезут!

К октябрю дети начали понемногу осваиваться, кричали утром уже не так яростно, и за ними стало интересно наблюдать. Но поделиться эти-



ми наблюдениями Марине было не с кем. Надежда Петровна вроде бы тоже примечала какие-то вещи, но все в сугубо прагматическом ключе:

— Смотри, какая девчонка жоркая! Суп дочиста выхлебала.

Трудным делом для Марины было укладывание ребятишек в постель. В спальне они опять начинали хныкать, проситься на руки. Надежда Петровна пугала их бабайкой, механически поправляла одеяла, а про одного, особенно громкого, сказала так:

— Мы тебя будем слушать? Мы тебя слушать не будем. Возьмем тебя, положим и накроем, да и вся недолга.

Марина заметила, что старшая напарница нередко разговаривает сама с собой. Кроме нее в группе была еще нянечка Маша, оказавшаяся полуглухой и косноязычной. Маша почему-то стеснялась садиться за трапезу. Марина жестами приглашала ее к столу, и только тогда нянечка, улыбаясь, соглашалась хлебнуть чаю с молоком и съесть бутерброд. Марине очень хотелось поговорить с Машей — по всему видно, доброй, заботливой девушкой, но Маша оставалась нема, а вокруг возились шумливые, но столь же бессловесные дети.

* * *

Занятия — рисование, лепка, развитие речи, физкультура — длились не больше пятнадцати минут каждое. В остальное время дети гуляли (всех их приходилось одевать, редко кто умел натянуть на себя хотя бы колготки) или играли в группе: катали машины, кидали мячики, рассматривали картонные книжки.

Марина обратила внимание на одного из мальчишек, которого звали Максим. Ему нравилось расставлять-переставлять стаканчики на специальной игрушечной кухоньке, складывать в кастрюльку маленькие пластмассовые овощи, «мыть» тарелки в раковине. Марина полюбила наблюдать за ним. У этого мальчишки были яркие, четко очерченные тонкие губы, широко распахнутые карие глаза с короткими черными ресницами и смуглая кожа с нежным румянцем. Из-за слишком выступающих скул и оттопыренных ушей его нельзя было назвать красивым ребенком. Но он подкупал своим прямым взглядом и тем, что, в отличие от других детей, говорил постоянно не «дай-дай», а, наоборот, «на-на».

— На-на! — повторял Максимка, взмахивая руками, как бабочка крыльями.

— Это он «няня» говорит. «Мама» то есть, — объясняла Надежда Петровна. — Больше ничего не умеет.

Максимкина мама приходила рано, в пять часов. Не сразу Марина узнала, что зовут ее Люба и она работает нянечкой в этом же саду, а узнав, не выдержала и спросила:

— Ну как вам здесь?

— Хорошо! Люди везде хорошие есть, да? — засмеявшись, ответила девушка.

— Да, — обрадованно подтвердила Марина.

Скоро они перешли на «ты». Люба каждый раз благодарила за то, что Марина хорошо следит за Максимкой, приносила в качестве гостинца какую-нибудь конфетку. Ее тоже нельзя было назвать красавицей, но она притягивала Марину своей необычностью: ярко красила губы, которые были пухлее, чем у сына, мазала веки бирюзовыми тенями, одежду надевала или блестящую, или каких-то кислотных цветов и всегда пребывала в радостном настроении. Глядя на ее смуглое лицо с плоскими скулами, карие блестящие глаза, опущенные густыми черными ресницами, Марина пыталась угадать, каких же кровей ее новая знакомая. В Маринином родном поселке жили осетины, работали на пилораме, но на них Любка ничуть не походила. На тувинку она тоже не смахивала: те, сколько их встречала Марина, были с толстыми лицами и узкими глазами.

«Таджичка, может?» — гадала Марина, но спросить не решалась.

Люба однажды, одевая вертящегося Максимку, спросила:

— А где у тебя родители, в Красноярске?

— В деревне... Отец плохой стал, болеет.

— А мой и не знаю где. В Таджикистане еще потерялся.

— Так ты таджичка? — вырвалось у Марины.

Любка вдруг лукаво усмехнулась, закусила алую губу и, откинувшись к стене, сказала:

— Да не совсем. Отец таджик, а мать и бабушка — цыганки. Бабушка у меня в таборе жила.

— А-а, — только и сказала Марина, пытаясь скрыть нахлынувший испуг.

Отец у нее старался не иметь дела даже с осетинами — не то чтобы думал о них плохо, но просто на всякий случай избегал. Мама поступала так же. А тут...

— Ты что задумалась? — окликнула Марину Люба.

— Ничего, — машинально ответила та.

Люба вздохнула и прижала затихшего Максимку к себе:

— Меня ведь бабушка вырастила. Мама то работала, то... Слушай, а муж у тебя где?

— Со мной, — удивилась Марина вопросу.

— Это хорошо, что с тобой... А мой вот где-то в Емельянове. Уехал и пропал... Слушай, а я сильно похожа на цыганку?

— Да вроде не очень похожа, — соврала Марина.

— Ну ладно, — успокоилась Любка. — А то, знаешь, я на мясном заводе работала, так там одна баба как уставится на меня! Ах, думаю, тебе рожка моя не нравится?! Пряма смотришь — и кусок в горло не лезет? Нас там, на заводе, чаем поили, колбасой, ветчиной кормили... Любишь колбасу?

— Люблю.

— И я тоже. Я в ночную смену работала. В одиннадцать чай, в два ночи обед — ветчину давали. Утром, в шесть, опять чай с бутербродами. Видишь, здорово как?!



— Но ты же почему-то ушла? Неужели из-за тетки этой?

Люба засмеялась, тряхнув волосами:

— Да черт бы с ней! Ночью не спать надоело, да еще холодно там, в цеху, — кашлять стала... Бабушка сказала: «Бросай-ка это дело, я больше с твоим ребенком сидеть не буду. А иди, дорогая моя, устраивайся в садик».

Марина удивленно поглядела на приятельницу:

— Знаешь, вот и мне так родные сказали.

Любка опять прыснула:

— Ну, значит, мы с тобой сестры!

* * *

Сергей за заправку отдавал каждый день тысячу шестьсот, за мойку — двести, за план (обязательную плату владельцу автобуса) — три с половиной тысячи, в выходные — две. Однажды в выходной пассажиров было мало, и Серега после двадцати часов работы еще остался должен хозяину.

— Скотина! — ругался он дома. — Долг в тетрадку записал, а сам даже стоянку не может в порядок привести. И козел один в мой график влезает, не первый раз уже. Еще хоть раз влезет — дождется у меня, на конечной подкараулю.

— Что ты, что ты! — испугалась Марина. — Он, наверное, нечаянно... Всякое бывает.

— За нечаянно бьют отчаянно, — недобро усмехнулся Сергей. — Хорошо тебе, в тепле сидишь, с детишками возишься. Обед бесплатный. Не надо по городу мотыляться, с гаишниками разбираться...

Марина почувствовала, как внутри у нее холодеет от этих несправедливых слов:

— Ты, что ли, думаешь, я отдыхаю там? Попробуй-ка пятнадцать человек на прогулку одень — спина отвалится! Да я...

Голос сам собой прервался от внезапно нахлынувших слез.

— Ладно, ладно, — смягчился Серега, небрежно приобняв жену. — На межгород надо перейти, вот где красота! Конкурентов нет, едешь себе по трассе, и бабки все твои! Через годик обязательно ипотеку возьмем.

В свободные вечера Серега уходил к каким-то новым приятелям, и тогда Марина оставалась с ребенком одна. В выходные иногда приезжала в гости его сестра Кристина, которая жила в Красноярске уже четыре года и работала в салоне красоты. Они с Сергеем вспоминали детство, какие-то школьные проказы, общих знакомых, которых Марина не знала. Золовка хвалилась работой: выучившись на мастера маникюра, она зарабатывала сейчас, по ее словам, около сорока тысяч.

— Вот и ты бы ногти научилась делать, работа непыльная, — уже не раз говорил Сергей Марине.



Советы его были вроде бы дружелюбными, но Марине становилось обидно: она и без того старается — занимается и работой, и ребенком, но, видно, не вписывается в образ успешной городской дамы, какой ее желает видеть муж.

Сергей вообще любил поучить жизни и даже при просмотре фильмов обязательно сопровождал действия героев какими-нибудь комментариями. Он анализировал и оценивал все и вся: местную власть, архитектуру, красноярские дороги и автобусные маршруты, своих сменщиков. По поводу последних высказывался определенно:

— Мало толковых людей. У нас в Енисейске люди поумнее будут. А тут еще и нерусь кругом. Лезут в Красноярск все кто ни попадя.

— Так и мы тоже... лезем, — не выдержала однажды Марина.

— Мы — это мы, — глубокомысленно заметил Серега. — Нам можно, мы все равно у себя дома.

Марина уже и не знала, где ее дом. В съемной квартире с отваливающимися обоями, откуда они собирались переехать к лету? В Енисейске у свекрови, где было тепло и чисто, но неуютно и беспокойно? В родительском доме, где сейчас выросли и уже учились в десятом классе младшие брат с сестрой?

Марина проводила в садике полдня, и иногда ей начинало казаться, что ее настоящий дом — именно там. Если выпадала вторая смена, то с половины шестого Марина выводила всю группу на участок. Туда же выходила Люба со своим Максимкой. Марина еще смотрела на нее настороженно, однако разговорчивая Любка сама начинала болтать — о своем детстве, о школе, о ребенке, — и вскоре Марина заметила, что уже ждет, когда эта попрыгунья-стрекоза появится во дворе.

— Ты, наверное, девять классов окончила? — как-то осторожно спросила Марина.

Любка сделала такое оскорбленное лицо, будто ее заподозрили в страшных грехах, и, сверкая глазами, ответила:

— Я после хлебозавода в центр образования записалась! На «Космосе»! Все, как надо, окончила.

— Мама посоветовала?

— Не мама, а бабушка! Я ж тебе говорю: бабушка меня воспитала. Она мне говорит: «Иди учись!» Я и выучилась. Не такая, конечно, умная, как ты, но тоже ничего! — засмеялась Любка.

Марина стала замечать, что им всегда весело вместе. Не хотелось думать ни о том, что Серега стал куда-то пропадать даже в те дни, когда не выходил на маршрут, ни о том, что у Анютки обнаружили аллергию, ни о том, что звонил хозяин квартиры и повысил цену на полторы тысячи. С Любкой было легко, радостно, точно в детстве, когда идешь по жизни, зная, что тебя любят и в случае чего выручат из любой беды.

И вдруг Люба пропала.



* * *

В пятницу она просто не пришла на работу. Моросил осенний дождик, небо все было обложено серой ватой, и на улице Марина решила с ребятишками не выходить. Включив яркий свет, сидели в яслях, читали книжки, играли. После второго завтрака Марина не выдержала, заглянула в группу, где работала нянечкой Любка. Там ей сообщили, что звонили той и на один, и на другой номер — ответа нет.

— Зарплату перечислили вчера, вот и загуляла эта шлендра, — махнула рукой многоопытная Надежда Петровна.

После выходных Люба объявилась как ни в чем не бывало, на все вопросы отвечала нехотя и уклончиво, и Марина в конце концов отстала от нее, подумав, что у подруги просто случилось какое-то недомогание.

На утреннике для старших ребятишек «Проводы Осени» Марина сыграла Зиму и заслужила похвалу заведующей:

— Так ты красиво говорить умеешь? И рисуешь еще! Надо, надо что-то с тобой сделать...

Эти слова скорее напугали Марину, чем ободрили, но оказалось, что в ноябре открывается новая старшая группа. Помещений в саду не хватало, и для новеньких пятилеток под группу переоборудовали спортзал.

Больше всех новости радовалась Люба:

— Хорошо, дорогая, что тебя перевели! Тебя надо к старшим. Ты умная. Посидеть бы нам с тобой где-нибудь после работы, кофе попить...

— Да нет у меня денег в кафе сидеть, — призналась Марина.

— Зачем в кафе? Домой бы к нам сходила. Только сейчас ремонт у нас. А к тебе можно?

Марина представила себе вечно хмурое Серегино лицо и отрицательно покачала головой.

— Ну ладно. Скоро мы ремонт закончим, придешь к нам. Бабушка вкусно кофе варит.

Сын у Любы все еще не разговаривал, так и повторял только слова «няня» и «все-все». Марина посоветовала приятельнице:

— Ты сходи с ним к врачу, к неврологу.

— Э, заговорит! Я вот, бабушка говорит, тоже молчала, только глаза таращила, а теперь слышишь, как болтаю! Не проблема это. Вот долг надо отдать...

У Любы был долг за садик, о чем знали все: подробный список должников с фамилиями и суммами заведующая вывесила в коридоре. Марина всегда старалась за все платить в срок и не понимала, как Любка нагнала долг в целую пятерку.

— Денег нет, — жалобно объясняла та на планерке.

Завхоз, ворчливая, как все работающие на этой должности, но довольно добродушная женщина, тут же, при всех, одолжила ей пару тысяч.

Маринина бывшая напарница по яслям скептически хмыкнула:

— Ну, завтра вы вашу Любу не увидите...



— Да надоела она, — недовольно прибавила воспитатель Любиной группы, когда народ уже наполовину разошелся по рабочим местам. — То кружки не помоешь после сока. То банки после огурцов-помидоров в шкафу оставит. Куда их нам?! Все же выкидывать надо... А еще опаздывает!

Марине было обидно за Любку, которую она уже всерьез стала считать своей подружкой. Подумалось про себя: «Увидите все, завтра она обязательно придет! И вовремя».

* * *

Любка и правда пришла без опозданий, и ее действительно увидели все. Не заметить ее в тот день было трудно. С дальнего конца коридора Любка торжественно шагала в сияющем синем наряде, серебристого люрексowego блеска которого был не в состоянии спрятать скромный нянечкин фартук. Подол облегающего трикотажного платья спускался ниже колен.

— Ну, красотка, привет! — сказала Марина.

— Привет! — радостно отозвалась Люба. — Как ты думаешь, мне идет?

Она игриво мотнула хвостом густых черных волос и выжидающе, словно ребенок после того, как рассказал стишок Деду Морозу, посмотрела на Марину.

— Красиво, Люба. Очень здорово. Только... На что же ты его купила?

— Мне же вчера Елена Семеновна дала денег.

— Но она думала, ты заплатишь за садик!

Люба обиженно выпятила вперед пухлую нижнюю губу.

— И ты так говоришь, как мои воспитатели. Но платье-то мне тоже нужно! Скоро Новый год, куда без платья-то, что за праздник?!

Марина вздохнула:

— Ты говорила, что у вас и еды мало...

— Да, мало... — согласилась Люба, задумчиво облизнув крашенные алой помадой губы. — Вот я и купила кофе и муку. Бабушка будет лепешки печь.

В садике все возмущались ее поступком, и больше всех, разумеется, завхоз, которой было жаль зря одолженных денег. В последнюю предновогоднюю неделю Марина не раз слышала, как та жаловалась на «проклятую нерусь» то коридорной нянечке, то вахтеру, то психологу.

На Новый год в подарок Анютке Люба принесла кулечек карамелек в шоколаде, косоглазую куклу и плюшевое сердечко, и Марине захотелось тоже сделать в ответ что-нибудь хорошее.

— Слушай, Люба, у тебя же остался долг за садик? — спросила она.

— Остался.

— Возьми, пожалуйста, от меня две тысячи взаймы и заплати хоть часть. Отдашь через пару месяцев.



Люба всплеснула руками и потянулась к Марине с объятиями:

— Ой, спасибо, дорогая! Ой, спасибо!

— Пообещай, что заплатишь долг, — сказала Марина, вспоминая, как десять лет назад отцу звонили коллекторы и, по-всякому угрожая, требовали вернуть банковский кредит.

— Заплачу, заплачу! Вот ты подруга настоящая! С Новым годом тебя! Счастья тебе! Здоровья!

— И тебе, Любочка! — от души сказала Марина.

* * *

После новогодних каникул Люба проработала с неделю, а потом опять пропала.

Все ожидали, что будет как осенью, но она не объявилась ни на следующий день, ни после. Телефон, само собой, не отвечал.

Марина не на шутку переживала. Сказала дома Сергею:

— Тут пропала... у нас одна. На работу не выходит. Не знаю, что и думать.

— Что думать! Забухала.

Марина покачала головой:

— В деревне у нас однажды пропал человек, потом в лесу нашли... Так его хоть искали, а тут и дела никому нет!

— Ну ты иди поищи, — равнодушно бросил Сергей.

На очередной планерке заведующая сказала, что собирается заочно уволить Любку.

— Может быть, с ней что-то случилось? — робко предположила Марина.

Все вокруг посмотрели на нее с какой-то снисходительной жалостью: мол, неужели не понимаешь? Чувствуя, что краснеет, Марина все-таки решила сказать:

— Я все понимаю, конечно, но... Вдруг и правда случилось что? Надо бы узнать...

— И как же мы это узнаем? — иронично поинтересовалась заведующая, постучав по столешнице зелеными ногтями.

Марина оправила юбку.

— Надо съездить к ней. Я поеду. Адрес же есть в журнале, в ясельной группе...

Заведующая неожиданно быстро согласилась:

— Давайте съездите к ней. Только побыстрее, чтобы мне определиться, увольнять уже ее или как.

Надежда Петровна глянула на Марину то ли с осуждением, то ли брезгливо:

— И не боишься ехать черт-те куда? Ребенок у тебя! Заразу подхватишь еще...



В яслях Марина выписала Максимкин домашний адрес и на следующий день после работы поехала туда вместе с Анюткой. Оказалось, что живет Люба неблизко. Марина ожидала увидеть частный дом, но это была обыкновенная пятиэтажка-хрущевка, правда, расположенная далеко от остановки, у берега Качи. Судя по номеру квартиры, Любино семейство обитало на первом этаже, и Марина облегченно выдохнула: это означало, что им с дочкой не придется дожидаться, пока кто-нибудь выйдет из подъезда, достаточно стукнуть в окно.

Стучать пришлось несколько раз. Наконец тюлевую занавеску приоткрыл высокий и худой темноволосый парень.

— Позовите Любу, пожалуйста!

Тот не шевелился.

— Любу! Любу позовите! — Марина подумала, что парень плохо слышит, и перешла на крик.

Занавеска мотнулась обратно, в квартире послышались какие-то возгласы, стук, шаги. Через пару минут дверь подъезда открыла Любка.

— Это ты! Это что же, правда ты? — схватив Марину за руки, восторженно прошептала она.

— Да я, конечно...

— И доченька твоя! Ой, да вы мои хорошие!.. Пойдем!

Когда из тускло освещенного подъезда они вошли в прихожую, Марина увидела, что смуглое лицо подруги сделалось землисто-зеленоватым и заметно похудело. Плечи тоже утратили полноту, стали острыми, и во всей фигуре ощущались усталость и нездоровье. Любка куталась в длинный, заношенный фланелевый халат.

— Болееешь? — участливо спросила Марина.

Та не отвечала, пока они не прошли на кухню. Там на клеенчатом диванчике сидел в одних трусах довольный Максимка и столовой ложкой поедал сгущенку из банки.

Люба подвинула Анютке чашку с карамельками и глубоко вздохнула.

— Маришка, плохо мне... — Она испуганно оглянулась, не стоит ли кто-нибудь за дверью кухни. — Ты только шепотом говори, ага? Я болею... Слабость такая, тошнит... Прямо сил нет встать. С утра выворачивает. Не знаю, что же это, раньше не было так...

Ошеломленная догадкой, Марина вопросительно уставилась на нее:

— А ты, случайно...

— Да, да... — Любка выставила вперед ладонь, не дав Марине договорить. — Не знает никто пока.

— А он?

— Он знает. Сказал, подумает.

«О чем?» — не поняла Марина, но расспрашивать не стала: и без расспросов Любка выглядела вымотанной и уставшей.

Помолчав с полминуты, Марина решила сказать:



— На работе-то ищут тебя, Любовь. Заведующая и вовсе хочет уволить. Ты бы хоть позвонила ей... Нельзя же так теряться! Позвони.

Люба вжалась в угол кухни, замотала головой:

— Я боюсь! Меня уже столько не было, будут сильно ругать. Сильно-сильно будут ругать...

— Ну что же делать, все равно надо позвонить, прийти, — пыталась убедить ее Марина.

На глазах у Любы блеснули слезы.

— И за работу ругать будут, и за это... Бабушка ой-ой как будет ругаться! — вцепившись тонкими пальцами в грязное полотенце, шепотом повторяла она.

Марина вздохнула:

— Ну что ты как маленькая...

Люба совсем расплакалась и кинулась подруге на шею.

— Скажет: «Куда ты мне понарожала!» О-о...

— Ну что ты, что ты? Муж ведь у тебя вроде как есть...

— В Емельянове он... Я ведь тебе говорила.

— Так что же, он с тобой не живет?

— Нет, почему... живет иногда.

— Так куда он подевался? — все еще не могла понять Марина.

Любка осторожно высунулась в коридор, убедилась, что ее родные смотрят по телевизору какой-то фильм, и вполголоса стала рассказывать:

— Бабушка не хотела, чтобы я с ним жила. Она мне другого жениха сватала. Он бы нам банку золота дал. А я, когда на мясном работала, с Яном вот сошлась. Он, знаешь, такими делами занимается... — Люба неопределенно покрутила рукой в воздухе. — Ну, незаконными... немного. Одно время у нас тут жил. Но он такой горячий! Сердится быстро. Кричал. Бабушка тоже сердилась. Один раз у них драка была, во как!.. Я и уехала с ним. А мама его меня не любит, вот.

— У меня так же! — вырвалось у Марины.

— И брата моего они не любят, и бабушку... Но сам Ян хороший! Это мать его портит. И дядька с отцом.

— Все портят бедного парня, — иронично заметила Марина.

— Все портят! — тряхнула головой Любка. — Бабушка так сразу сказала: порчу на него навели. Жалко, она не умеет снимать... Вот он взял да уехал в Емельяново. А я тут с Максимкой осталась. Тут бабушка, мама, отчим... Накинулись на меня: как это муж тебя бросил?! Это же позор... Плохая, значит, жена. Бабушка говорит, что я хозяйка плохая...

— Вот ты и поехала его искать?

— Да. А он ни телефона не оставил, ничего... Только сам иногда приезжал, когда хотел. Летом был, потом в октябре был. А в ноябре, декабре ни разу и не приехал. Я соскучилась по нему. И поехала его искать... когда каникулы были.

— И нашла? — удивилась Марина.

— А то! — с гордостью ответила Любка. — Людей поспрашивала и нашла.

Марина пристально поглядела на нее, только сейчас сопоставив все факты.

— Ты, получается, как раз у него была на Новый год?

— Не на сам Новый год, а второго января. А третьего я уже сюда уехала. Чтоб мои не потеряли.

— Подруга... — изумленно покачала головой Марина. — Ну ты снайпер! За один день... Точное попадание!

— Какой снайпер? — не поняла Любка.

* * *

В кухню заглянула одетая в черное старуха. Она была не очень высокой, но статной, и во всей ее тяжеловесной фигуре чувствовалась величавость.

— Бабушка, это подруга моя, Марина, — представила гостью Люба. — Мы с ней вместе работаем, я тебе про нее рассказывала. Она вот пришла узнать, как я...

Марина вежливо поздоровалась.

— А я ей объяснила, что сейчас болею, на больничном сижу и мне эту неделю можно на работу не приходиться, — затараторила Люба, взглядом показывая приятельнице, чтобы та молчала и не возражала.

Старуха метнула на внучку сердитый взгляд и тотчас накинулась с упреками:

— Так что же ты сидишь? Доставай колбасу, доставай винегрет! Человек переживает о тебе, а ты его голодом моришь!

Любка мгновенно выпрямилась, как струна, и подлетела к холодильнику.

— Ты проходи туда, в зал, — пригласила Марину старуха. — Проходи-проходи! А дети пусть игрушками поиграют.

Кроме Любы и ее бабки в квартире было еще трое людей: худая маленькая женщина, в которой Марина не сразу угадала Любину мать, высокий парень — тот, что выглянул на Маринин стук в окно, и еще какой-то невзрачный, скромно одетый мужичок, который, сидя в кресле, чинил сапоги.

Главной здесь явно была старуха. Она небрежно представила остальных:

— Это Сашко — внук мой. Злата — дочка. Вася — зять. Любку знаешь.

Любкин брат Сашко переключил телевизор на музыкальный канал. Он только делал вид, что занят передачей, а сам смотрел на гостью с живым интересом. И хотя в молчании этого странного парня было что-то пугающее, его внимание тешило женское тщеславие Марины и вместе с общей необычностью обстановки настраивало на неожиданно веселый лад.



Квартира была двухкомнатная, с широким коридором и просторной кухней, но какая-то по-деревенски бедная. (Марине даже вспомнилось, как она однажды пришла домой к своей школьной подруге: там тоже жили большой семьей, все время нуждались, но как будто не замечали своего почти нищенского положения.) На полу лежали дорожки из яркой ленточной пряжи, в коридоре висели фотографии, картинки, календари, какие-то тряпичные человечки, а над входом в кухню — большая декоративная подкова. Мебель всюду стояла старая, еще, наверное, брежневских времен: антресоли шкафа без дверок, посуда на стеклянных полках серванта закрыта только наполовину. Диван в большой комнате, где накрывали стол, тоже был старый и немилосердно скрипел, но его дряхлость удачно прикрывали золотистый плед и ярко-алые узорчатые подушки. Полстены занимал ковер, на котором была изображена целая картина: звездная южная ночь, виднеющийся вдали дворец и двое всадников, видимо, спасающихся от погони. Один из них держал наготове ружье, другой прижимал горячо льющую к нему красавицу.

— Красиво, да? — довольно усмехаясь, спросила бабка, и без того зная ответ.

Люба с матерью постелили на стол пеструю скатерть, поставили тарелки с нарезанной колбасой, салом, чашку с винегретом, холодную вареную картошку.

— А хлеб, а салфетки?! — продолжала командовать старуха.

Мать с дочерью продолжали кружиться по дому, повинясь ей беспрекословно. В воздухе витала непередаваемая смесь запахов старой мебели, чеснока, пряностей, терпкого кофе.

Наконец все сели за стол.

— Ну, Бог благослови, — торжественно сказала старуха.

Марина не в силах была оторвать глаз от Любкиной бабушки. Трудно было определить, сколько той лет. Морщинистые руки, пятна на лице и шее говорили о преклонных годах. Но при этом движения у нее были быстрые, волосы еще не совсем поседели и оставались цвета «соль с перцем», а глаза, темные, как осенняя ночь, смотрели пристально и строго. Она будто видела человека насквозь и знала про его жизнь даже такое, чего он и сам не предполагал. Так, во всяком случае, казалось Марине.

После мяса и винегрета Любина мать подала кофе с карамельками и сухарями.

Старуха отпивала медленно, с наслаждением.

— Сколько, говоришь, лет твоей дочке? — спросила она Марину.

— Три.

Старуха облокотилась на ручку старого коричневого кресла.

— А у меня две дочки. Сын в Таджикистане был — убили. В девяносто третьем году. Мы убежали оттуда. Как раз Любка родилась. Отец ее там остался — не знаю, живой сейчас или нет. Куда бежать, не знала. Женщина одна, из наших, сказала: в Красноярск надо ехать. Ну, поехали

в Красноярск. В деревянном доме жили, потом вот квартиру нам дали. Ничего зажили, хорошо. Любка вот только с Яном с этим связалась...

Люба закатила глаза к потолку, дернулась, но ничего не сказала.

— Родня его нас не любит, губу кривит: джуги, джуги... А мы что — мы люди простые, советские... Ты кофе-то пей. У меня хороший кофе. Я лучше без хлеба посижу, а кофе сварю.

— Спасибо, — сказала Марина. Кофе для нее был слишком крепкий, кисловатый.

— Угощайся... Посуда красивая у меня. Я ее на рынке «Злобино» у одного деда сменяла. Цветок ему продала в кадке. Сказала — лечебный.

— Правда лечебный? — уточнила Марина.

— А кто бы его знал! Может, и правда. Слушай, а ты почему к нам раньше не приезжала?

Марина растерялась:

— Так вы меня не звали.

Старуха усмехнулась:

— А мы никого не зовем. Кто знает — сам приходит... Ты приходи.

Мы тебе рады будем.

— Приходи! — точно разморозившись, энергично кивнул Сашко.

* * *

Только вернувшись домой, Марина спохватилась, что совсем забыла спросить имя Любиной бабушки.

— Тома ее зовут. Тамара Михаэлевна, — ответила Люба по телефону. — Слушай, ну как ты думаешь, мне к заведующей прийти?

— Конечно, приходи! Она ведь ждет, — как можно убедительней сказала Марина.

— Так ведь страшно... Может, ты со мной сходишь?

Марина, сама себе удивляясь, ответила:

— Обязательно схожу.

Договорились, что Любка придет в понедельник, но она появилась только во вторник и перед самым кабинетом заведующей думала повернуть назад. Одетая она теперь была скромно, в легонькую куртку на рыбьем меху, из-под которой виднелся подол затасканного шерстяного платья, и только лиловые сапоги на шпильках выдавали в ней кокетливую модницу.

— Попроси, чтобы оставили, — посоветовала Марина, чувствуя к подружке какую-то жалостливую нежность.

Любка слабо помотала головой:

— Нет... Подумай сама, как мне тут работать? Все надо мной насмехаться будут. Одна ты нормальная.

Марина вынуждена была согласиться. Как только Люба появилась в садике, завхозиха — вроде как в шутку — замахнулась на нее лопатой, а тетки-воспитательницы, гулявшие с детьми на участке, поглядели



так осуждающе, что Марине бы и самой расхотелось идти куда-то мимо них.

— Ну понимаешь, надо... Ты иди, а я здесь, рядышком постою.

Через неплотно закрытую дверь Марина слышала, как заведующая, сердито стуча ногтями по столешнице, выговаривает Любке за ее прогулы. Та всхлипывала, каялась, умоляла простить.

— Прощу я тебя, когда долг отдашь, — громогласно объявила заведующая.

— Да отдам, отдам! — слезливым тоном обещала Любка.

— Двадцать тысяч сразу отдать не шутка! — вдруг услышала Марина из коридора и не поверила своим ушам.

Из кабинета заведующей Любка вышла с глазами, полными слез.

— Ты когда ж успела столько назанимать?

Любка вытерла глаза рукавом, размазывая тушь по смуглым щекам: — Да когда, когда... Сами давали. На долг за садик дали, за квартиру заплатить попросила — дали. Платье вот на Новый год купила, у Яна дома оставила... Красивое платье. Я же силой отнимала, что ли? А отдать я не могу, вот две недели теперь отрабатывать. О-ой! Они ж меня теперь ненавидят! Какую-нибудь гадость сделают. В компот плюнут... — запричитала Любка.

В компот ей никто не плевал, но ругали во время прогулки на участках, разумеется, хором, и особенно усердствовала Надежда Петровна:

— Я как ее мальчишку увидела, тут же поняла — ненормальный. Говорить не может, орет, не спит... Психический, сразу заметно.

Марина при таких разговорах всегда молчала, и на нее стали неодобрительно коситься. Лишь полуглухая нянечка Маша, живущая в своем, наверняка добром мире, продолжала приветливо улыбаться, встречаясь с Мариной в коридорах детского сада.

В конце февраля Любке выплатили деньги, из которых она вернула большую часть долга. Марина не решилась просить у нее свои две тысячи сразу и, поколебавшись, только взяла с подружки обещание:

— В марте уж точно отдай, хорошо?

Любка бросилась ее обнимать:

— Конечно! Я сейчас устроюсь куда-нибудь, садиков много... И сразу позвоню тебе.

Марина, желая помочь, выписала из интернета несколько адресов детских садов, где были вакансии нянечек, официально именуемых младшими воспитателями. Нянечки требовались много где, однако у Любки наличествовали две существенные особенности, сильно затруднявшие ее трудоустройство: уже имевшийся и собиравшийся вскоре родиться ребенок.

— Ну как? — спрашивала Марина у подружки почти каждый вечер.

— Не берут... — жалобно объявляла Любка. — Я не говорила, что беременна, а пришла — они как-то сами догадались... Вот хитрые, а! По глазам, что ли, видят?

Прошел месяц, и Марине стало казаться, что Люба просто не хочет устраиваться на работу.

— Ты уборщицей пойдешь или кассиром в супермаркет, — уже слегка раздраженно подсказывала Марина.

— Ага, а куда я Максимку дену? Ты думаешь, бабушка будет с ним возиться? Она деньги дает, продукты. А возись, говорит, сама.

— У тебя еще брат есть, — сказала Марина. — Он же вроде как дома сидит.

Люба нахмурилась:

— Он занят.

— Наркотиками торгует? — бесстрашно спросила Марина, уже готовая услышать все что угодно.

Любка вспыхнула:

— Сама ты наркотиками! Как язык повернулся? Металлолом он собирает, вот что. Собирает и сдает.

Марина пожала плечами:

— Так это же не работа, это так... Хобби.

Любка обиженно надула губы:

— Как — не работа?! Да он с другом однажды ванну чугунную из земли выкопал, ага! Выкопали и сдали.

— Где выкопали? — удивилась Марина.

— На даче в Водниках... В общем, работает он! — рассерженно заявила Любка.

Марина вздохнула:

— Не сердись. Я же думаю, как лучше. Я помочь хочу.

Любка примирительно улыбнулась:

— Да я не сержусь. Так-то Сашко для Максимки дядя хороший. Игрушки ему дарит. Но он же ему не мать...

* * *

В апреле Любка сообщила, что все же устроилась нянечкой в детский сад. На удивление, он оказался совсем рядом, чуть ли не напротив ее дома. На всякий случай Марина сделала туда контрольный звонок, и только когда тамошняя заведующая подтвердила, что Любовь Рустамовна Губина в самом деле зачислена в штат, успокоилась и стала ждать обещанного возврата долга, заранее рассчитывая на упомянутые в пословице три года. Сергей собирал документы для устройства на вахту и каждый вечер мониторил банковские предложения по ипотеке, пытаясь не прогадать и найти самый выгодный вариант. Марина с нетерпением ожидала, когда они наконец переселятся из ветхой гостинки в собственное, пусть и такое же по размерам, но чистенькое и новое жилье. Долгожданное обретение своего угла давало ей силы терпеть все трудности и пропускать мимо ушей уже ставшие обыденными замечания Сергея о том, что она плохо готовит и не умеет зарабатывать.



С ребяташками в старшей группе работать было интересно: они рисовали картинки в самых разных техниках, делали аппликации, бойко решали задачки. Марина стала подумывать, что работать воспитателем не так уж плохо, и в конце весны собиралась записаться на курсы повышения квалификации, которые обещала методистка.

Но звонок матери из деревни изменил все планы.

С мамой они созванивались пару раз в неделю, говорили немного: Марина хоть и переживала за родных, но, не видя маму, отца и сестру с братом в лицо уже больше года, поневоле от них отвыкла. О своих печалях она никогда особенно не распространялась, с самого детства жалея мать, и без того измотанную работой в пекарне, уходом за стариками (бабушка с дедом умерли у нее на руках) и детьми. Обычно, когда мама звонила или Марина сама набирала ее номер, разговор был простой: получили зарплату, Сергей купил плитку, Анютка выучила стихотворение — перечень будничных дел.

— Ну и слава богу, — отвечала на такой рассказ мать и, похоже, искренне радовалась тому, что ее дочка живет в большом городе и у нее все складывается хорошо.

Но на сей раз было иначе.

— Доченька... — услышала Марина в трубке знакомый глухой голос. — Доченька, папа умер. Приезжай как можно скорее... Приедешь?

— Да-да! — закричала Марина, еще не совсем осознав смысл услышанного.

— Угу... Мариночка, а нет у тебя... это... Нет у вас денег с Сережей? Может, отложили? У меня отложенного нету, сама знаешь. Люди помогут, конечно, кто чем... Но, может, есть у вас?

Марина ответила что-то невнятное и, не в силах слушать мамин плач, положила трубку.

Сергей сразу же ответил, что денег нет:

— Надо первоначальный взнос за ипотеку вносить. У меня уже встреча в банке назначена.

— Ну возьми ты оттуда тыщ десять, — попросила Марина.

— Тут десять, там десять... Я занять бы еще мог, а так отдать... Вот честное слово, как-то не вовремя отец у тебя умер.

Марину будто кипятком ошпарило от таких слов. Ее прорвало после долгих месяцев молчания.

— Извини, тебя не спросил! — крикнула она. — Ты у нас все любишь контролировать! Сменщики у тебя плохие, работа у тебя плохая, я тебе плохо уют навожу, а ты у нас замечательный! Ты у нас золотой!.. На божничку только поставить!

Сергея, тяжело дыша, ответил с презрением:

— А ты прямо хорошая... Деревня.

Марина заплакала.



Пять тысяч Серега все же выдал, вытащив оранжевую бумажку из внутреннего кармана куртки.

Любкин номер снова был недоступен. Написав на работе заявление на отпуск за свой счет, Марина решила ехать к ней домой, надеясь, что получит хотя бы тысячу. Матери в деревне была важна каждая копейка.

В полупустом автобусе Марина села у окна, прижала к себе дочку. Пассажиры сплошь уткнулись в телефоны. За окном проплывали уже знакомые пейзажи: старые панельные хрущевки с магазинчиками на первых этажах, расчерченные остроугольными клумбами скверики, квартал переделанных под торговый центр корпусов бывшего завода, скрытые за жестяным забором жалкие избушки. Город был полон людей, но все они в это полуденное время где-то прятались, и никому из них не было дела до Марины и ее умершего в далекой деревне отца.

Моросил дождик, пахло весной. Вдоль аллейки, ведущей к Любкиному дому, зацветали белым яблоньки. Дверь в подъезд оказалась открытой. Марина вдруг заметила, что внутри грязно и заплесано, а прямо возле порога валяется целая россыпь окурков. Ее охватили страх и брезгливость. На секунду показалось, что она вовсе не была здесь, в этом доме, только видела фильм о ком-то, похожем на нее. Это не она, а другая Марина держала на коленях цыганенка, кружками пила черный кофе, закусывая ветчиной, и сама по глупости отдала какой-то хитрой особе кровно заработанные денежки.

Дверь в квартиру открылась легко — стоило только два раза негромко постучать. Марина крепко держала за руку Анютку, намереваясь не пускать ее внутрь, но дочка, завидев в глубине коридора Максима, побежала к нему, будто к хорошему знакомому.

Сашко стоял на пороге, улыбаясь:

— Привет.

Марина ответно поздоровалась и прошла внутрь. Любки, ее матери и отчима не было. В большой комнате мельтешил телевизор, а на полу валялись мотки кабеля, большая часть которого была уже очищена.

— Работаю вот, — объяснил Сашко, усаживаясь в кресло и ловко отдирая изоляцию канцелярским ножиком.

Старуха вышла из кухни с неизменной кружкой кофе.

— Мариночка, здравствуй, — глухим голосом сказала она. — Пойдем, со мной кофейку попьем.

— Нет, Тамара Михаэлевна, спасибо, — поспешно отказалась Марина. — Я ведь по делу пришла. Люба у меня деньги занимала, уже давно... Обещала, что вернет, — и вот, не вернула... А мне они срочно нужны. Она вам ничего не говорила?

Бабка пожала плечами с равнодушным видом:

— Не говорила. Она вообще от нас многое скрывает. Вон на выходных опять к своему дружку уехала. Нехороший он человек, водкой



торгует. И семья его такая же. На нас косо смотрят, а у нас дело хорошее — металлолом. Этим еще пионеры занимались.

— Угу, — кивнула Марина, чувствуя, что в груди становится жарко и к глазам подступают слезы. — Так вы не скажете, Люба когда дома будет?

Старуха вздохнула:

— Может, в пять, а может, вовсе домой сегодня не придет, к своему любезному укатит. А много, говоришь, она тебе должна?

Почувствовав в голосе хозяйки дома нотку участия, Марина заговорила уверенней:

— Две тысячи... Понимаете, я бы и еще подождала, но у меня горе случилось — отец ночью умер. Надо ехать, а это возле Енисейска, и эта сумма — только на дорогу туда... Мама звонила, у нее на похороны денег нет, по соседям собирает. Надеется, что помогут, есть же добрые люди...

— Конечно, есть, — задумчиво сказала старуха. — Сашко, ты скоро с кабелем закончишь?

— Через полчаса, наверное, — отозвался из комнаты внук.

— Тогда слушай. Заканчивай и беги сдавать Азиму. Что принесешь, мне отдай. Тут девочке надо.

Измученная Марина порывалась что-то сказать, но под магнетическим взглядом старой цыганки осеклась, растерялась.

— А пока пойдем со мной кофе пить, — приобняла ее за плечи бабушка. — У меня лепешки свежие испечены...

Марина на всякий случай прихватила на кухню свою сумку и тут же заметила, как насмешливо глядит на нее Тамара Михаэлевна.

— Да не бойся, — засмеялась старуха. — Садись давай, садись!

Дождик за окном припустил сильнее. Форточка в кухне была открыта, и Марина хотела ее захлопнуть, чтобы не простудить Анютку.

— Оставь, — покачала головой Любина бабушка. — Пусть воздух вольный подует... Любка про тебя рассказывала.

— Что?

— Что хорошая ты, за Максимкой смотришь, всегда переоденешь его, с ребяташками ласковая. Что на работе у вас ее защищала. Я вот что тебе скажу, — старуха задумчиво погладила тонкую Маринину руку, — добрая ты, сердце у тебя золотое. Доверчивая только очень. Через это в жизни твоей уже неприятности были и еще будут. Но все-таки люди твое добро всегда вспомнят и в беде тебя не бросят. А муж твой позаглядывается на других, да и поймет, что ты лучше.

Марина растерянно поглядела на хозяйку дома:

— Это вы мне все... нагадали?

Старуха усмехнулась:

— Тут и гадать не надо, видно и так...

Сашко принес такую же оранжевую бумажку, какую рано утром выдал Серега, и торжественно вручил ее Марине, улыбаясь во весь рот. Марина не удержалась от слез.



— Ладно, ладно тебе, — вздохнула Тамара Михаэлевна. — Что делать, если Любка не отдает. Уедет сегодня вечером... Хотя как ей иначе? За любимым поедет. Ты бы вот тоже за своим поехала, правда же?

— Да я и так поехала, — согласилась Марина, вытирая слезы.

— Ну вот я и говорю... Доля такая женская... Ты кофе пей, пей.

* * *

На похоронах мать была отрешенной, задумчивой. Марине виделось в ее лице кроме грусти и какое-то просветление: ведь несколько лет матери приходилось дохаживать стариков, потом слег отец, и только теперь судьба сняла с нее тяжкое бремя непрестанной заботы о близких. Все эти годы ей помогала за небольшую плату соседка, тихая пьяница, которая теперь тоже освободилась от своих обязанностей и, стоя у могилы рядом с матерью, так же плакала, утирая слезы платком.

Оставались, правда, еще брат с сестренкой, близнецы, — оба заканчивали школу. Мать направляла их в тот же многопрофильный енисейский техникум, который окончил Маринин Серега. Сестра молчаливо соглашалась, братишка же заявил, что никакой техникум ему не нужен, потому что он станет блогером, и показывал Марине свои кое-как смонтированные видео. И брат, и сестренка, похоже, думали об одном — как вырваться из глуши, переехать в город, и не понимали, как там может быть одиноко, особенно на первых порах. Или так оно было только для Марины?

Дома Серега неожиданно извинился перед ней:

— Слушай, прости, что сказал так насчет отца, и вообще, что ворчу... Просто люди переезжают, у них быстро все срастается — жилье, машина... Работают легко, блоги какие-то делают, стримы... ногти вон. Посмотришь на других — зло берет: почему я-то пахать должен как проклятый? Хочется ведь легко жить, понимаешь?..

Марина была рада этим словам, но в то же время едва ли не впервые ощутила себя в чем-то опытней, мудрее Сергея:

— Это только кажется, что живут легко. У всех беды свои, если внимательней посмотреть.

— Так-то да, наверное. Вот и Кристинка... Первые два года мать же ей деньги слала. Потом уж она этого Рустама нашла... Нерусский, зато обеспеченный.

Марина захотела наконец рассказать мужу про Любку и ее родственников, но все-таки не стала, ограничилась упоминанием, что подружилась с одной девочкой на работе.

* * *

Через пару месяцев настало цветущее, полнокровное лето. Старый дворик панельной пятиэтажки у Качи тонул в пышных облаках тополи-



ного пуха, а в высоком небе, наоборот, облаков не было — оно дышало теплом и сияло яркой голубизной.

Из окна еще с улицы слышались музыка и смех. Марина долго думала, что можно подарить Любиной бабушке на день рождения, перебирала в уме разные варианты — от колоды карт таро до банки кофе — и в конце концов остановилась на цветастой шали с кистями.

— Как думаешь, понравится ей мой подарок или нет? — беспокойно спросила Марина у подружки еще в подъезде.

— Да не переживай! Не понравится — продаст. Пошли!

Шалью именинница, кажется, осталась довольна. Любка сказала бабушке, что они с Мариной посидят немного в маленькой комнате, а уже потом выйдут к столу. Гостей в дом нагрянуло больше десятка, все они собрались в зале, громко разговаривали, пересыпая русскую речь цыганскими словами. Большая комната была празднично убрана, стол ломился от мяса и салатов, а в коридоре валялись пакеты с вещами и просто разбросанные тряпки.

— Это я переезжаю, — с гордостью объяснила Любка. — К мужу!

Она стала показывать госте пеленки, кофточки, ползунки для будущего ребенка и вся так искрилась радостью, что и Марине стало казаться: прямо здесь и сейчас, в знойный день долгожданного лета, рождается новая прекрасная жизнь.

Музыка в зале играла быстрая, молодежная, но в тот момент, когда Марина и Люба — принаряженная, с золотыми кольцами в ушах — вышли к столу, Тамара Михаэлевна сказала:

— Поставьте-ка мою любимую, старинную.

Марина внутренне замерла, гадая, какой же может быть эта старинная песня. В уме промелькнуло несколько знакомых романсов, но с диска неожиданно послышался голос Валерия Ободзинского, проникновенно запевший «Восточную»:

Льет ли теплый дождь,
Падает ли снег,
Я в подъезде против дома
Твоего стою...

И от протяжных, нежных звуков этой песни, которую любила мама, Марину охватило томительное желание сказать что-то доброе собравшимся здесь людям, которые еще год назад показались бы ей страшными и чужими. Но что сказать — она не знала, поэтому просто обняла Любку и плавно закачалась с ней в такт задушевной мелодии.

* * *

Марина почему-то знала, что Люба родит девочку. Так и вышло: темной и ветреной сентябрьской ночью у подружки родилась дочка Катя.

Любка прислала несколько фотографий наряженной малышки по вайберу, первый месяц все время осведомлялась, как у Марины дела, а потом писать перестала, хотя раньше говорила, что, когда родит, обязательно позовет в гости. Марина не обиделась, помня, сколько хлопот было в свое время с маленькой Анюткой. Это сейчас дочка сама одевается и бегаёт, а ведь первые два года не слезала с рук. А у Любки ещё и старший ребенок.

На деньги, взятые в ипотеку на десять лет, купили однушку. Марина предлагала взять студию, чтобы быстрее рассчитаться с кредитом, но Сергей настоял на своем: пусть платит дольше, зато полноценная квартира — и наконец-то своя.

Ближе к весне он уехал на вахту, и тут о Любке пришла весточка: позвонили из микрозаймовой конторы. Марина ответила, что Любку знает, что работать она сейчас не работает, а находится в декретном отпуске и живет в Емельянове. После этого разговора Марина набрала Любкин номер. Разумеется, никто не ответил. Но через несколько дней Любка объявилась сама и стала настойчиво спрашивать, можно ли заглянуть в гости.

— Заходи, — разрешила по телефону Марина. — Только ответь, что это за долг у тебя в микрозайме? Его же надо отдавать.

— Отдавать, отдавать... — проворчала Любка. — Не всякому надо отдавать. Там мошенники сидят, они знаешь какой процент с людей берут?! Тюрьма по ним плачет. Ты скажи лучше — можно я к тебе приду завтра вечером? Как раз Восьмое марта было вчера, отметим с тобой...

— Приходи, конечно... — согласилась Марина, чувствуя, что без приключений не обойдется.

Любка переступила порог с двумя небольшими сумками, втащила за собой что-то резво лопочущего Максимку.

— Здравствуй, дорогая! Куда у тебя вещи можно поставить?

Марина положила сумки на диван. Одна из них была легкой — должно быть, с одеждой. Другую Любка, едва разувшись, открыла сама — она оказалась полной украшений и косметики.

— Что случилось-то? — со вздохом спросила Марина.

— Да чего? — Люба невинно поморгала карими глазами, опущенными густыми нарощенными ресницами. — С Восьмым марта приехали тебя поздравить. Да, сынок? Где Анечка твоя? Подарков вам привезли! Вот — хочешь спрей для волос? Помады всякие — мне не идут, бледные сильно... Крем тональный, тушь серебряная, маска для лица — белая глина... Что еще? Сережки есть розовые с золотом — красивые-е-е, тебе пойдут! Ну, и это... Можно я у тебя сегодня переночую? Надо кое-что тебе рассказать...

Вера КАЛМЫКОВА

ЧУЖАЯ ОБОЛОЧКА

* * *

Я с тобою, нет, неразлучима,
ибо от тебя неотличима.
Двое нас как будто, а по правде —
лишь один и будет найден там, где
всяк учтен, по имени опознан,
там, куда бывает каждый позван.

Знать и звать — мы будем там едины,
оба не с краев — из середины.

Но пока мы здесь, тебя довольно,
чтоб и я по линии продольной
складочкою каждою на теле,
неизменна, словно дни недели,
двигалась, дыша и замирая,
лишь благодаря тебе живая.

* * *

Павлу Лиону

Ну что за дела: за вопросом вопрос,
и столько волнений и нервов в придачу.
Беру твою боль, но теряюсь всерьез.
Давай собирайся, поедем на дачу.

Ты знаешь: там в каждом окне чудеса.
Хотя то же самое, только иначе,
поскольку деревья, река и леса
своим бытием облегчают задачу.

Смотри: и Америки обе не врозь,
и Таня с мячом, и нисколько не плачет,
и Африка, как виноградная гроздь,
и толстенький дятел с расцветкой кошачьей.

Нам верен тропиночки каждый изгиб,
и ели готовы принять новогодье.
И мы, пусть сегодня не видно ни зги,
владельцы бескрайних небесных угодий...

Екатерина у гроба Елизаветы (Картина Николая Ге)

И радость во взгляде — глаза хоть прикрой,
и черного платья изыскан покрой,
и гордо стоишь в световой полосе,
и знаешь, что скоро изменятся все,
и красная лента лежит через грудь,
и красный огонь тебе путь.

* * *

Не отнять моей памяти, не изменить.
Согреваю в руках эту тонкую нить,
натяженье ее проверяю ладонью,
про себя в сотый раз однозвучно долдоня:

не слабеть, не сдаваться, держаться, держать,
никому не отдать, не позволить порвать,
реставрируя душу и плоть унижая,
без конца повторять: оболочка — чужая.

Это значит: расходуи ее, не жалеи,
все равно не вернуть первозданным трофей,
так и так она, молью потрачена, что ли,
провисит, ожидая и требуя боли.

И запомни, что жестоковыйный субъект,
чей невнятен прононс, диковат диалект,
для тебя — перл созданья и выпел творенья,
обретет в одиночку свободу паренья.

В свой последний полет он уйдет без тебя,
ничего не прося, о тебе не скорбя,
что скорбеть — бесконечно открыта арена,
над которой летят избежавшие тлена.

Чтоб летелось свободней, я нынче люблю,
каждый выгиб на нити невидной ловлю,
проверяя, горит ли сцепление на коже,
повторяя беспомощно: «Божьи мы, Божьи...»

Сергей БАРАНОВ

МАСКИ

Р а с с к а з

Близился Хеллоуин. Из-за этого настроение у меня упало. Я погрузился в невеселые мысли.

В нашей школе в честь этого праздника, а заодно и конца первой четверти, устраивали костюмированную вечеринку с показом страшных сценок, чтением стишков и пением соответствующих песен, с тыквами и свечами, расставленными повсюду.

Школьники наши — народ чванливый и высокомерный, а родители и вовсе замороченные. Раз предстоит костюмированное мероприятие, значит, их ребенок должен быть одет лучше всех. Раз необходимо страшить, значит, их дитя будет в самом страшном костюме. Раз предложено пугать, их чадо нацепит самую ужасающую — и наверняка самую дорогую — маску из доступных.

Не так обстояли дела в моей семье. Старший брат учился в университете и был там самым крутым парнем, мотоциклистом. Правда, отец утверждал, что он прожигает все семейные деньги. В любом случае жили мы небогато, совсем небогато, и о том, чтобы купить мне классный костюм или крутую маску на такой глупый праздник, как Хеллоуин, не могло быть и речи. Так что в прошлом году в этот день я пошел в школу с прорезанной старой простыней, намереваясь натянуть ее на себя и изображать привидение. Надо ли говорить, что парни из моего класса, одетые в натуральные костюмы жутких клоунов, Терминаторов и Фредди Крюгеров со всеми аксессуарами: когтями, очками и пистолетами, — высмеяли мое облачение еще в раздевалке и я предпочел притвориться, что пошутил, а настоящий костюм забыл дома.

Такая же история, казалось, ожидала меня и в этом году, ведь прямо просить о столь нелепой покупке я бы ни за что не решился. Да только отец каким-то образом проведал о моих переживаниях. Он пару дней строил хитрую мину и подмигивал мне, как будто нашел решение.

Был у нас сосед, полковник в отставке, Леонид Иванович, или дядя Леня, как я его называл. Отец с ним контактил по своим гаражным делам. В нашем дворе есть подземные гаражи. Возле них дворовые автолюбители часто собираются, обсуждают своих ласточек, ремонт, запчасти, играют в шашки или нарды, иногда выпивают.

Отец, видно, очень близко к сердцу принял мою проблему, потому что даже поделился ею с полковником, незаинтересованным вроде бы человеком. Но оказалось, что у полковника есть знакомый, который как раз занимается изготовлением масок. Дядя Леня решил лично сопроводить нас с отцом к этому мастеру и напросился к нему в гости. Что ж, я обрадовался — ведь если человек занимается изготовлением масок, то наверняка у него найдется что-нибудь страшное: не Фредди Крюгер, так хотя бы какой-нибудь старомодный тролль.

И вот за день до мероприятия, после школы, мы с отцом вышли во двор. Там нас ждал полковник. Я поздоровался. Он спросил, как у меня дела, учеба, в который раз сообщил, что уже скоро мне в армию (что неизменно вызывало у меня раздражение, как если бы мне напомнили о необходимости заправить кровать или сделать домашнее задание).

— Пап, на автобусе поедем? — спросил я.

— Зачем? — удивился он и лукаво посмотрел на дядю Леню. — В конце концов, нас полковник пригласил! А у него казенное авто, да еще и личный водитель! Не полковник — генерал! Это тебе не хухры-мухры!

Отец любит поюморить. Но полковник вроде был даже польщен. А вскоре во двор заехала черная, намытая до блеска «Волга» с черными же номерами и звездами на них! Оказалось, папа не шутил.

«Волга» аккуратно притормозила возле нас, и из нее выскочил парень возраста моего брата. Я проследил за его испуганным взглядом — он мгновенно приковался к Леониду Ивановичу. Тот, в свою очередь, недовольно глядел на наручные командирские часы. Наверное, не просто командирские, а полковничьи.

Парнишка подбежал, вытянулся, задрал кверху подбородок и лихо отдал честь.

— Здравия желаю, товарищ полковник! — заорал он.

— Опаздываешь, — проворчал дядя Леня.

— Виноват, товарищ полковник! Задержался на заправке. Очередь, — доложил водитель.

— Заправился?

— Так точно, товарищ полковник! Полный бак.

— Добро. Едем, — сказал дядя Леня. Он тоже весь как-то выпрямился, втянул пузо и говорил коротко и сурово.

— На ВАЗ, товарищ полковник? — уточнил парнишка.

Леонид Иванович кивнул, и мы поехали.

Уже темнело, через полчаса езды я потерял ориентиры и перестал понимать, где мы находимся. Казалось, в какой-то деревне, потому что улочки были узкие, неосвещенные, машины вокруг не ездили, не попада-



лось высоких или массивных зданий. Отец, полковник и водитель долго спорили, уточняли адрес, проверяли названия улиц, каждый указывал в свою сторону, пока наконец мы не остановились и не вышли размяться.

— Не глуши мотор и не гаси фары, Рамиль. Будем ориентироваться на местности. Это, кажись, семидесятый дом? А нам нужен семьдесят шестой. Стало быть, прямо, через два дома, — рассуждал полковник.

— Куда прямо? Туда или туда? — спросил отец и указал на две разные дороги, отходившие от перекрестка.

— Указатель говорит... туда! Стало быть, по этой улице прямо.

— Пошли! — согласился отец.

Машина наша смотрела глазами фар в противоположную сторону.

— Развернись и езжай за нами, — приказал полковник Рамилю. — А то не видно ни... черта! — закончил он и хлопнул меня по спине.

Заборы были сплошь перекошенные, корявые и состояли из досок, проволоки, разных труб и кусков металла, между которыми сквозили изрядные щели. Цельных заборов не было вообще. Так что наше продвижение в темноте немного упрощал горевший в некоторых домиках свет. Вскоре и наша «Волга» развернулась и осветила нам путь, так что я даже смог осмотреться. Одноэтажные домики стояли с обеих сторон узкой гравийной дороги, на которой тем не менее могли бы разехаться два автомобиля, хоть и впритирку. По бокам дороги торчали фонарные столбы, но в фонарях, похоже, не было ламп. Домики то жались стенами прямо к дороге и заборам, то отступали в глубину участков.

Полковник оказался прав. Через несколько домов он узнал нужный.

— Вот. Семьдесят шестой! — заявил он.

— Где ты видишь номер? — спросил отец.

— А я не вижу. Я дом узнал. Вон калитка дырявая. Вон дырка в заборе. А вон собачья будка без собаки, — показывал дядя Леня.

— Ничего себе координаты! И как мы сразу не заметили? А то всю дорогу: «Семьдесят шестой, семьдесят шестой...» Оказывается, будку надо было искать, а не номер, — пошутил отец.

— Серега, выходи! Милиция! Серега! Гостей принимай! — заорал полковник, одновременно жестами приказывая Рамилю припарковаться и ждать, а нас с отцом приглашая за собой.

Он по-хозяйски, ногой, открыл калитку и прошел внутрь.

— Точно собаки нет? — уточнил отец, а я вдруг испугался. Ну то есть насторожился.

— Не бойсь! Была бы собака, давно бы нос этот, картошку, откусила. — Дядя Леня дернул меня за нос.

Я хмыкнул. Вроде полегчало оттого, что собаки нет, но испуг не прошел, потому что я живо представил, как бешеная немецкая овчарка откусывает своей огромной пастью мой маленький нос и пол-лица в придачу.

Перед домиком умирал под собственной тяжестью какой-то навес, то ли для машины, которой не было, то ли для мусора, который лежал

под ним в изобилии. Дальше на честном слове держался высокий, почти по крышу дома, сарай, или гараж, или склад — понять было трудно. Он был зажат между балками — держателями навеса и стеной дома, иначе бы точно рухнул, судя по усталому скрипу досок и петель.

Ну типичная деревня, подумал я, только вони от коровьих лепешек не хватает. Хотя нет, вот и она! Мы прошли еще немного по бетонной от-мостке вокруг дома, так как на его фасаде двери не было. Чуть дальше-то и завоняло. Я огляделся и увидел уличный туалет с покосившейся дверью, которая вряд ли могла закрываться полностью. Мы повернули за угол дома вслед за уверенно шедшим полковником — и сразу наткнулись на крылечко.

— Серега! Открывай, подлый трус! — орал дядя Леня, но сам при этом спокойно, неторопливо вытер ноги о тряпку на полу и взглядом велел нам сделать то же самое.

Потом он дернул входную дверь, но та не поддалась, хоть и тяжело хрустнула. Полковник пожал плечами и стал колотить в нее кулаком, потом добавил к этим сигналам топанье своего ботинка по деревянному крыльцу. Оказалось, он настукивал таким образом какой-то марш: бум-бум-бубубу-бум-бум! Он подмигнул мне и указал пальцем на мои ноги. Я с удовольствием присоединился и затопал, хоть и не знал мелодии.

Из-за двери послышался скрип половых досок. Это Серега наконец услышал нас. Дверь резко открылась и оттолкнула дядю Леню к перилам. Они оказались на удивление прочными и выдержали вес полковничьего тела.

Серега оказался дедом лет на десять-двадцать старше отца и полковника. Во всяком случае, мне так показалось. Лицо его было исчерчено морщинами, только огромный нос, торчавший, как одинокая скала среди покрытой трещинами равнины, был гладок и даже блестел. Серые глаза, почти прозрачные, говорили о том, что Серега недавно хряпнул водки: я видел такие глаза у отца, когда тот бывал пьян. Зубов у Сереги не хватало, губы были втянуты. Худой такой Кощей.

— Ну не долби, не долби! Слышу! — набросился он на полковника.

— Слышит он! Вон как дорогих гостей встречаешь, аж у самого порога! Хорошо еще, калитку открытой оставил! — возмутился в ответ Леонид Иванович.

— А чё? Открытая была? Ой-ёй! — Серега схватился за голову.

Я опять не понял, шутят они с дядей Леной или всерьез возмущаются.

Серега наконец-то подвинулся и с клоунским поклоном пригласил нас войти. Мы разулись в прихожей и зашли. В доме было тепло, в нос ударил запах древесины. Не знаю, как я это понял, ведь раньше я особо к деревьям не принимался. Но запах был приятный, даже уютный. Домик, снаружи кирпичный или бетонный, уж не знаю, внутри оказался деревянным. Пол и часть стен прикрывали коврики, везде висели фотографии. Бросались в глаза плакаты — то ли вырезанные, то ли вырванные из

журналов — с голыми женщинами. К моему стыду, полковник заметил, что я с открытым ртом залюбовался на одну такую картину.

— Ай да девка, а, Тимка? Как тут не засмотреться? — спросил он.

Встал рядом, приобнял меня и залюбовался тоже.

Я, конечно, раскраснелся и отвел взгляд, пытаюсь изобразить безразличие. Хотелось даже возмутиться, как это он посмел обо мне такое подумать, но он меня опередил, повернувшись к Сереге:

— Ай, срамота какая! А еще работник искусства! Творческий человек! Ай-яй-яй, стыдобища!

— Да ну! — Серега махнул на него рукой. — Проходите лучше в кухню. Вот сюда.

Он буквально толкал полковника в сторону кухни, мы с отцом последовали за ними.

Маленькая кухонька пахла уже не так уютно. В углах виднелась грязь, в щелях между половыми досками копошились тараканы, в раковине горой возвышалась немытая посуда, возле мусорного ведра, тоже полного, стояли пустые бутылки. На одной стене на гвозде висел календарь, тоже с теткой, но в купальнике.

Стол, однако, был накрыт как полагается. Посередине клином выпирала бутылка с мутной жидкостью, а вокруг нее разместились закуски — гостеприимно вскрытые консервы со шпротами, тефтелями в томате, моей любимой килькой. В железной миске, напоминавшей собачью, по-женски аккуратно, любовно были внахлест разложены тонко порезанные кусочки сала, колбасы, колбасного сыра, а сверху закрывали этот разноцветный веер ломтики черного хлебushка. На единственной на столе человеческой тарелке лежали помидорчики, огурчики, полукольца лука. Все это вызвало бы во мне аппетит, если бы не унылая обстановка вокруг стола. К тараканам я был привычен, но у нас дома они разбегались под мебель, стоило только включить свет, а здешние, наглые, жирные и большие, не боялись ничего. Вся кухня казалась засаленной, покрытой пленкой не то грязи, не то воска. Последнее, кстати, оказалось недалеко от истины, так как позже я обнаружил, что Серега делает и восковые фигурки.

— Вот это хорошо, вот это по-нашему! — хвалил полковник своего приятеля и потирал живот. — Так-с. Давайте-ка знакомиться!

— Вот-вот! — ответил Серега и взялся за бутылку. Он налил жидкость в три разных емкости: в железную кружку, в чайную пиалу и в столовский граненый стакан. — Стало быть, и выпьем за знакомство, а?

— Это Алексей Саныч, мой старинный товарищ и сосед. А бойца зовут Тимка. Познакомьтесь. Это Сергей Валентинович. Непризнанный да Винчи, маргинал и вообще мастер на все руки. Прошу!

Мы с отцом пожали Сереге руку.

— Н-да... Э-э-э... Так. Наверное, чаю, а? — обратился Серега ко мне.

— Нет, спасибо, — ответил я для приличия.

— Чё-то я не подумал. У меня и сока-то никакого нет. Был вчера «Буратино», да вылакал я.

— Ничего-ничего. Не страшно. Попозже, может, чаю попросим. А пока так посидит. Да? — сказал отец, и я закивал.

Познакомились, выпили, сели.

Сергея весь извелся. Нашел в куче кухонного хлама чайник, вылил из него содержимое, промыл под ржавой струей над раковиной, выбежал с ним в ванную, вернулся, залил этой рыжей воды, долго шоркал спичками, прежде чем зажег плиту. На ходу бормотал извинения, так что мне стало совсем неловко, что из-за меня и чая, которого я совсем не хотел, он так мается. Но все же я был ему благодарен, и своей заботой он развеял первое неприятное впечатление о себе. Когда он снова сел за стол, то посмотрел на меня с умилением и улыбнулся. При этом губы его посередине рта не отделились друг от друга, а по бокам оголили беззубые десны.

Я пытался понять, отчего его глаза мне кажутся добрыми. Наверное, из-за сеточки морщин, лучащихся из их уголков. Такой страшный, беззубый, а вид все равно добродушный, безобидный.

Началось застолье. Мутная жидкость развязала языки. Меня заставили отведать каждой закуски. Отец рассказал о нашей проблеме, Сергей Валентинович кивал, дядя Лёня травил анекдоты. Потом Сергей Валентинович жаловался на кого-то и на что-то, отец кивал, полковник посмеивался и вставлял колкие, обидные замечания. Потом обнимались, из ниоткуда появился баян, на котором Сергей Валентинович лихо играл, а отец с полковником пели песни. Потом баян перекочевал на колени к дяде Лёне и отец с Сергеем Валентиновичем подвывали что-то грустное.

Я трижды бегал в туалет. Успел исследовать коридор дома, потому что больше нечего было исследовать, кроме ванной, совмещенной с туалетом, и комнаты, дверь в которую была плотно закрыта, так что я не решился туда войти, даже когда на кухне мычали и братались, забыв обо мне. Зато всласть рассмотрел плакаты с голыми женщинами, тихо-тихо закрыв за собой двери туалета, чтобы не услышали, что я уже вышел, и думали, что я еще там.

Из разговоров я понял, что Сергей Валентинович — художник, скульптор и вообще «талантище», как полушутя называл его полковник. Сам «талантище» только отмахивался и отрицательно цокал, хотя интересно рассуждал о разных техниках лепки, красках и других вещах, о которых я раньше ничего не слышал.

Мутная жидкость медленно, но верно исчезала в глотках мужиков. Отец сидел красный, довольный, полковник отрывивал и безостановочно закусывал. Наступило молчание, каждый думал о своем. Тут Сергей Валентинович поднялся из-за стола, предварительно наполнив стаканы отца и полковника до краев и опустошив бутылку. Затем похлопал сидевшего рядом отца по плечу, как бы спрашивая разрешения.



— Ладно, мужики. Вы тут посидите, а мы с парнишкой пойдем посмотрим. — Он указал мне в сторону закрытой комнаты. — Пойдем, там моя студия.

Мне стало страшновато, и я взглянул на отца. Тот сидел с закрытыми глазами. Что это за таинственная студия, думал я, что дверь в нее закрыта и никого, кроме меня, туда не пригласили? Жутковато! Отец напился и не видит моего смущения. Полковник, кажется, не жрал пять дней и вообще ничего не видит и не слышит, а только запихивает в рот кусок за куском...

Я с опаской глянул на Сергея Валентиновича. Он был серьезен, смотрел на меня добродушно, не торопил.

Я пошел с хозяином дома в студию. По пути выдумывал, как можно будет сбежать, если вдруг на меня нападут. На самого Сергея Валентиновича я не думал, меня пугала скорее студия и то, что там могло быть. Разыгралось воображение: все-таки мы сидели в этом доме уже часа три, была ночь и надо бы уже возвращаться домой... Я даже подумал о том, что можно выскочить из кухонного окна и побежать к Рамилю в машину, ведь он нас ждал и не пил мутную жидкость, непохожую на обычную прозрачную водку. А может, не ждал?

Дверь была закрыта плотно благодаря тряпке, обмотанной вокруг ручек с двух сторон. Сергей Валентинович неожиданно шоркнул спичками так, что я аж отскочил от него. В комнате было темно, поэтому он вряд ли увидел, что я сжался, как кошка перед нападением. Спокойно и плавно, без лишних движений он поднес спичку к керосиновой лампе и зажег ее. Комната частично осветилась, а он прошел вглубь и зажег еще одну лампу, потом третью — в другом углу.

Со стены смотрели страшные лица. На нас с Сергеем Валентиновичем, на пол и на полоток легли тени. Комната была захламлена до отказа. Прямо на меня глядела жуткая рожа и ухмылялась мне в лицо. Жирные складки щек и подбородка, казалось, тряслись, рот был искривлен в приступе жуткого смеха. Я ее узнал. Это был Ельцин.

В рядах на полках были еще лица, поменьше огромного ельцинского, но я среди них никого не признавал.

— Часть проводки погорела, ядреный корень! — сказал Сергей Валентинович. Я вздрогнул. — Света нет. Так что придется так посмотреть.

— Х-х-хорошо, — только и мог ответить я.

Жуткая комната.

— Хорошо, керосинки есть. Все сюда притащил... Что? А, это называется шарж. Восковая работа. Похож? — Он увидел, что я засмотрелся на маску Ельцина.

Я кивнул, хотя был не согласен. Нет, совсем не похож. Разве у Ельцина такая огромная рожа? Разве он так ржет — неестественно, жутко и... вечно? Нет, непохож. Хотя как-то ведь я догадался, кто это...

Я молчал, а старик продолжал с азартом:

— Работать совсем невозможно при таком свете. А воск сушить надо, условия нужны... А! Вот посмотри!

Он повернул меня в другую сторону и сдернул какое-то покрывало с кучи, как я раньше думал, хлама. Из-под одеяла вынырнули раскрашенные фигурки гномов, людей, животных, домики — целая деревенька из мультфильма. Я захлопал глазами, настолько не вязалась представшая передо мной сказочная картина с этой тусклой комнатой, с этим грязным ветхим домом. Я вопросительно посмотрел на художника.

— Хочешь потрогать? Давай. Только осторожно. Здесь и восковые фигурки, и фанерные. Кое-что из пенопласта, из дерева. Вот, мастерю, стругаю. Конечно, структуру можно и поменять, гхм... — Говоря это, он стал переставлять фигурки, что-то поправлять.

Одни фигурки были мне по колено, другие — по пояс. Домики, мельница, колодец с навесом были уменьшенных размеров, поэтому все выглядело мультяшно, по-детски мило. Я не мог поверить, что этот пьяный некрасивый старик, живущий в такой вонючей халупе, может создать что-то подобное, не мог представить, как он, чуть высунув язык, лепит, красит, расставляет такую сказочную детскую композицию... Но все же в конце концов представил.

Я снова повернулся и посмотрел на стену с полками. Страшные, перекошенные лица стариков. Нечеловеческие и оттого еще более пакостные, они смеялись надо мной. А в другом углу комнаты — деревенька гномов...

— Вижу, шаржевые работы тебе больше понравились? Ну а как же! Ты ведь приехал за маской. Хелавин, говоришь? Это как карнавал, что ли? Костюмированный бал?

— Да-да! Вроде костюмированного бала. Только... э-э-э... ну без танцев...

— Не слышал...

— Ну это как бы День Всех Святых. Все наряжаются во всяких монстров, троллей, мумий. И просят конфеты. А, еще тыквы! На тыквах вырезают жуткие рожи, а внутрь вставляют свечку, чтобы было страшно. — Я оглянулся вокруг и хотел добавить «как здесь», но сдержался.

— Н-да! Вот те на! Никогда не слышал. Я-то вообще не делаю маски как таковые, понимаешь? Ну вот эти — они выставочные, скорее скульптуры, а не маски. Есть у меня, правда, обычные, с человеческое лицо... Вот надо их откопать и попробовать присобачить резинки — ну чтобы на лице держалась, — и вот тебе готовая маска! Но они жуткие... Хм-м... Насколько жуткие — сам суди.

Я несколько расслабился. Старик больше не казался мне страшным. Станный этот Сергей Валентинович! Он копошился в каком-то сундуке, отодвинул штору и шарил на подоконнике. Напротив полок с масками был еще один шкаф, прикрытый ширмой, он полез и туда. Я разглядывал фигурки, храбро отвечал взглядом пялящимся с полок маскам.

В углу стоял светильник с меня высотой, под сетчатым абажуром. Света не было, поэтому я не сразу обратил на него внимание. Но он ока-

зался необычным, явно не магазинным. Я пригляделся и снова увидел морду. Может, мне и показалось. Дома, сидя на унитазе, я часто разглядывал причудливые узоры на гранитных плитах пола. Там мне мерещились и лица, и фигурки, и машинки — да все что угодно. Или вот настенные ковры! На них тоже были всякие орнаменты, которые в моих фантазиях могли сделаться и единорогами, и козлами, и женщинами в пышных платьях. Вот и здесь мне вспомнились эти игры воображения. Я взгляделся в ножку странного светильника. Оказалось, их у него несколько, с разветвлениями, с отростками — целое дерево. А под абажуром, на склоненной шее, действительно было лицо. С большим торчащим носом и множеством морщин. Структура дерева, его естественный рисунок, канавки от ножа, рисовавшего на нем, — все напоминало морщинистую кожу старика.

— Ну, оценил? И это я выстругал. Абажур, правда, так, дилетантский. Я шить не умею, вот и обернул тряпкой, — прокомментировал Сергей Валентинович.

Он выглядел не то чтобы трезвым, даже наоборот — чересчур возбужденным, взволнованным, но по-доброму. Движения его были резкими, но уверенными, как у хирурга, а сам он напоминал гномьего дедушку-часовщика, который может вырезать из любой деревяшки волшебный амулет.

— Это... Это вы? — не сразу решился я спросить.

— А? Кто? — не понял он. Я указал на лицо, вырезанное в дереве. — А! Ты смотри! И правда, похож, а? Хорошую корягу нашел. С ней практически работы-то не было. Смотри, какие ветки, как торчат! Ну точно как у стариков радикулитных. Разгладил, постругал, смазочкой покрыл, посушил — и готово! Хорош? Так не просто фигура! Этого-то добра у меня тут навалом. Да только на хрен они кому сдались, эти фигуры-то. Выставки, музеи? Никому это не нужно! Всем бабки, бабки подавай. Ну и хрен с ними! А это не просто фигурка. Я в нее проводок-то вдел, чашечку прицепил, лампочку вкрутил — и вот вам! Торшер! Искусство! И в быту полезно, а? А когда свет включается, так совсем как этот твой... День святых. Тени от этих веток, от коряги пляшут пауками! Ну, парень, даешь пять тыщ за такую вещь?

Мои веки быстро заморгали. Светильник, конечно, классный. Еще бы! Старик в дереве. Я бы такой поставил в комнату. Или в коридор, чтобы гости пугались. Но пять тысяч? Ой-ей! Много. Я столько и не видал никогда...

Сергей Валентинович со смехом прервал мои расчеты:

— Ладно! Тебе-то зачем торшер? Вот женишься, тогда, может, и пригодится. Да и то — на дачу. Сейчас в квартирах такое не держат. Дерево не в моде, видите ли!

— Красивый! — только и промолвил я. Но с уважением к Сергею Валентиновичу, с восхищением от его работы. Я все больше удивлялся этому старику.

— А то! Ишь! — Он попытался сделать гордый вид, но у него не получилось. Он явно умилился и, мне показалось, смахнул слезу. — Пойдем сюда вот. Нашел я парочку масок. Примерим. Вот.

Он подвел меня к шкафу за ширмой. Кроме шкафа там, между занавеской и стеной, оказался маленький столик с настольной лампой и табуретка. На стене висел большой кусок кожи, на котором были закреплены рабочие инструменты: шила, ножики, ножницы, иглы, пилки, резак и еще много всякого, впервые мною виденного. Выглядело солидно.

Сергей Валентинович достал из шкафа и разложил на столике несколько масок.

— Эти не восковые. Есть пластиковые — это я так, баловался. — Он указал на белую маску, на ощупь напоминавшую теннисный шарик. На ней были вырезаны круглые отверстия для глаз, носа и рта. — А вот эта резиновая — как раз то, что тебе надо! Страшная, а?

Да, эта маска была страшная! Баба-яга. Серое лицо, вокруг губ даже не покрашено красным, а разбрызгано, как кровь. На вытянутом носу мерзкая бородавка. Густые белые брови. Это была классная маска — не только лицо, но и скальп с грязными седыми волосами! Как будто с настоящей Бабы-яги сняли кожу. Мне стало жутко. Вот уж точно, если надеть такую маску, все в школе обгадятся от страха! Я разглядывал ее с омерзением, что было лучшим комплиментом.

— Посмотри, потрогай. Хочешь, примерь. Большевата тебе, конечно, но ничего. Сзади сделаем отверстия да шнурки организуем — подтянешь.

Я прижал маску к лицу и почувствовал ее силу. Она пахла резиной и прилегалась плотно, как новая кожа. У меня мгновенно выступил пот. Я потрогал волосы, они оказались как настоящие. А может, они и были настоящие? Жуть какая! Как на дорогих куклах. Нос вошел в карман носа маски, но отверстие для рта оказалось ниже, чем надо: она действительно была мне великовата. Все равно обалденная, крутейшая маска!

Одно плохо. Это ведь чертова Баба-яга, а я пацан. Как я надену женскую маску, даже если она будет самая страшная в школе, в чем я, в принципе, уже не сомневался?

Постучав в незапертую дверь, в мастерскую зашел отец. Он раскрыл рот и удивленно озирался, разглядывая чудеса этой комнаты. Мы с Сергеем Валентиновичем гневно обернулись на него, будто он оборвал волшебство, происходившее здесь. Отец только цокнул языком.

— Оцени, Алексей Саньч. Страшная маска, а? — Сергей Валентинович подозвал отца.

— Ух ты ж, ё же ж! — Может, отец и шутил, как обычно, но больше вымолвить ничего не смог, посмотрев на Бабу-ягу.

— Ну? — Сергей Валентинович обратился ко мне, как к эксперту.

— Страшнющая! — охотно подтвердил я.

— Вот и ладушки! Ну, с обновкой, стало быть. Пошли, Алексей Саньч. Надо обмыть. Как там товарищ полковник?

— Жив-здоров. Спит, — ответил отец.

— Вот это я хозяин, а! Гость, да еще и полковник, — мастер указал пальцем в потолок, — спит за столом! Непоря-а-адок. Айда!

Удивительно, но глаза Сергея Валентиновича снова стали прозрачными, он осунулся, и его лицо как-то поблекло. До этого, показывая мне свои изделия, мастер раскраснелся, глаза его горели, он постоянно улыбался и что-то бормотал. Вокруг него там, в мастерской, как будто творилась магия, а он был центром, источником ее излучений.

Теперь же он мгновенно обратился в старого пьяницу, который недавно открывал нам дверь, а потом сидел за столом. Он сунул мне в руки маску и торопливо стал выпроваживать нас из мастерской, на ходу гася лампы. Когда мы вышли, он плотно прикрыл дверь.

Я уже не решился высказать свои сомнения по поводу пола маски. Лучше начать сразу привыкать к мысли, что маска самая страшная — и значит, самая лучшая. Ну в крайнем случае можно будет разведать обстановку, показать дружбанам для начала. Если они одобрят, не расхохотутся, то надену — и вперед, всех пугать и удивлять, а если нет, то можно будет применить мой изначальный запасной план — сказать всем, что забыл маску и костюм дома, и все тут!

Полковник оперся о стену, скрестил на груди руки и похрапывал. На столе были только грязные тарелки и вилки, пустые консервные банки, кружка, пиала, стакан и порожняя бутылка. Ни капли жидкости, ни крошки съестного.

— Уф-уф! Непорядок! — сказал мастер и куда-то заторопился. — Сейчас я, сейчас! Вы присаживайтесь.

— Валентиныч, ты это... Мы, наверное, это... Поедем, — сказал отец неуверенно.

— Куда? — удивился Сергей Валентинович. — Ты погоди, погоди! Я сейчас.

Он убежал в коридор и стал там чем-то шуметь. Отец устало присел.

— Ну что, нравится маска? — спросил он меня.

— Угу, — кивнул я недовольно.

— Ну, значит, берем.

— Угу.

Сергей Валентинович вернулся с новой полной мутной жидкости бутылкой и водрузил ее на стол. В это мгновение я его возненавидел. Мне совсем не улыбалось просидеть тут еще три-четыре часа. Отец покорно и отчаянно вздохнул, как перед решающим сражением. Я стоял обиженный, надув щеки, со сдвинутыми бровями.

— Валентиныч, это... Сколько с нас? — спросил отец как-то неуверенно.

— Так, э-э-э... — протянул старик. — Слушай, давай-ка сначала выпьем. Я же не на продажу делал... А ты — сколько, сколько!

— Ну давай, — ответил отец, и они влили в себя жидкость, далеко запрокинув головы. — Лаборатория у тебя, конечно, знатная. Столько

поделок. Настоящий скульптор! Скажи, если не на продажу, то зачем ты маски-то делаешь? Нет, ну фигурки там, резьба — оно понятно. А маски?

— Эй-х!.. — Сергей Валентинович, видимо, потерял интерес к разговору и разочарованно отмахнулся от отцовских слов. К моему ужасу, он стал наливать снова.

— Нет-нет, хорош, Валентиныч! Нам же завтра в школу. Ты говори, сколько с нас? — сказал отец, и я страшно обрадовался. Очень хотелось домой, вдруг страшно потянуло спать, я устал и ненавидел этот грязный дом.

— Да что ты заладил, сколько да сколько! Давай, по маленькой! — ответил старик.

Отец кинул на меня быстрый взгляд и сразу опустил его. Потом поднял свой стакан и чокнулся со стариком. Я кипел от гнева, но не посмел встрять в разговор взрослых и уж тем более — открыто высказать все, что я стал с недавнего момента думать о мастере. Был, конечно, и такой выход, чтобы никого не оскорбить. Можно было занить, что устал, что заболела башка, или вообще завалиться спать, как полковник. Думаю, отец бы просек намек, но беда в том, что Сергей Валентинович, видимо, твердо решил выпить всю вторую бутылку, а в ней было литра три!

Они с отцом выпили еще и с нежностью посмотрели на икнувшего во сне полковника.

— Все! Спасибо тебе, Валентиныч, за гостеприимство, но мне уже достаточно! — оправдывался отец, но на этот раз хотя бы встал из-за стола, показывая свою решимость. Правда, тут же покачнулся, схватился за стол и был вынужден снова присесть.

— Оставались бы, куда вы так поедете? Вон сейчас полковнику постелю, там и вам местечко найдется! — дружелюбно, уже как-то просительно говорил Сергей Валентинович.

Тут я действительно испугался. Остаться на ночь в этом убогом домишке, да еще и с этой неисчерпаемой бутылкой, от которой, видно, ни отца, ни старика не оттащить... Даже могучий полковник уснул, не отойдя далеко от стола.

— Нет-нет. Завтра в школу, вещи собирать надо, переодеться, жена дома... — слабо, очень тихим, дрожащим голосом оправдывался отец.

О, это малодушие! Говорил он правильно, но как мягко, как заискивающе!

Сергей Валентинович грустно оглядел стол. Закусывать было уже нечем, и он это, как хозяин, понял. Полковник мирно похрапывал, но было очевидно, что спать на табуретке неудобно. Отец подпер голову ладонью и пьяно, радостно улыбался мне. Ему, наверное, казалось, что у него добрая улыбка, безобидный взгляд, что он просто спокойно покачивает головой. Но я умел инстинктивно, интуитивно чувствовать, когда он нетрезв, даже если он выпил совсем немного. Все черты, повадки, движения — все то же самое, вроде бы даже милое, этакий толстенький добряк. Но все же его словно подменяли: лицо казалось фальшивой

маской, сдвинешь ее — и покажется настоящее, злое, без глаз и с пустым ртом...

И этот чертов мастер — как змей-искуситель! Все пьяны, еды нет, все хотят спать, а где же лучше всего спится, как не дома? Ну чего он уговаривает? Ну сидел бы да пил свою жидкость сам! Я уже не верил, что замечательные фигурки, страшные и не очень маски, восковые лица, резные деревянные изделия могут быть его работой. Разве способен противный пьяный старик с трясущимися руками и мычащей речью делать такие классные штуки?!

Получалась чертовщина. Не он — тогда кто? Может, он держит в подвале худого, изможденного пленника-скульптора, а сам пожинает плоды его гения? Ну как пожинает... Не дай бог никому такие скудные плоды, как этот сутулый домишко с тараканами и натужными скрипами от любого движения... Разыгралась фантазия. Я действительно страшно устал, был напуган и, в конце концов, голоден! Килькой не наешься, тем более что мне досталась только пара ложек в расчете на то, что я буду есть и что-то другое, а большая часть единственно съедобных для меня консервов исчезла во рту полковника.

Да, мой дорогой полковник! Закашлялся, задвигался, проснулся! Теперь от него зависело все: сидеть ли нам в этой конуре до опустошения проклятой бутылки или выйти на улицу, найти водителя Рамиля и отправиться домой.

— Кхе-кхе! — яростно прокашлялся дядя Леня. Потом резко потряс головой, как намокшая собака, и тут же взялся за вилку.

Он критично оглядел стол и нахмурился, когда увидел, что из перевариваемого на нем только мутная жидкость в бутылки. Отец все пялился на меня не своими, глупыми глазами. Хотя, может, он уже с открытыми глазами спал, настолько умиротворенным казалось его расплющенное ладонью лицо. Сергей Валентинович был в каком-то трансе и смотрел в стену, открыв рот и сжав в руке стакан.

— Так-с... Подъем! Подъем!

Отец, мастер и я очухались. Все устали на полковника. Отец, как прежде, смотрел так, будто постиг истину или побывал в раю, старик — просительно, выпятив вперед подбородок, а я — с надеждой.

— Подобрали маску-то? Ну и ладушки. Чего сидим, кого ждем? Сколько времени? Ого-го! Всё, по коням, товарищи. Поехали! — говорил полковник отрывисто, в приказном тоне.

Я моментально подчинился, стараясь подать пример отцу, засобиравшись, хотя собирать было нечего. Я просто вскочил и, прижимая к себе маску, осуждающе смотрел на лениво двигавшихся отца и мастера.

— Ну, стало быть, поедете, — грустно констатировал Сергей Валентинович.

— Давай-давай, Серега! Не тяни кота. Вот спасибо, накормил, напоил! И дело сделали, а? Тимка, поддержи отца, на улице темно, как в

склепе. Ух, Серега, ремонт бы тебе надо сделать! — распоряжался дядя Ленья, и я его за это любил, как родного.

Полковник оказался совсем трезвым, боевой дух его вызывал восхищение. Может, он не понял, что поспал всего какой-то часик, а подумал, что уже утро, пора делать зарядку и ехать на работу? Как бы то ни было, все захлопотали. Отец кое-как надел обувь. Он, когда поднялся с табуретки, как-то совсем размяк, но хотя бы подчинялся приказам и плелся за дядей Леней.

— Все, давай, Валентиныч! Спасибо! Поедем мы! — сказал полковник, подхватил отца под руку, и они направились на улицу.

Я спешил за ними.

Вдруг меня пронзила мысль: как-то мы спешно убегаем, будто грабители. Я даже не сказал мастеру «до свидания», а отец не расплатился за маску. Мне стало стыдно. Старик стоял, опираясь рукой о стену, смотрел вниз и покачивался. Его, видно, больше не смущало наше внезапное бегство. Будучи уже в безопасности, я снова стал думать о нем хорошо, почитать его настоящим волшебником, мастером.

Я сказал:

— Спасибо за маску, дядя Серега! До свидания! — и секунду ждал его реакции.

Сергей Валентинович издал звук, похожий на выдох сдувающегося шарика, рыгнул, головы не поднял и на меня не посмотрел. Стоял, по-прежнему немного нагнувшись, опираясь о стену, и я увидел, что изо рта у него потекла блестящая струйка слюны. Даже когда она достигла пола, он продолжал стоять и качаться, будто ничего вокруг не происходило. Мне было бы его жалко, если бы он сохранял человеческий облик. А будь он такой, как тогда, в студии, озаренный светом таланта, я бы и вовсе желал быть его другом...

На том я его и оставил и побежал за отцом и полковником.

Рамиль выскочил из машины и помог загрузить обмякшего отца на заднее сиденье. Дядя Ленья отпустил несколько шуток по пути домой, но, не поддержанный крепко спавшим отцом, утих и захрапел. Я последовал их примеру и тоже заснул.

...Хеллоин прошел на ура. У всех ребят и девочек были крутые костюмы и дорогие маски. Но то были общедоступные изделия, купленные в магазинах. Я же предстал на мероприятии настоящей Бабой-ягой, такой отвратительной и жуткой, что девчонки с писком и слезами умоляли меня снять этот наряд. У меня была самая жуткая маска, штучная, сделанная не известным никому мастером — Сергейей.

Денис ПОПОВ

ДОЖДЬ В КАСТРЮЛЕ

* * *

Чем глубже лес, тем чище снег
От грязи, как и мысли.
Чем глубже лес, тем тише бег
Дороги, жизни, выси.

И равен оборот колес
Вращению дыханья.
Чем глубже лес, тем выше рост
Деревьев и сознанья.

* * *

Чем ты дольше живешь, тем все чаще дожди.
Ты шагаешь сквозь них, замечая:
Опустевших рассевшись полей посреди,
Разбирает червей птичья стая.

Розоватый штришок дождевого стиха
Прет наверх из души, как из ямы.
На дырявую дворик походит лохань:
Ручейками хорей и ямбы.

А дожди моей жизни то ливнем идут,
То снежком моросят междометий.
Собираются в строфы — пускай заключают,
Прочитают хотя б перед этим.

* * *

Другу детства Ивану Чупрову

Переступая через нас,
Как через детские игрушки,
Пройдет зима, в который раз
Не поздоровавшись, по-русски.

И вот площадка нам тесна,
Как птицам тесно меж домами.
Махнем с приятелем вина,
Мат пережевывая ртами.

Махнем не чокаясь, до дна:
«Иных уж нет. И этих тоже...»
Переступая нас, весна
Прошепчет тихо: «Ну и рожи!»

У зимнего рва

Отгорела листва, и ноябрь
В спины бьет деревьям.
Вышли из лесу избы на яр,
Будто встали у рва.

И река, с сединою в песках, —
Тут ведь как повернуть! —
Тоже к пропасти некой близка,
Собираясь нырнуть

В наползающий лед, до весны...
Шепчут избы, присев,
Мол, из зимнего рва тишины
Вылезают не все.

* * *

Сиж у печки и читаю:
И прозаично, и тепло
Меж строчек, как среди проталин.
Редет в сумерках село.

Темнеет рано: к двум — до окон
Сомкнется мир, до фонарей.
В стране поэтов и пророков
Толковых нет поводырей.

Дождь в кастрюле

Пьет собака прошедший дождь.
По кастрюле цепь — блим да блим!
Я не Бог, а всего лишь гвоздь,
В цепь собачью забитый Им.

Но могу дождь сменить на суп.
И сменю, только пусть допьет.
Я, конечно, земли не пуп,
Но собака ко мне идет,

Стало быть, доверяет мне.
И во мне — небо, стало быть.
Где тот гвоздь, что меня в стране
Держит и заставляет выть?



Евгений ГОРОДЕЦКИЙ

С ПЕЧАЛЬЮ И ГНЕВОМ

Памяти В. П. Астафьева

Евгений Городецкий (1934—2005) известен прежде всего как прозаик, писавший о геологах. В 1957 г. он, получив диплом инженера-геолога, на шесть лет уехал в Туруханскую экспедицию. Впечатления от полевой геологии отразились в большинстве его книг (самая известная — роман-трилогия «Академия Князева»). При этом значительную часть жизни Е. Городецкий занимался редакторской деятельностью в книжных издательствах, основал серию «Сибирский рассказ». Очерк «С печалью и гневом» рисует выразительный портрет выдающегося русского прозаика Виктора Астафьева, с которым Городецкий общался и переписывался с 1972 г.

В сентябре 1972 года мне довелось участвовать в Неделе писателей РСФСР в Томской области. Народу в той поездке было много и отовсюду, бригаду литераторов возглавлял Лев Ошанин, а от Вологодской писательской организации присутствовал Виктор Астафьев. Помню, меня он поразил с первого взгляда. Задубелое морщинистое лицо, голос крепкий, хриловатый. Ничего интеллектуального, «писательского» во внешности его не было, а тут еще этот глаз покалеченный... Но вот заговорили о Сибири, о родных Виктору Петровичу местах — и лицо его стало строгим и печальным.

Обские берега в среднем течении ровные, пологие, довольно однообразные; слева тянется и тянется по-над пойменной террасой невысокий песчаный обрыв, правый берег совсем низкий, в отмелях, тальники местами спускаются к самой воде. Пароходик наш неспешно крутил колесами, плыл себе и плыл вниз по течению, будоража желтоватую обскую воду, а мы грудились на палубе, прятались от ветра за рубкой. Смотреть, в общем-то, было не на что, но все равно неизъяснимая притягательность таилась в окружавших нас речных просторах под широким и хмурым в ту пору небом. Виктор Петрович поднимал воротник тоненького своего пальтишка джерси, ежился, но вниз не шел, был молчалив и сосредоточен, рассеянно слушал пояснения хозяев-томичей. Истосковался он по своей родине, и хоть обские берега уступают по живописности енисейским, да и мощь воды не та, но все же это Сибирь...

В первые день-два компания наша разделилась «по интересам»: поэты больше тяготели к Льву Ивановичу Ошанину, прозаики — к Виктору Петровичу. Блестящий рассказчик, балагур и остролов, он любил и умел быть в цен-



тре внимания, и, когда бывал в ударе, окружающие, что называется, со смеху покатывались.

Сидим в салоне, все в сборе. Лев Иванович чаще всего при галстукке, подтянут, приветливо сдержан, и разговор там у них свой, поэтический, о высоких материях. Поодаль другая группа. Виктор Петрович в затрапезном свитерочке, из-под которого иной раз и подол рубахи выглянет, грубоватым своим голосом ведет одну из историй, которые цепкая его память содержит в неисчислимом количестве, — во всяком случае, при мне он ни разу не повторился, — иногда сам не выдержит, рассмеется коротким отрывистым смешком, а мы уже обессиленно стонем и руками машем — хватит, дескать, уморил. Поэтов взрывы нашего хохота сбивают с элегического настроя, они все чаще умолкают, прислушиваются к тому, что там, «на семинаре прозы», происходит, и по одному пересаживаются поближе. Скоро компания становится единой, и в центре — Виктор Петрович, и уже, наверное, не просто вспоминает, а вдохновенно импровизирует; многие из этих устных рассказов отольются потом в строки его прозы.

Этот воистину Божий дар человеческого общения, свойство быть душой компании, вообще людского сообщества не раз выручали Виктора Петровича, потому что таких, как он, уважают в народе за честность, прямодушие и веселый нрав, да попросту любят.

Однако не все наше общение сводилось к зубоскальству. Были и серьезные разговоры, очень откровенные, доверительные, словно бы один на один, разговоры острые, едкие — вспомните некрасовское: «Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей...» Виктор Петрович говорил, что думал. Этим-то он и покорял тех, кто с ним водился: всегда и везде, при любых обстоятельствах оставался самим собой, тем Астафьевым, которого мы знаем и любим, — в разговорах, в помыслах, в прозе своей. А то ведь иной как: говорит одно, пишет другое, и бог знает, что у него на уме, потому что не веришь ни тому, ни другому.

Кончилась наша поездка по гостеприимной томской земле. Многое дала она каждому из нас: познакомила с прекрасными местами, подарила радость общения с незнакомыми прежде людьми, показала лицевую и обратную сторону нефтяной добычи — разве забудешь такое? Перед разъездом обменялись адресами, Лев Иванович и Виктор Петрович одарили нас своими книжками, сделав на них соответствующие надписи. С тем и расстались.

А я, вернувшись домой в Новосибирск, решил отдариться и послал Виктору Петровичу первую свою вышедшую в Москве книжку про геологов. Вскоре пришел ответ. Да не отписка, не записочка из десятка дежурно-любезных фраз, а письмо — дружественное, мудрое и опять-таки очень доверительное и откровенное (впрочем, как и большинство писем Виктора Петровича, которые я имел радость получать полтора десятка лет), чрезвычайно меня обрадовавшее, хотя почерк... Нетерпеливый мой взор завяз на первых же строках, пришлось разбирать письмо по буквам целый вечер.

30 сентября 1972 г.

Дорогой Женя!

Сегодня в «Лит. России» появилась мутная картинка с мутными лицами, изображающая нас, и не менее мутными стихами Левы о поездке, очень светлой и дружной, оставившей во мне самые хорошие воспоминания, а то ведь обычно находится в «делегации» «классик» и начинает выкобениваться, изображая из себя пророка и спасителя отечества, и тут поднимается ругань, переходящая в драки...

Сегодня же я дочел твою книжку. Я ведь читаю по слогам, медленно (шесть групп грамоты, которые я в анкетах от стыда и совести означаю как «незавершенное среднее»... Хрен ли тут сделаешь? И к шести группам всего один зрячий глаз — маловато!).

Книжка хорошая. Мне очень понравилась. Хороша как раз тем, что в ней есть, а не тем, что было в другой «геологической литературе», которую читать уже надоело... Слава Богу, что никто не погибает и даже последний патрон не расходуется драматически-героически, вовсе уж по-дурковатому. Хороши все ребята — я их сто раз видел и встречал на сплаве, в литейном цехе, на войне в окопах — везде они такие, то собаки собаками, то вдруг лучше и не надо...

И сама работа, работа. Такая тяжелая, какой я ее предполагал. Так вот мы работали на фронте. Это ведь только в кино все бегают, стреляют и колют врага, но прежде чем в него стрелять, а тем более уколоть, ой сколько надо земли было выкопать и бревен потаскать...

И хорошо, что никакой девицы не вставил в повесть. Боже, как они, эти вумно рассуждающие девицы, надоели!..

Вот еще что порадовало меня в твоей книге. Знания. Твердые знания не всегда, но все-таки чаще, чем незнание, дают и твердые убеждения, а те в свою очередь рождают свою позицию в литературе, без которой, по-моему, нечего, в общем-то, и делать в ней, хотя целые шайки бродят по литературе нашей вообще без руля и без ветрил, сшибая деньжонки и благополучие, вот и все тут.

Жаль, что раньше не читал этой книжки — было бы о чем поболтать, мой край, моя родная земля, Игарка упоминается, а у меня при одном ее упоминании начинает под ложечкой сосать и много чего в памяти всплывает... я ведь, как всякий лапотник, самоуком всего добивавшийся, тайно и светло завидую вашему брату, имеющему такую великолепную эрудицию и образованность. Отсутствие таковой мучительно, рождает постоянное угнетающее чувство неполноценности, а затем и грубые срывы, порой переходящие в хамство. Ты не смейся над этим, я это всерьез говорю! Правда, я не убежден, что образованность дает счастье бытия. Моя теория, что мой неграмотный дед Илья был счастливее всех образованных, ибо жил земно и счастлив был трудом и плодами земными, не противоречит всему, что я говорил выше, а лишь осложняет мое отношение к происходящему, однако именно меня угнетает полубразованность, полукультура, упущенные возможности в молодости получить знания, перенять то, что уже не получить и не перенять. И годы, и раны, и суета житейская не дают возможности, как писалось о декабристе Фонвизине, «предаваться созерцанию и философским размышлениям». (Это он в Енисейске себе такое позволял, в ссылке, а?)!

Ну что ж, Женя, никакое, даже самое длинное письмо не заменит живой беседы. Авось когда-нибудь в Новосибирске или еще где посидим, потолкуем... а пока прощаюсь, жму тебе руку, кайлившую мою родную Сибирь... Дай тебе Бог и дальше писать твердо и с убеждением, что правду не вывизгивают, а правдой живешь и дышишь, все равно что воздухом, хлебом, водой. Словом, труда и труда тебе, и главное, пока еще не стар и здоров, пиши больше, даже если материальные лишения настигнут и презирать будут, — пиши, достаток придет, а вот годы не возвращаются — это я тебе говорю, половину писательских лет всадивший на то, чтобы досыта накормить детей и вырастить их...

Обнимаю — твой Виктор Петрович.

Предприимчивые молодые литераторы в поездках, подобных нашей, не упускают возможности ухватить какую-нибудь выгоду от общения с именитыми: тому — предисловие к книжке, тому — рекомендация для Союза писателей, за того — где-то словечко замолвить и так далее. Поимел и я свой интерес: именно тогда, во время путешествия по Томской области, пришли мне в голову две идеи, которые со временем удалось осуществить. Первая — насчет «Сибирского



**Поездка писателей по Оби (сентябрь 1972 г.).
Слева направо: поэт Лев Ошанин, Евгений Городецкий, Роман Романов
(секретарь Томского обкома КПСС), Виктор Астафьев, Владимир Колыхалов,
крайний справа — Геннадий Прашкевич**

рассказа». Издание это позволило бы нашему Запсибиздату печатать авторов, которые связаны с Сибирью темой, но имеют в паспорте прописку, скажем, московскую, или вологодскую, или уж вовсе далекую от нашей зоны. Издательство поддержало этот замысел.

Другая идея заключалась в том, чтобы прокатиться с Виктором Петровичем по Енисею — от Красноярска до Игарки, например, и не на рейсовом теплоходе, где, конечно, комфорт, буфет, ресторан и прочие прелести и где с утра до ночи гремит над головой радиомузыка, а на самоходной барже. В твоём распоряжении стометровая палуба, и ни души, команда занята своим делом, свободные от вахты отдыхают, можешь часами стоять у борта, опершись на лерное ограждение, смотреть, думать, вспоминать, и никто не нарушит твоего уединения. Опыт такой поездки уже был: первое, что я сделал, переехав в Новосибирск, это собрал компанию и, пользуясь традиционным расположением енисейских речников к пишущей братии, совершил туристическую поездку до Туруханска и по Нижней Тунгуске. Десять лет назад там пролегли мои геологические маршруты.

Виктор Петрович не замедлил откликнуться:

Насчет поездки по Енисею надо подумать. Я-то всегда готов по нему ездить и даже утонуть в нем от любви к родной земле, да обстоятельства, знаешь сам, превыше нас бывают. Надо вот еще роман ковырять, раз начал...

А к Новому году пришло большое письмо на почтовой бумаге с изображением лодочки в верхнем углу и припиской сбоку:

Ентая ладья прообраз будущего корабля, на котором мы по Енисею покатым!

Спустя три месяца, в конце марта 1973 года, Виктор Петрович в очередном письме ко мне впервые упоминает свою ставшую впоследствии знаменитой книгу:

А начал я писать нечто под названием «Царь-рыба» — рассказы у костра (с примечанием: «не пионерского»). Вечерне к нашей встрече будет готово. Это все, что у меня наболело «за Енисей» и за людишек нынешних. Ты же знаешь, что я никогда и ничего «специального» из своих поездок и о них не пишу и командировок не беру, но постепенно столько накопилось. Нужна будет твоя помощь. Работал у меня бродяга-братец в туруханской вашей экспедиции, рассказал одну вещь (рассказчик потрясающий, братец-то), и я ее пишу, но все касаемое экспедиции и устройства в тайге надо будет уточнить у тебя. Ладно. Посмотришь. Ухохочешься. Оч-чень «веселье» рассказы.

В этом же письме снова о предстоящей поездке:

...уцелело у меня несколько «мушек» (искусственная приманка для ловли хариуса. — Е. Г.) Чусовских. Остальные бездарно пооставлял на кустах в речке Быковке. Но и эти несколько... Это такие «мушки», что ежели пойти с ними по улице Горького в Москве и закинуть в подземный переход, то и там чего-нибудь поймаетшь, а уж в Тунгуске... Ты уж растревожил меня всем этим сбором. Мне уж и делать ничего неохота, а скорей бы ехать...

Поездка наша предполагалась в первых числах июля, а в конце июня все мы, шестеро ее участников, собрались в Красноярске. Кое-что пришлось согласовывать, организовывать в последний момент, все эти мелкие неувязки нервировали, а тут еще один из спутников Виктора Петровича немало крови нам попортил своим куражом и баламутством. Ну, все это пустяки, досадные издержки людской общительности. Главное началось, когда мы всей компанией прикатали в Овсянку, на родину Виктора Петровича.

Добротные избы под железом или шифером, асфальтовая дорога, мачты ЛЭП, несущие куда-то вдаль провисшие дуги тяжелых проводов. Ровный пологий увал, уходящий к известному заповеднику «Столбы», — все на этом берегу. Енисей здесь не широк, но стремителен, течение видно по всей поверхности, от самого бечевника. А на том берегу — темные крутые скалы, обрывающиеся прямо в воду и обнажающие смятые слои пород, выше гористый склон, покрытый тайгой, кое-где порубки видны. Вроде окультуренное, освоенное место, а все равно дышит какой-то дикостью, своеволием. На этих берегах Астафьев вырос, эти горы и мощная светлая вода всегда были у него перед глазами. И всем нам, гостям Виктора Петровича, подумалось, а кто-то и вслух высказал, что такая земля не могла не родить своего певца, защитника и радителя...

Сперва двинули на кладбище, поклониться праху Катерины Петровны Пытылицыной, бабушки писателя и любимого его литературного героя. Виктор Петрович положил на заросшую могилку букет полевых цветов. Постоял, обхватив подбородок ладонью, и пошел прочь, пробираясь между оградок, а мы — гуськом за ним следом.

В деревне нас уже ждали, и познакомились мы тут с родней Виктора Петровича, большей частью уже знакомой по его книгам, ближней и дальней, для которых он сроду был Витей, Витькой, своим, кровным, овсянкинским, и вместе с тем уже очень далеким, писателем городским, и в обращении к нему нет-

нет да и проскальзывала почтительная отстраненность. А впрочем, может быть, мне так показалось.

Я спросил у Виктора Петровича, украдкой кивнув на пожилую худощавую женщину с лицом и руками крестьянки, с выражением одновременно усталости, смирения и все же таки внутреннего непокорства: «Это та самая, что в “Мальчике в белой рубаше”?» — «Та самая, — ответил Виктор Петрович, — только про мальчика не напоминай, плакать начнет...»

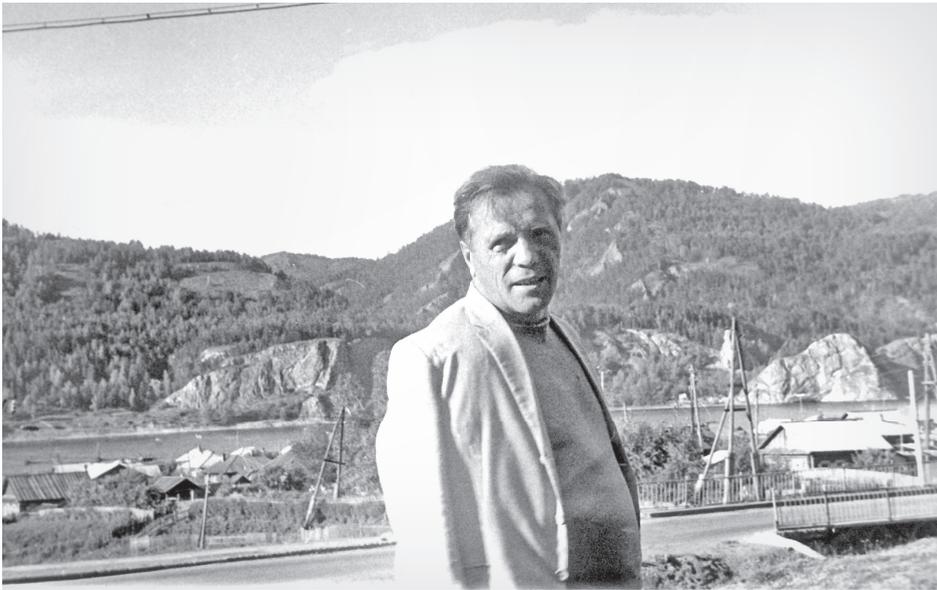
Сели за стол. Сперва и гости, и хозяева вели себя чинно, сдержанно, потом постепенно согрелись. Обзнакомились друг с другом, разговоры возникли в разных концах стола, скоро и песни зазвучали, они-то всех нас, сидящих вокруг стола, и сблизили окончательно. Виктор Петрович — домашний, в старенькой своей «олимпийке» с растянутым воротом и свалывшимся ворсом — пел самозабвенно, крепкий его хриловатый голос придавал звучанию песни надежность и силу. Пели русские песни, украинские, современные. Спели и заветную Виктора Петровича — про тонкую рябину. И вспомнилось мне, как прошлой осенью на Оби, тоже в застолье, только полностью своим, писательском, когда с запевки Виктора Петровича спели эту песню, хорошо спели, ладно, он воскликнул, утирая слезы: «Не знаю, сколько мне Господом Богом еще отпущено, но когда помру — спойте “Что стоишь, качаясь...”, и я услышу вас на том свете!»

— У нас вообще народ песельный, — объяснял он назавтра, когда мы ходили на Овсянкинский увал. — Пацаном помню, с сенокоса идут бабы по увалу, поют-поют, далеко слышать...

Два дня в Овсянке пролетели незаметно. Славно было гостить у приветливых, хлебосольных родичей Виктора Петровича, но пришло время уезжать. Нас ждал Енисей. Через сутки в низовья уходил грузовой теплоход, капитан которого согласился принять нас на борт.

И вот мы на самоходной барже и плывем по Енисею. Большое современное судно чехословацкого производства, стометровая (как и обещано было Виктору Петровичу) палуба тесно уставлена железобетонными конструкциями, штабелями уложены сваи, однако места для прогулок вдоль борта и для уединения — предостаточно. Но Виктор Петрович не отпускает нас от себя, он охвачен радостным возбуждением, и он сейчас в роли хозяина и гида, показывает нам Енисей и ревниво ожидает наших восторгов.

Казачинский порог, живописные острова, устье Ангары. И Енисей, принимая ее воды, сразу раздается вширь, быстрая речная гладь под солнцем слепит глаза. Само сознание, что вот сейчас справа по берегу предстала перед нами одна из самых легендарных рек Сибири, пусть не во всей красе, а лишь небольшим по протяженности устьем, — заставляет встрепенуться отзывчивую на природу душу. И погода, и солнце, и теплынь... Однако спутники Виктора Петровича оказались равнодушными к енисейским красотам, путешествие наше, едва начавшись, уже утомило их, заскучили они по дому, затосковали на чужбине, непривычные к таким просторам, а тут еще царивший на судне «сухой закон»... Короче говоря, когда к концу четвертых суток достигли мы Туруханска и высадились, в компании произошел раскол. Товарищи наши — на самолет и домой. А мы с Виктором Петровичем остались вдвоем и порешили кровь из носу побывать на Нижней Тунгуске. «Не добрались до Игарки, так хоть на Тунгуску поглядим», — с сердцем сказал Виктор Петрович. Разногласия в нашей компании задевали его, виду он не подавал, но переживал сильно.



Виктор Астафьев

Не хотелось идти по начальству, просить помочь с транспортом, еще больше не хотелось ждать. Смotalся я на берег, быстренько договорился за десятку с владельцем одной из моторных лодок, и через час мы уже огибали Дурной мыс.

На Тунгуске, Угрюм-реке, как называл ее Вячеслав Шишков, мы провели почти двое суток. Совершенно одни на пустынном берегу. Разбили палатку. Коротали у костра светлую приполярную ночь. Оказаться вдвоем с почитаемым писателем и человеком, на отдыхе, в необитаемом месте, — какая прекрасная возможность задать трепетные наболевшие вопросы о самом главном... Но — не получилось. На судне и до того, в Овсянке и Красноярске, подступиться к Виктору Петровичу с душевным разговором не удавалось, возле него все время кто-то находился. А тут я вдруг оробел, убоился показаться смешным, наивным, может быть. Говорили о пустяках, а больше молчали. Виктор Петрович рыбачил на удочку, я занимался бытом. Наше пребывание на Тунгуске подробно и ярко описано в книге «Царь-рыба», в главе «Туруханская лилия», только в действительности вместо Акима с героем-рассказчиком был я. А так все соответствует: и комары нас заедали, и моторки подъезжали, и красивый цветок Виктор Петрович нашел на берегу, сорвал его и положил под камень в устье ручья, чтобы взять потом с собой, да собирались мы в спешке, палатку скомкали и свернули вместе с колыями и про цветок действительно забыли.

Таким образом я оказался очевидцем «творческого процесса» Астафьева в той стадии, когда «собирается материал», однако должен разочаровать читателя этих заметок: Виктор Петрович ничем особенным не занимался и внешне был совершенно обыденным. Ходил по берегу с удочкой, следуя за движением поплавок, лазал на кручу в лес, помогая таскать дрова для костра, с аппетитом хлебал сваренный мною супец... И эта обыденность его поведения лишний раз потом убедила меня в том, что писатель, если он настоящий писатель, работает постоянно, непрерывно, всю жизнь, работает, как дышит. Только со стороны это незаметно.



Рыбаком Виктор Петрович оказался умелым и удачливым, наловил отменных сигов, мы их подсолили и решили увезти с собой. «Для пирога, — подмигнул он, — тетки мои мастерицы рыбный пирог стряпать». С пирогом, правда, вышла потом осечка, но об этом ниже.

В поездку я захватил с собой фотоаппарат, много снимал, фотографии по-могли запечатлеть то, что не удержала память. Перебирая их теперь, вспоминаю подробности, трогательные или забавные. Вот Виктор Петрович присел на валун, ладит снасть, а комары всю спину облепили; вот с помощью «автоспуска» мы запечатлены вдвоем у вечернего костра, на фоне быстрых светлых струй Нижней Тунгуски; вот у двухэтажного бревенчатого здания Туруханского аэропорта, со стороны столовой, Виктор Петрович кормит хлебом лохматых разномастных лаек; в энцефалитке навывпуск, в спущенных броднях, выглядит он заправским экспедиционным бродягой, на лице широкая астафьевская усмешка, видны крепкие ровные зубы... За двое суток, что мы провели на Тунгуске, отошел он от нервного напряжения, обмяк душой, повеселел, хотя и умотался физически, отвычный от бивуачного образа жизни.

На обратном пути, уже в Енисейске, где наш самолет задержался, мы немного погуляли по спящему в предутреннем тумане городку, но показать мне его достопримечательности Виктору Петровичу не удалось, боялись на самолет опоздать. А в Красноярске, в аэропорту, перед расставанием, перепаковывали в скверике вещи, и Виктор Петрович обнаружил у себя в рюкзаке экземпляр изданной в Перми повести «Пастух и пастушка»; книжка была прихвачена, как видно, для подарения кому-либо. Тут же подписал ее мне: «Мою самую “больную” и любимую повесть — Городецкому Жене, — повесть о зле и добре, и еще кое о чем — пусть она напоминает Енисей, тайгу, ранний самый Енисейск (и герой родом из него) и грязный красноярский сквер — с добром и от души. В. Астафьев».

Было грустно, расставались мы в этот раз надолго... Дальнейшая наша связь поддерживалась письмами. Конверты, надписанные своеобразным размашистым почерком Виктора Петровича, приходили регулярно. Он писал о своих делах, о том, как движется работа над «Царь-рыбой», предупреждал, что пришлет мне на просмотр рукопись, и я был безмерно рад, что смогу чем-то помочь ему. По отдельным фразам можно было судить, как постепенно складывается и выравнивается замысел книги, как мучительно трудно она пишется и продвигается.

В то время, узнав его ближе и привязавшись к нему еще сильнее, я едва ли не в каждом письме агитировал Виктора Петровича перебираться в Сибирь, в Томск, например, где ему понравилось и где к писателям всегда хорошо относятся. Он отвечал уклончиво, да и не до переездов было ему тогда...

В свое время Виктор Петрович великодушно разрешил обнародовать эти частные, не предназначавшиеся для публикации письма — в отрывках или целиком.

Винница, 3 сентября 1973 г.

Дорогой Женья!

Так и не помню, написал я тебе письмо с Украины или нет? Если написал и повторяюсь — списывай на углубляющийся склероз мой.

После возвращения из Сибири (а пробыл я в деревне четыре дня — ждал деньги в издательстве для шурина Витьки на машину — снова там гулял народ, песни пел и вспоминал тебя как великого песельника) дома я пробыл очень недолго, кое-что приделал из текучки и двинул на студию Довженко, где сулился быть в начале августа.

В Киеве был со всей семьей — она, семья, ходила по городу и «дывылась», а я выслушивал умные советы и комплименты, а потом вместе с режиссером убрался в деревню Соколец, в Винницкую область, доделывать сценарий, где я надеялся побыть недолго и потом отправиться по местам боев и на Днепр, тоже «поддывыться», кое-что вспомнить и кое-как сдвинуть с места запылившийся черновик романа.

Ан не живешь как хочешь, а как Бог велит! Где-то я простудился, заболел и с воспалением легких едва живой был вывезен в Винницу, где и нахожусь по сию пору в больнице и через четыре дня уже выпишусь и поеду домой, на прикол, ибо «пневмонию хроническую» нашли во мне, и благодарение Богу, что она не шевельнулась во мне в краях туруханских, тем более на Тунгуске, а то бы ты со мной такого горя хватил, какое тебе и не снилось.

Попутно с воспалением была тяжелая ангина и еще чего-то, но уже все позади. Лечили здорово, так что болела голова и болит, а потому читал мало и кроме писем ничего не писал, а лежать так скушно, без дела-то, да еще на чужой стороне.

Как ты долетел до Новосибирска? Я неловко чувствовал себя, что оставил тебя, но уж «кончился мой порох»... плохо я уже себя самого тянул.

Привез я с Тунгуски рассказ очень сложный, еще не писал, но весь он уже в голове сложился. Здоров ли ты? Получилась ли картинка с собаками?

А конфетки-то помнишь? Хорошо, что не выбросил. Ребятишкам давал, но уж «не от лисы и медведя», а от «шаманки с Тунгуски», и сколько у них радости было! Балованные дети, закормленные, а эти леденцы слипшиеся как драгоценность принимали. Вот тут и говори, что детство не одинаково во все времена!

Ну, обнимаю тебя — напиши мне.

Твой Виктор Петрович.

* * *

Вологда, 21 сентября 1973 г.

Дорогой Женья!

Я продолжаю свою вахту, теперь уже в вологодской больнице. Прилетел из Винницы, а у нас дожди, холодина, в квартире капремонт. Три дня пробыл дома и снова на койку. Числа до 1-го пролежу, а там проситься буду. Приглашали меня ростовчане на лит. юбилей Шолохова. Что-то мне хочется посмотреть на все это вблизи и, если удастся, поговорить с нашим живым классиком. Много у меня вопросов к нему накопилось...

Не знаю, сумею ли я поехать, а надо бы, и для жизни, и для работы.

Здесь я уже помаленьку работаю, правлю написанное, ибо писать-то невозможно — процедуры, да хождения, да режим всякий...

Фотографии ты прислал хорошие — зря прибуднешься. Спасибо! И, прежде всего, спасибо нам обоим, что мы все же побывали на Тунгуске! Это дало мне даже больше, чем я ожидал. Я не могу переваривать излишки впечатлений, а немногие застревают во мне целиком — Тунгуску и все, что там было, я помню всю до единого звука, и слова, и запахи даже все помню.

Если будет время — пересними мне портретный снимок — нет у меня карточек для книг и прессы, а эта хорошо получилась. Правда, я в «патретах» и прочей... ничего не понимаю. Годится ли она для печати? И еще замечательный снимок, где комары меня облепили, когда я поплавок привязывал, и еще пересними, где мы вдвоем у костра, ну и, если можешь, с собаками. Хоть один. Это много? Если много и сложно, тогда сам смотри.

Нет, Женья, если мне и поможет судьба убраться на родину, то я лишь в родное село могу податься. Оно меня лишь зовет и тянет. Ни в какой хороший,



даже очень хороший Томск я не поеду... да и нет мне смысла греметь старыми костями, перемещаясь из города в город.

Может, весной, когда поедем с женой отгуливать мой юбилей, мне и удастся склонить ее начать постройку дачи на Овсянкинском увале — все остальное не годится, да и не нужно. Уже тянет и к тишине, и к безлюдью, и поближе к родным могилам, «устраиваться в обществе» мне поздновато, да и не нужно, не стоит сил.

Нут вот, пока всего хорошего. Желаю здоровья и хорошей работы...

* * *

12.10.73

Дорогой Женья!

Вот я уже и дома, и ремонт кончился, и уже работать начинал, да взял и на Урале друг помер. Фронтовик бывший, главный редактор бывший областного изд-ва, хороший человек-то, честный. Еще накануне звонил, говорил долго, ровно бы прощался...

Сегодня его закопали в мать-сырую...

Жена звонила моя. Она поехала на похороны. Мне еще нельзя никуда. Опасно. Даже в станицу Вешенскую не смог приехать и на КамАЗ отказался, а ездить туда большая мода...

Был я в деревне 4 дня. Погода аховая, а все одно хорошо. Рябчика слуду угробил, окуньков половил, уху варили на берегу.

Да, а сигов-то я так и не попробовал! Состряпала Августа пирог, затесалось моих родичей полон дом, и пока я обнимался да целовался с из города попривхавшими да пока чувствам предавался, срубали пьяные рылы пирог-то. Я уж корочку ухватил. Да ведь и срубали-то... все одно как картошку, без чувств и восторгов, мимоходом, мимолетом...

«Рыба» моя так и не двигается, что-то все ей мешает «плыть», а это уже верный признак, значит, и в печать будет идти со скрипом и стоном. Ну да не привыкать!..

А братец, которого мы искали под Туруханском, объявился под Кызылом, в Саянской ГРП. Прислал мне орехов. Собирается на Магадан или в Норильск. До меня доехать не может, терпенья не хватает. Еще в дороге до Красноярска пропивается. Вот бродяга!..

В ту пору одна из центральных газет в русле кампании «за чистоту русского языка» поместила статью писателя и журналиста Н. — назову его так, — где содержался анализ астафьевского стиля, которым я тогда был особенно упоен, и довольно едкая в его адрес критика. Н. я знал как человека умного, порядочного, знал его лично и Астафьев, тем более меня возмутила несправедливость нападок на моего кумира и менторский тон хулителя. И вообще, «наших бьют!» Я был задет до глубины души. Посылая Виктору Петровичу фотографии, которые он заказывал, я подробно и горячо изложил в сопроводительном письме свое отношение к происшедшему. Вскоре пришел ответ.

Вологда, 5.12.73

Дорогой Женья!

Спасибо тебе, спасибо!

Ничего связанного написать не могу. В большом запале!

Из «Царь-рыбы» выделилось пять глав (объемных, страниц на двести с лишним!), и вот, начиная с Гагры, где шел дождь, я начал молотить, а когда я

молочу, то измолочиваюсь до мякины — ревел от начала до конца на умильном фильме «Мачеха» вместе с вологодскими бабами, да и это бы ничего, программу «Время» по телевизору смотрел, — начали Брежнев с Индирой Ганди документы подписывать, а я в слезу — мир вот, согласие, два великих народа — хорошие соседи, добра друг для дружки желают. Словом, уж на пределе! А работы, хоть и конец виден, еще много. Главы получаются настолько значительными и отработанными, что всю книгу для следующего издания («исправленного и дополненного») придется подтягивать к хотя бы приблизительному уровню их.

Я очень счастлив! Все эти статейки прошли мимо меня. Мне и читать-то их ладом некогда, и вообще все текущие дела запустил ужасно, но, да простят меня молодые авторы, приславшие рукописи, и друзья, которым я не отвечаю на письма давно и даже с праздником не поздравил, — когда-то нужно поработать и на себя.

Зря ты Н.-то! Ему и так навывадали. Не думаю, чтоб это «промах» был, просто Н. работает в такой газете, многие сотрудники которой ради красного словца не пожалеют матери-отца. «Пароварно пыхтит» и в самом деле худо и незащитимо, а вот «оружейный огонь» я никогда не напишу — это издательская накладка, я ее все время правлю в верстке, а она остается, — Н. знает, что я так не напишу, а подьеддыкивает, вот это уже нехорошо, знает он и о том, как малоквалифицированные сейчас корректоры, как по-дураному и неряшливо относятся к рукописям в издательствах, и нам, периферийщикам, перешли слать гранки, и присылают лишь верстки с неперемкнутой припиской: «Скорее! Не задерживай! Правь как можно меньше!»... Книги выходят — моя «Излучина» в «Современнике» и Белова «Холмы» в таком виде, что мы оба за голову схватились, а я и читать не стал, столь много там «накладок» и просто ошибок. Н. ведь знает, как коварно слово, — однажды в слове «спал» у меня проскочила в середине буква «р» — так неужто нарочно это? Ну и об остальном можно спорить, но при всем при том я восхищаюсь тютчевскими: «...и лучезарны вечера» за то, что именно «лучезарны» они, а не «лучезарные», поэт задыхался от восторга, поэт не сказал, а выдохнул, и получилось вечно, прекрасно, а 90 процентов нынешних, шибко грамотных поэтов подставили бы букву «е» и убили бы чувство в слове, а значит и самую поэзию во плоти закололи бы тупым ножом убогой грамотности, нахватанной, впитанной крепкой головой, но не пропущенной через сердце. Не страшат меня и «берез обглоданные кости», и «страна березового ситца», и опять же тютчевское «страхись поэтовой любви», а «златочешуйчатые струи» Баратынского морозом восторга по мне пробегают...

Вот видишь, разбежался, поговорил с тобой у костерка на Нижней Тунгуске! Хорошо, что мало мы там говорили. Я там столько «вымолчал», что сейчас разгребаюсь в «материале», роюсь, как в утильсырье, выбирая блестящие вещи, нечаянно оброненные природой и людьми, — и хорошо (для работы!), что все так было, после всякого паскудства прекрасное видится ярче, добро чувствуется и вспоминается глубже, что ты и увидишь в моих новых главах, если они обнародуются, — главы тяжелые, в смысле «проходимости» сложные. Да Бог с ними, об этом сейчас некогда думать. На душе усталость и праздник! К январю, в январе, точнее, думаю рукопись везти в Москву и сразу же продолжу работу над «Царь-рыбой», ну не сразу, передохну маленько.

Ну обнимаю, спасибо за картинки еще раз. Привет всем твоим — твой Виктор Петрович.

Глянцевитая новогодняя открытка с густыми еловыми лапками на обороте, торопливые строки знакомыми уже фиолетовыми чернилами:

26.12.73

Дорогой Женя!

Шлю тебе к Новому году елки в знак воспоминания о Тунгуске. Все-таки дни, на ней проведенные и на Енисее, в плаву, были лучшие в прошедшем году — мякину сдуло, добрые воспоминания остались. Желая, чтобы их больше было! Работа моя идет к концу, но и я уже почти прикончен, тружусь сверх всяких сил...

Последующие письма Виктора Петровича представляют особый интерес, так как касаются не только его личности или каких-то важных для него обстоятельств, но приоткрывают дверь его творческой лаборатории в один из напряженнейших периодов — работы над книгой «Царь-рыба». Привожу их подряд, почти без сокращений и без комментариев — в письмах и без того все ясней ясного.

4.11.74

...Лето у меня прошло худо, болел опять воспалением легких, обварил ногу, потом подкосила смерть Василия Макаровича, и лишь недавно смог я наконец засесть за «Царь-рыбу», которая едва уже не протухла. Хочется мне вставить туда и воспоминание о той прекрасной алой лилии, которую я оставил в студенческой речке, и ты ее, слава Богу, таки забыл взять, мне все кажется, что она там так и лежит в холодных брызгах, и это вот свойство памяти, не желающей считаться ни с фактами, ни со временем, ни даже с элементарной логикой вещей, хотелось бы как-то «отразить» и удивиться еще раз заложенному в нас стремлению помнить прекрасное, чувствовать его, держать им температуру души выше нормальной.

Когда я кончу книгу, то буду просить тебя ее прочесть с чисто меркантильной целью — чего где напутал? чего где наврал? чего где можно сделать лучше? «Посторонний глаз» тут нужен еще и потому, что так зло я еще никогда не писал, и иногда меня «зanosит»...

* * *

12.12.74

...Извини, что пишу короткой открыткой, — на большее не осталось сил — изработался в доску. Днями заканчивал главу-рассказ о нашем сидении на Тунгуске, она называется «Валлота прекрасная» — это название того цветка, который мы оставили в ручье и который я все не могу забыть...

* * *

(без даты)

Я живу и работаю в глухой деревеньке, и нет у меня тут никаких хороших открыток, вот оторвал корочку от старой телеграммы и на ней поздравляю тебя с весной и великим днем Победы! Здоров будь! И пусть земля наша, мирно прожившая 30 лет, будет и дальше вечно жить мирно, а героизм свирепствует лишь в наших художественных произведениях и на телевизоре бушует!

Я хорошо устроился, дом на берегу реки, тихо вокруг, и если б не болела голова!.. Но увы... Так не бывает, чтобы уж совсем все ладно. Все бьюсь над «Царь-рыбой», и работы еще много. А где сборник-то рассказов? (Виктор Петрович имел в виду первый выпуск «Сибирского рассказа». — Е. Г.) Что-то долго издаете. Пришли мне, ладно, а то ведь не достать...

18.6.75

Привезли мне в деревню «Сибирский рассказ» — спасибо! Книга издана с хорошим вкусом и недорого. Так бы и надо издавать рассказы-то, а не тоненькими худосочными брошюрками... Думаю, что рассказчики во всей стране обрадуются этой книге, я при встрече расскажу о ней Нагибину и Носову, может они чего и соберутся черкануть в прессе.

Я все в деревне, все работаю, все рыбаку «Царь-рыбу» и, слава Богу, вчера наконец начерно написал основную и самую большую главу, которая держала всю книгу, проклятая, почти два года. Теперь вся книжка на разном уровне готовности, в сборе, и стало легче, хотя работы еще очень и очень много, но умри — а нынче книгу надо сдавать! Купил дом, машину и все деньги вытряс. И дом, и машина создали мне возможность жить независимо, более или менее, совсем не видеть «добреньких» вологодских корешков и вообще быть наедине с собой и природой — это куда как приятней. Деревня моя маленькая, тихая, славная, 90 км от города, на берегу реки. Может, когда и побываешь? Большая, и очень, потребность у меня в том, чтобы ты прочел «Царь-рыбу» еще до редакции и подсobil мне в смысле геологов, точности в описании местностей, вот, к примеру, все почти действие написанной главы происходит на р. Курейке, а я заглядывал лишь в ее устье, да и то еще парнишкой, до войны. Думаю, в сентябре-октябре прийдет такая пора. Как у тебя в эти месяцы со временем?

Сам-то я пишу медленно, а читаю того медленней, и чтение для меня не менее трудная работа, поэтому и обо всех думаю, что им нужно уйму времени и сил, чтобы прочесть рукопись. А есть читают-строчат некоторые по книге за вечер! Я же «Братьев Карамазовых» читал целую зиму!

В августе я думаю податься на Байкал, вдосталь полюбоваться на это, воистину, «священное диво», ибо в прошлом году только раздражился двумя-то днями, подивоваться надо...

Но до этого надо съездить за отцом в Астрахань. Овдовел, бродяга, снова, надеюсь, в последний раз — еще одна терпеливая и многострадальная русская баба с облегчением закрыла глаза, оставляя моего папу одного на этом бурном свете! Вот везло человеку, гуляка, бабник, хлюпкий здоровьем, болтушок, ну из ветреных наиветреннейший, а бабы ему все попадались, как ломовые лошади, и тащили его, непутевого, на шею и спине!..

Теперь совсем он беспомощный, сплнет, надо брать к себе, остальные дети, от мачехи, и слышать о нем не хотят.

Лето у нас всякое стоит; главное, все растет хорошо, и главное, мне пока работается, хотя и трудно...

10.11.75

Нет, никто еще не читал «Царь-рыбу», кроме отдельных глав, и читать не мог, я все мучаюсь с нею. И до того устал, уделался, что и бросить рад бы, да авансы не позволяют. Это мне наука — не писать длинные вещи да еще из отдельных глав-рассказов, так и с ума сойти можно. Делаю последний заход...

Все лето я пробыл здесь, в деревне, за столом, лишь в октябре, обалдев до беспредельности, ходил через день с ружьем в лес и пострелял... но сейчас настал короткий день, и мерзкая погода и все те деревенские прелести, которые так милы сердцу отпускника, начинают оборачиваться своей обыденной и отнюдь не привлекательной стороной — тоска, глушь, темь, жизнь по углам, по избам угарным, жарким, возня со скотом, она очень непростая, крестьянская жизнь, в ней всегда было много работы, дней много одинаковых, и к этой жизни простой и заполненной великими трудами и хлопотами о хлебе насущном нужна привычка, и понимание ее, проникновение в ее сущность делает чело-



века, особенно пишущего, терпеливей к людям, упорней в работе, помогает не обращать внимание на мелочи и суету, словом, пособляет быть серьезней, ибо весьма и весьма серьезна сама крестьянская жизнь... Я давно пережил младенческое лит. честолюбие, насадная работа все постороннее отмела, съела, отравила, ничего кроме усталости и раздражения в душе уж не осталось, сожалею, еще раз сожалею, что не пошел по «детской линии» в литературе, писал бы в свое удовольствие, а не в насаду.

Отчего мне перестал писать Коля Волокитин? Он что, в обиде на меня за что-то? Много обиженных стало, мне бы хоть на кого обидеться, может, легче б на душе и в работе стало. И я, правда, почти никому не пишу, даже с праздником не мог поздравить — нет сил, старею, изнасился...

Во второй половине декабря я получил наконец объемистую бандероль. Обычную, даже, кажется, не «ценную»; обычная оберточная бумага прятала под собой самую обычную канцелярскую папку белого цвета с тесемочками. Раскрываю — «Виктор Астафьев. Царь-рыба. Повествование в рассказах». Обычные машинописные страницы, второй или третий экземпляр. Будто обычная самотечная рукопись легла на мой редакторский стол. И письмо.

10.12.75

Дорогой Женья!

Ну вот и закончил, кажись, я «Царь-рыбу», лишь сегодня, 10 декабря, «подбил бабки» и науки — не писать «толстые» вещи, да еще невыношенные, которые т. е. не знаешь «наизусть», — теперь мне надолго хватит. Дурь дурью вышибается!

Что мне от тебя нужно?

Уточнения всякого рода по географии, по геологии и т. д., но ты будешь одним из первых читателей этой вещи, а ты ведь не просто писатель, но и редактор, и профессия есть профессия, чего по ходу обнаружишь — критикуй. Я профессионально отношусь к своей работе и стою, значит, выше всяких капризулек и обид, стало быть, замечания твои мне просто могут пригодиться и помочь, ведь никакой еще редакторской и цензорской работы над рукописью не было. «Сон о белых горах» смотри особо придирчиво, он всего лишь после двух заходов тут, пусть и тщательных, тогда как все остальные деланы по 5—6 раз. Ну и любопытно мне твое мнение вообще, а о главе, которой ты был свидетелем, в частности...

Очень устал. Одно желание ничего не писать. Не видеть никаких букв, наладить сон и расслабиться мускулом.

Кланяюсь! С Новым годом тебя и твое семейство.

Твой Виктор Петрович.

Редкая мне выпала удача — читать «Царь-рыбу» в рукописи, до редактирования, без всяких сокращений и изменений, то есть в том виде, в каком она писалась. В таком виде она и врезалась мне в память. А потом уже, читая журнальную публикацию, листая книгу, я только похмыкивал про себя — ладно, что так, могли ведь и пожестче обойтись...

Рукопись я прочитал дважды. Первый раз — залпом, на одном дыхании, второй раз уже внимательней, приглядываясь и примеряясь, что на мой вкус не так, к чему бы «прицепиться», редактор все же. Но пришлось сознаться самому себе, что этот автор мне не по зубам. Несмотря на сложные многоступенчатые фразы, долгие периоды, обилие областных словечек, какие и у Даля не всегда сыщешь, придраться было в смысле стилистики не к чему. А краски, детали, словесная живопись — нет, это была проза с большой буквы! Я уж не говорю



о мощном ее гражданском заряде, о «печали и гневе», которые водили рукой автора и принесли ее создателю Государственную премию СССР, а затем и все-европейскую известность...

И все же, не считая мелочей, одно существенное замечание у меня было. Касалось оно образа супермена Гоги Герцева — единственного во всей книге резко отрицательного героя, к которому и автор, чувствовалось, испытывал устойчивую неприязнь и презрение. Улавливались в этом подонке многие черты и черточки современного горожанина-«полуинтеллекта». Ну а заодно Виктор Петрович по всей интеллигенции проехался, презло и ехидно, как это он умеет. Вот против этого я возразил.

Вообще-то у нас в свое время уже был спор на эту тему, и я пытался поколебать Виктора Петровича в таком отношении к многоцветной и волнистой нашей «прослойке», к коей и сам принадлежу, доказывал, что все-таки главный его читатель — интеллигент...

6 января 1976 г.

...Лишь сегодня, шестого, очухавшись и отпихавшись, я просмотрел рукопись с твоими пометками и сказал себе «молодец» за то, что догадался отправить рукопись тебе, ведь одна неточность насчет геологического ин-та в Новосибирске, в случае ругани этой вещи (а она, я думаю, не минет), была бы таким курьезом. И все остальное мне очень поможет и пригодится, хотя бы сведения насчет Графитового поселка на Курейке или уточнения географические и геологические. «Сон» я, вероятно, сильно сокращу, и тогда «пунктик» мой несколько уменьшится. «Пунктик» этот, Женья, в мужике что заноза. Я ведь знаю о нем, а вот не могу сладить, и все тут, хочу я побить морду интеллигенции, особенно по отдельности, к настоящей-то интеллигенции мужик всегда был почтителен и, главное, умел ее точно угадывать, а я какой интеллигент, Женья?! С прибавками «народный», «природный» — это уже собирательное что-то, как современный дом, он вроде бы и дом, и живет в нем, а в то же время конструкция и никакой не дом, похожий ликом на хозяина, хрустящий, кряхтящий, задумчивый к старости, весь из дышащего дерева...

Спасибо тебе, Женья, за прочтение-то! Может, ты и привычен, а мне такую толстую рукопись месить читать. Накопилось вон полный их подоконник. Я тут еще с театром связался и много всяких других обязательств на себя навешал. Ну дурак, так что поделаешь! И мямля! Был бы бабой, так всего бы испилили, одни опилки бы остались...

За поздравления тоже спасибо!

Гогу переведу в Томск. Ярлыки сыму с него. Все еще сделать не поздно, особенно для книги...

Мне часто приходилось слышать или читать об отдельных произведениях, что вот-де появление их стало событием в литературной жизни, имя писателя у всех на устах и так далее. Вполне может быть, за всем не уследишь. Но вот что «Царь-рыба» приковала к себе всеобщее внимание — это я действительно могу свидетельствовать. Успех ее был ошеломляющ. До нее Виктор Астафьев был известный писатель, после нее стал знаменитым. Его гнев, его печаль, его любовь нашли созвучие в миллионах сердец, читатели отблагодарили его таким признанием, которого удостоиваются очень немногие. Счастье, когда эта заслуженная, выстраданная слава приходит к писателю при жизни. Виктору Петровичу она не вскружила голову, не добавила заносчивости или чванства простецкой его натуре. Он оказался выше этого, устойчивей. Известность и слава — награда Астафьеву за подвижнический изнуряющий труд. Знать, что тебя почитают и

поддерживают соотечественники, что тебе дано владеть их умами, — есть ли награда выше этой?

Тем не менее ореол легендарной личности Астафьеву создали не только его художественные произведения. Вот, к примеру, одна из историй, рассказанная мне непосредственным участником ее (и «козлом отпущения») Эдуардом Владимировичем Бурмакиным, в ту пору кандидатом философских наук, писателем, членом Томского горкома КПСС.

В самом начале 80-х при Томском университете, где Бурмакин читал лекции по диалектическому материализму, решено было открыть народный университет культуры. В качестве «свадебного генерала», дабы придать происходящему солидность и вместе с тем народность, пригласили маститого писателя Астафьева. Персональную ответственность за мероприятие возложили, естественно, на Бурмакина.

Самолет прибыл утром, в аэропорту Астафьева встречал завотделом культуры обкома партии. Виктор Петрович прилетел один. Это позже, когда здоровье его серьезно пошатнулось, писателя везде сопровождала Мария Семеновна, супруга.

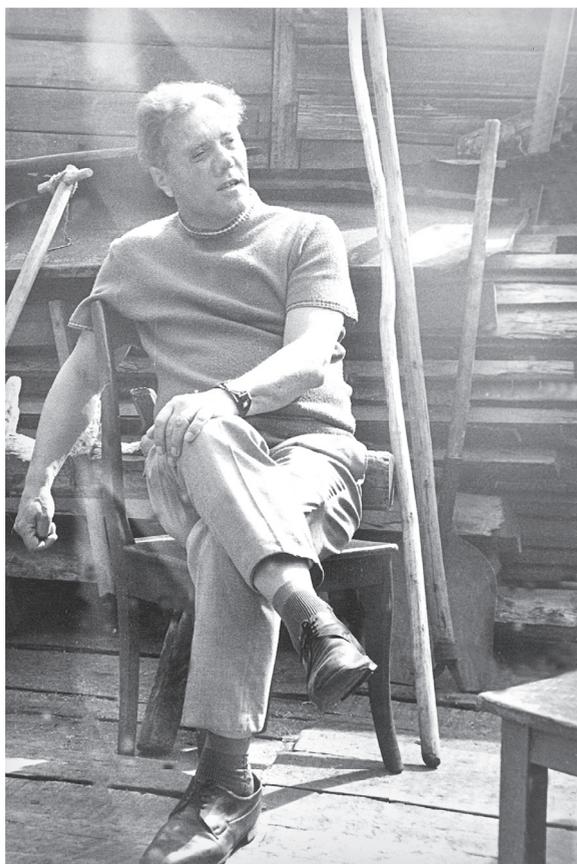
Дорога от аэропорта до города занимает минут сорок. Завотделом, расположившись с уважаемым гостем на заднем сиденье обкомовской «Волги», стал ненавязчиво делиться со своим спутником некоторыми проблемами партийного руководства. В самом деле, многотрудная это задача — втиснуть в прокрустово ложе идеологии развитого социализма пеструю культуру старинного университетского центра, Сибирских Афин, как называли Томск, четверть населения которого — студенты вузов и техникумов.

Утомленный перелетом, Астафьев слушал, рассеянно кивал. Но тут завотделом, с ухватками опытного докладчика обрисовав общую картину, взял быка за рога и повел речь о том, какую помощь мог бы оказать партийному руководству уважаемый писатель, если бы в своем выступлении остановился на том-то, том-то и том-то. Виктор Петрович набылчился. Он не любил, когда его брали за рога и даже когда просто прикасались к ним. Однако завотделом не заметил этой перемены в настроении писателя и продолжал гнуть свое.

Астафьев не сказал ни да ни нет, но в гостиницу прибыл в раздражении. Время было обеденное, и Виктор Петрович для расслабухи принял коньячку в ресторане и в номер прихватил с собой кое-чего. Немного отдохнул с дороги, а потом набежали радушные томичи и увлекли за собой.

От гостеприимства томских писателей не так-то просто отделаться, мало кто уходил от них на своих ногах. Но в данном случае все помнили, что вечером у Виктора Петровича ответственное выступление. Да и сам он крепок на выпивку, неоднократно имел возможность убедиться в этом: сколько бы ни принял, походка тверда, голова ясная, хрипотца в голосе исчезает, и лишь на выдубленных скулах появляется чуть заметный коричневатый румянец, а в поведении — легкий кураж. В таком состоянии и прибыл Виктор Петрович на торжественное мероприятие.

В актовом зале госуниверситета — битком; в основном, конечно, студенчество. Астафьева здесь знали и почитали, перед этим он бывал в Томске и провел несколько выступлений по линии Бюро пропаганды художественной литературы. Сам же он свободно выступал перед любой аудиторией, и его раскованная, образная речь везде встречала живой отклик. Так было и в этот раз. Специально он почти никогда не готовился, полагался на свой дар импровизации. Впрочем,



Виктор Астафьев

самого выдающегося политического деятеля современности, самого выдающегося ученого и самого выдающегося писателя. Отвечу так: выдающегося политического деятеля я не могу назвать ни у нас, ни за рубежом. Нет их просто...

Зал притих. Это было смелое заявление, очень смелое, чтоб не сказать дерзкое. Еще жив был Л. И. Брежнев, «выдающийся политический деятель нашей эпохи», «верный ленинец» и т. д.

— Насчет ученых, — сказал далее Виктор Петрович, — вопрос сложный. Они у нас есть и всегда были, во все времена, но мы их не знаем, все они сидят по «почтовым ящикам»...

В зале засмеялись и захлопали. Эти «ящики» имелись и в Томской области, и молодежи лестно было сознавать, что где-то неподалеку живут, трудятся и дышат одним с ними воздухом наши советские Резерфорды и Нильсы Боры.

— Что касается писателей, — продолжил Виктор Петрович, — то я могу назвать два имени. Это Габриэль Гарсиа Маркес и Александр Исаевич Солженицын...

У студиков поотвисли челюсти, а потом грянул шквал аплодисментов. Приветствовали человека, писателя, в чьей честности и гражданском мужестве никто не сомневался, и великолепные эти качества нашли сейчас еще одно подтверждение. Дело в том, что Солженицын в те годы считался злейшим врагом советской власти (он и сейчас им остался) и его имя запрещено было даже упоминать, тем более в таком контексте...

темы, предложенные ему на заднем сиденье черной «Волги», он все же затронул. Что поделаешь, жизнь есть жизнь, приходится соблюдать правила игры и не позволять себе так уж сильно зарываться. А может, вспомнив настырного завотделом, Виктор Петрович подумал: «Ладно, я на тебе все равно высплусь».

Когда он закончил, посыпались вопросы, устные и в виде записочек. Томское студенчество всегда было политизировано, и вопросы так или иначе касались жизни страны и общества. Виктор Петрович отвечать не спешил. Устные вопросы записывал, бумажные — рассортировывал. А потом подошел к микрофону.

— Вопросы ваши, — сказал он, — в общем, группируются по трем направлениям. Вы просите назвать



Потом были цветы, раздача автографов и все такое прочее. И не ждал писателя Астафьева у подъезда университета черной «воронок», и ночью он себе мирно посапывал на широкой кровати гостиничного «люкса». Зато бедному Эдуарду было не до сна. Около десяти вечера к нему домой позвонил секретарь горкома, которому уже «настучали», и пригласил завтра на бюро, где будет рассматриваться персональное дело одного чудака на букву «м», который не оправдал доверия партийного комитета и провалил порученное ему мероприятие. Эдуард глотал желатиновые капсулы с валерьянкой, сосал валидол и мучительно искал оправданий. В самом деле, что он мог поделаться? Как и каким образом предугадать непредсказуемый ход мыслей знаменитого писателя? Затыкать ему рот? Силом стаскивать с трибуны? Слово не воробей, поймают — вылетишь...

И на самом деле чуть не вылетел Бурмакин из партии, никакие оправдания не были приняты. Выручили только лишь прежние заслуги, отделался «строгачом».

А вот у Виктора Петровича день выдался удачный. Его по собственной инициативе принял первый секретарь обкома Егор Кузьмич Лигачев. Астафьев шел на аудиенцию неохотно, уверенный в том, что «генерал-губернатор» станет пенять ему на вчерашнее выступление. Ничуть не бывало! Они поговорили о литературе, причем Егор Кузьмич выказал хорошее знание предмета, и Виктор Петрович постепенно расслабился. Оказалось, что Лигачев читал многие вещи Астафьева и имел по поводу их собственное мнение. Потом Егор Кузьмич рассказал гостю о перспективах Томской области и здесь тоже продемонстрировал полную свою компетентность и широту кругозора. О вчерашнем инциденте не было сказано ни слова. Виктор Петрович вышел из кабинета в приподнятом настроении и, обычно сдержанный на похвалу, сказал позже в кругу томичей:

— Толковый мужик ваш первый. В экономике разбирается, в технике и зла не держит. Политический руководитель таким и должен быть. Теперь всегда буду к вам приезжать...

Но больше Астафьева в Томск не приглашали. Вскоре и Лигачев переехал в столицу, и в народе по этому поводу долго сокрушались: дескать, что у них там, в Москве, своих не нашлось? Человек столько сделал, а его раз — и сдернули с места!

Да, прекрасную память оставил о себе первый секретарь Томского обкома КПСС Е. К. Лигачев. А уж за одно то, что квартиры писателям давал, ему надо при жизни памятник поставить! Прискорбно только, что литераторы, которых он одаривал полноценным жильем, а потом и их жен по первому, второму, а то и третьему разу, отплатили своему благодетелю черной неблагодарностью. Воистину верно сказано в адрес таких амбициозных личностей: «За что он меня ненавидит, я ведь ему ничего хорошего не сделал»... Листал я как-то книжицу тогдашнего предводителя томских писателей, нашего общего друга, «ндравного» Володи Колыхалова. Руки потом захотелось помыть, хотя ему-то как раз больше всех перепало милостей от Лигачева, в том числе дачный участок в заповедном кедровом бору. Называется сей опус «Когти дьявола», но точнее было бы другое название: «Я и Лигачев». Подзаголовок — «Тайны томского “двора”». Датировано девяносто вторым годом — время, когда прохиндеи, проникшие в партию ради карьеры и привилегий, панически бежали из ее рядов (так и хочется ввернуть банальность — «как крысы с тонущего корабля»), публично сжигали партбилеты и т. д. Интересно, что они запоют, как станут юлить и выкручиваться, если вдруг коммунисты снова придут к власти?

Ну да господь с ними, с этими областными классиками. Упомянул о них только затем, чтобы ярче оттенить личность Астафьева. В одном с ним регионе жили, одним воздухом дышали, и способностями не обделены, а вот поди ж ты!..

Близилось шестидесятилетие Астафьева, и «Сибирские огни» заказали мне материал о нем. Я обратился к Виктору Петровичу за разрешением использовать для этой публикации его письма ко мне и, как уже указывалось, такое разрешение получил. Когда статья была готова, я послал ему машинописный экземпляр.

В августе того же года «имел быть» и мой скромный юбилей — пятидесятилетие, и Виктор Петрович откликнулся большим дружеским посланием. Начало опускаю — там сетования на болезнь, неустроенность быта — кому какое дело до этого. Начну сразу с четвертой страницы.

<...> Статью твою читал в больнице. Поскольку свои письма я никогда и нигде не печатал, то удивился — они довольно складно писаны и даже смысл в них какой-то есть. А ведь пишутся чаще второпях, после изнурительной работы. Всем тут статья понравилась, и они даже часть ее напечатали в «Крас[ноярском] рабочем» («Красноярский рабочий» — газета, орган крайкома КПСС. — Е. Г.). «Они» — это, сам понимаешь, отцы наши и благодетели, без которых померли бы мы, что сироты беспризорные, околели бы.

Вот, Женя, и пообщался я с тобой.

Да-а, главное-то забыл! У меня появился замечательный кореш — командир почтового катера № 4, который приписан к Туруханску. Шарится энтот катер по всем притокам, и по Эвенкии, и по Тунгуске, и по Енисею. Зовут меня, зовут, а тут погода-то уж больно уж. Я боюсь со своими легкими на воду соваться, а хочется. Так, может, будущим летом, а?.. если войны не будет, если здоровье будет, если...

А сейчас, у конце, обнимаю тебя в день пятидесятилетия и хочу утешить: трудно только первые полвека, а потом уж ничего, потом уж само собой как-то катится вперед, и время, и тело, и душа, и пис[ательские] дела, и дети куда-то деваются, и жена отдельно спит, не пристаёт с разговорами о проблемах социализма, и париться в бане нельзя, курить тоже, и выпивать вредно, ну и т. д. и т. п. Блаженное времечко! Даже помочиться и то не манит, а уж по-большому сходить — праздник, осанна, марш Мендельсона надо заводить в честь такой победы!

Только и остается — думать, но об чем? Вспоминать старые грехи и наслаждения? И сожалеть, что и того, и другого мало накопилось, как-то пустоват рюкзачок, да и дырват, как горькие луковицы, выкатились из памяти и из заплечного багажа нищенские воспоминания о радостном-то, и оказалось лишь детство, малые дети, внуки и несколько добрых, прекрасных женщин, пожалевших и приласкавших тебя на этом кочковатом пути. Еще, и еще, и еще кланяюсь тем женщинам и люблю их сейчас больше, чем когда-то, и думаю, что для них, уже старых, больных и усталых, сделать? Чем отблагодарить за редкие минуты так и не понятого, не оцененного тогда, на скаку, на бегу, счастья?

Только и остается, что на бумаге не обливать их говном, и если даже они были кем-то обвалены в помоях и говне бытия, облизать их собачьим, преданным языком и показать людям в том виде, в каком представил их нам Создатель. Много у меня будет бабенок в военном романе, будут и лихие, и блядовитые, и «изменщицы», но, думаю, Бог, вложивший перо в мою руку, уберезит меня от зла и поклепа на женщин, которыми так отличается современная «молодая» литература и, что совсем уж горько, — поэзия, та самая поэзия, в которой брошенный женщиной мужик имел благородство пожелать ей: «так дай вам Бог любимой быть другим!»

Дичаем, видно, не медленно, а ускоренно и верно?..

Ну, живи долго! Здоров будь сам, и главное, пусть дома все будет хорошо. И пусть мир над головой и в душе царит, и чтоб в будущем году в Туруханск съездить.

Обнимаю — Виктор Петрович.

5 августа 1984 г., с. Овсянка

Р. С. Был у меня днями проездом на север с женою Юра Бондарев, понравилось ему все тут, и он сказал: «Теперь я понял, почему ты на родину вернулся...»

Однако ни в будущем году, ни позже в Туруханск нам не удалось съездить. Виктора Петровича с головой захлестнула работа над романом о войне, да и широкое общественное признание ко многому обязывало. Подробные, обстоятельные письма в мой адрес уступили место дарственным надписям на присылаемых книгах, почтовым открыткам. В одном из своих коротких посланий Виктор Петрович уведомил меня, что машинописный экземпляр «Царь-рыбы» с моими пометками он передал в архив Института мировой литературы.

А спустя несколько лет, уже к моему шестидесятилетию (вот память была у человека!), он прислал дорогой подарок — вышедшую в Красноярске в первоизданном виде книгу со стилизованным изображением осетра (не знал, что В. П. еще и рисует) и автографом: «Жене Городецкому нашу рыбу, уже целиком выловленную, — на уху и на доброе здоровье».

В книгу была вложена открытка:

Дорогой Женя!

Наконец-то издал целиком «Царь-рыбу» — свобода, бля! — и счел своим долгом тебе, как соучастнику и в какой-то мере соавтору, послать книгу. Живу напряженно, в трудах тяжких. Закончил вторую книгу романа «Прокляты и убиты», идет в 10 — 12 номерах «Нового мира» (журнальный вариант). Книга эта взяла столько сил, что не знаю, хватит ли остатков меня и моей жизни на третью, чтобы закончить и вывезти этот, почти непосильный груз, в гору. Есть и еще замыслы, полегче. Хотел даже написать книгу «По следам царь-рыбы», но глянул окрест и понял, что сердце мое не выдержит сего матерьялу, разорвется. Обнимаю тебя, желаю и прочая. Черкни о получении книги — воруют.

Твой Виктор Петрович.

24 августа 1994

г. Красноярск

Всего же за годы нашей переписки у меня скопилось около сорока писем Виктора Петровича. Бесценное наследие!

Между поколением Астафьева и моим временной разрыв невелик — какие-то десять лет. Миг вечности, если соотнести их с историей; целая жизнь, если вспомнить, что десятилетие это вместило войну. Старше на целую войну!

Военная тематика, подходы к роману «Прокляты и убиты», сам творческий процесс — особая тема, она выходит за рамки этих заметок. Из писем, очерков и устных рассказов Виктора Петровича знаю, что он состоял в переписке и с однополчанами, и со многими ветеранами Великой Отечественной, вот им и карты в руки. А также премудрой нашей критике. Может, найдется человек, который все это сведет воедино.

Замечу лишь, что после того, как роман «Прокляты и убиты» увидел свет, на седую голову автора посыпались упреки — «окопная правда» многим оказа-

Дорогой Миша! 24 февраля 1984г.

Я обещать старую, презвещать, февраль не
и тогда и обещать старую воссоздать на-
конец, я еще только с привычкой, но мне
от себя выдираться из тех восста-
ний, а было воевать не только измучи-
вас, но и было чуждого и чуждого, из
идеи и выдираться и может не доса-
дасть своим, неодолимым, а я обещал
я к восстаниям, как к неодолимым,
была у меня была не чуждого, но
дети её, в основном воевать, была
крепко, чуждого и чуждого.

Я, видите, давно себе не писал, или кто
не получил моего письма? А можете я
чуждого чуждого писем? Было со
много писем писем, я спросил у
Миши: «Мать, а как себя зовут?..»
она первая дружелюбно мне я все пов-
седневный вопрос, но как вспоминаю, что
я дружелюбно мне я как-то же дружелюбно
мне к своему другу, а кто и не
мне мне вспоминаю, что кто и не
вспомню, но вспоминаю сейчас мне не
напоминаю себя, а человека не
напоминаю мне и кто дружелюбно
чуждого, но и вспоминаю к своему другу
ру со всей серьезностью! Видно из 1984г.

Страница письма В. Астафьева Е. Городецкому. 1984 г.

лась не по нутру, в том числе и ветеранам Великой Отечественной войны. Ну и без партийцев, конечно, не обошлось. Эти господа-товарищи из краевой думы не упустили возможности устроить Астафьеву подлянку — взяли и зарубили ему персональную надбавку к пенсии, а она пожилому и больному писателю на лекарства предназначалась. Добрые люди в Москве, к счастью, исправили эту несправедливость, а думцы осрамились на всю страну.

Недолго пользовался Виктор Петрович жалованной ему надбавкой. Как знать, может, эта думская несправедливость и оказалась последней каплей в горькой чаше его бытия. Но он испил ее до дна.

Астафьева называли народной совестью, живым классиком. В Овсянке у него бывали первые люди государства. Теперь он просто классик. Классик русской литературы конца XX века. И те тысячи красноярцев, которые шли и шли к зданию краеведческого музея, чтобы проститься со своим великим земляком, — лишнее доказательство того, что российская словесность, когда она прорастает из души и сердца писателя, когда ее питают печаль, гнев и любовь, всегда найдет живой отклик у своего народа.

*Новосибирск,
декабрь 2001 года*



Народные мемуары

Вячеслав ИГРУНОВ

ХРОНИКИ ДОЛГОГО ДЕТСТВА

Игрунов Вячеслав Владимирович родился в 1948 г. в Житомирской области. Российский политический деятель, участник диссидентского движения в СССР, создатель первой в СССР библиотеки неподцензурной литературы.

С 1965 г. занимался политической деятельностью. Организатор нелегального марксистского кружка, в котором обсуждались вопросы преобразования советского общества. В 1975 г. был арестован по обвинению «в хранении, изготовлении и распространении клеветнических материалов о советском общественном и государственном строе». В защиту Игрунова активно выступал Андрей Сахаров.

В 1993 г. Игрунов стал одним из основателей партии «Яблоко». Был депутатом Госдумы I—III созывов. Осенью 2001 г. вышел из «Яблока», заявив, что партия превратилась в «команду обслуживания несостоявшихся амбиций одного человека» (Г. Явлинского).

В настоящее время — директор Института гуманитарно-политических исследований (ИГПИ).

На Пироговской

1.

Уже темнело, когда наш грузовичок, пробежавший за день больше шестисот километров, въехал на одесские улицы. От моего визита в Одессу в 1951-м остался только сон да воспоминание о женской бане, куда мама водила меня купаться. Я испытал потрясение только тогда, когда мы въехали в подворотню дома на Пироговской, где мне предстояло прожить несколько лет и стать одесситом. Неожиданно резко стемнело. Подняв голову, я увидел кроны лип, смыкающихся где-то у самого неба, а за стеной деревьев ввысь устремлялись серые каменные стены со светящимися окнами. Мне померещилось, что где-то там, недостижимо высоко, двор накрыт огромной стеклянной крышей. Проснувшись утром, я выбежал еще раз посмотреть на этот прозрачный свод, но, увы, он отсутствовал. Над кронами деревьев синело глубокое южное небо.

Конечно, «прекрасный» дом представлял собой хорошо ухоженный барак, а его «большие» окна казались большими только по сравнению с крохотными оконцами нашей первой андрушёвской хаты. В одесской комнате было окно размером едва ли не полтора на два метра. Но в Андрушёвке я спал в отдельной комнате, а на кухне, любимом месте всей семьи, красовалась огромная русская печь с плитой, где и летом, и зимой волшебным образом завывало пламя, а на лежанке постелено одеяло и сложены початки кукурузы, мешочки с сахаром и крупами, сушеными яблоками и черникой. Живя в Одессе, я вспоминал свою Андрушёвку как потерянный рай и, когда стал мечтать о сыне, знал, что он должен провести первые годы своей жизни в деревне, где бы он мог утром выбежать на луг, поросший высокими травами, убежать в поле и босыми ногами осторожно ходить по стерне.

Пройдет совсем немного времени, и я буду любить Пироговскую, не буду хотеть переезжать на новую квартиру — и так будет теперь всегда, по крайней мере до Москвы, — но это окажется свойством моей консервативной природы, а вовсе не свидетельством прелестей нашего нового жилья. Нам предстояло жить в тесной квадратной комнате площадью в четырнадцать метров. <...>

В коммунальной кухне наша семья владела столом с примусом. Впрочем, нам принадлежало две конфорки на газовой плите, но временами их не хватало или их занимали соседи, поэтому примус горел довольно часто. Этой четырехконфорочной плитой пользовались четыре семьи, в то время как другая такая же плита принадлежала только одной семье, состоящей из пяти человек. Им также принадлежала поверхность большой кафельной плиты, не разрушенной при газификации и служившей столом. Вообще эта семья держала себя по-господски, совершенно не скрывая своего презрения к остальным. И, видимо, другие жильцы нашей квартиры признавали за ней такое право, лишь иногда пытаясь взбунтоваться. Бунт никогда не достигал цели.

Я не знаю, почему мать этого семейства, старуха Компрадт, главенствовала в квартире, но именно она устанавливала правила жизни. Она, кажется, всегда жила благополучно и считала это нормой. Компрадт насмешливо смотрела на нас, нищих, которые жарили картошку на подсолнечном масле: себе она никогда не позволяла подобной гадости. Что бы ни жарила, она использовала только сливочное масло, причем купленное не в магазине, а на рынке, вдвое дороже. А мы даже магазинное сливочное масло не могли себе позволить класть на сковородку. Когда я нашел на стадионе — обычном месте наших игр — среди досок за трибунами пять рублей, я купил в магазине сто граммов сливочного масла, сто граммов масла шоколадного и немного конфет: все это одинаково почиталось за лакомство. Куриный суп или — предел роскоши — цветная капуста ordinarily присутствовали в меню Компрадт. Наша семья могла позволить себе курицу только по праздникам. Но мы еще признавались относительно ровней Компрадтам. Отец даже приятельствовал с сыном Компрадтихи, Толей, и его женой Ниной, а я иногда бывал в их двух комнатах, играя с Олегом, сыном Толи, чего ужасно не одобряла старуха Компрадт, которая видела во мне деревенщину.

Остальных жителей квартиры Компрадт считала черню. Напротив нашей комнаты жил дворник с женой и сыном Игнатом. Дворник вскоре умер, сын женился и завел ребенка. Их комната, побольше нашей, выходила на черный двор. К тому же имела выход на террасу. И это все комнаты нашей квартиры. Одна женщина жила в бывшей ванной, где, понятно, могла разместиться

почти одна только ее кровать. Эту женщину почему-то особенно ненавидела Компрадт. Через несколько лет после того, как мы съехали на новую квартиру, несчастная жилища сошла с ума. Видимо, условия жизни в коммунальных квартирах способствовали помешательству — в доме обитало довольно много слабоумных. Кстати, жена дворника, унаследовавшая должность мужа после его смерти, тоже вскоре сошла с ума, и ей постоянно казалось, что мои родители травят ее газом.

Еще одна семья — мать со взрослой дочерью — ютилась в бывшей кладовой рядом с кухней. Как они там помещались, один бог знает — мне никогда не приходилось у них бывать. Эти очень тихие люди от одного окрика Компрадт умолкали или, если могли, прятались в своей комнатенке, закрывая дверь на щеколду. И ванная, и кладовая прижимались к туалету, который условно можно назвать ватерклозетом, поскольку каждый посетитель носил с собой ведро, чтобы сливать воду.

Двери клетушек выходили в темный коридор, освещение в котором, как и перед дверями барских комнат, появилось году в пятьдесят седьмом или восьмом, тогда же, когда появился свет над входной дверью в нашу коммуналку. Множество скандалов происходили из-за этих трех лампочек в двадцать пять свечей. Порой кто-то забывал выключать то ту, то другую, и, когда наступал час платить за свет, Компрадтиха, на счетчик которой замыкались лампочки, выкатывала счет. Нам приходилось платить копеек шестьдесят-семьдесят, а один раз Компрадт потребовала рубль сорок, после чего моя мать взбунтовалась, и отцу пришлось вмешиваться, чтобы ссора прекратилась, — но и он возмутился.

Кажется, в доме была еще одна каморка, вход в которую прятался между кухонной дверью и дверью комнаты Компрадт, где жила одинокая молодая мать с ребенком, но я это совершенно запамятовал. Однако моя сестра, гораздо позже моего бывавшая на Пироговской, напомнила об этом.

Зигагообразный коридор вел от парадного входа на кухню. Его загромождали какие-то старые вещи и доски. Однажды мой отец застал меня за опасным развлечением. Как раз на изломе коридора, там, где собирался хлам, я размахивал в темноте тлеющими палочками, и они оставляли в воздухе огненные ленты и петли — чудесное зрелище. Отец, увидев это, пришел в ярость — конечно же, он вспомнил, как два или три года назад я чуть не спалил хлев в Андрушевке, — и, схватив меня за пояс, поволок в комнату. Чиркнув по дороге моим лицом по стене так, что стесал мне два нижних резца, он устроил мне страшную порку.

Физическая расправа считалась обычным воспитательным средством в моей семье. Одно время меня били едва ли не каждый день, а то и не один раз на дню. Причем не только отец устраивал жестокие порки — а бил он, не глядя, ногами или, сжав мою голову между колен, порол ремнем, — но и мать. В шкафу у матери висел белый резиновый пояс с продольными рубцами, который использовался в воспитательных целях. Он оставлял на моем теле розовые и синие полосы, и я страдал не только от жгучей боли, но и от стыда, стесняясь переодеваться в школе перед уроками физкультуры. Дети нашего двора смеялись надо мной, и это вызывало во мне чувство ущербности. <...>

Наш двор представлял собой идеальное место для советского ребенка, оторванного от родителей и предоставленного самому себе. Жилые корпуса охватывали двор кольцом, оставляя проходы на черный двор, где, кроме нас, детей, редко встречался кто-либо. Черный двор, «черный ход» в нашей лексике, и был



Вячеслав Игрунов с отцом

основным местом моей жизни тех лет. В тесные подъезды черного двора вели выходы из кухонь, откуда мы, попадая на лестницы, забирались на чердак или в подвалы, хотя и не соединенные насквозь, как чердаки, зато имевшие подземные лазы; и все было устроено так, что знающий топографию наших домов мог обойти все пространство, не выходя на божий свет. На узких лестничных маршах черных подъездов царили грязь и запустение, а в торцах корпусов дома № 5 я обнаружил крохотные чуланы метра полтора-два площадью, либо не используемые вовсе, либо служившие местом сбрасывания разного хлама, который жильцы не решались выбросить одним махом. Там я находил книги, явно мне не по возрасту, которые и читал; некоторые из них были довольно ценными. Там мы с девочкой Нилой из пятого дома продолжили изучение анатомии. Там базировался штаб нашей тимуровской организации. На черном дворе дети из наших домов устроили самодеятельный театр, и на спектакль «Буратино» пришли посмотреть даже некоторые родители. Меня, чужака, никто в «труппу» не приглашал, я оставался всего лишь зрителем, но пример ребят, практически моих сверстников, вдохновил и меня на организацию детского кружка, но уже со школьными товарищами.

...Скандалы между семьями сопровождалась скандалами внутри семей. Моя мать часто ссорилась с нелюбимой свекровью, да и у меня с отцовской матерью не сложились отношения. Ее однообразная жизнь неграмотного и лишённого всякого любопытства человека вызывала во мне отторжение, а ее раздражал я, и она находила поводы, чтобы толкнуть меня или запустить игрушечным автомобилем прямо в голову. Однажды, когда мне было лет десять-одиннадцать, она довела меня до того, что я бросился на нее со столовым ножом и, повалив на кровать, пытался пырнуть. На ее крики прибежали соседи и оттащили меня. Бабка с тех пор стала осторожнее, но острая взаимная нелюбовь сохранилась навсегда. И так жили едва ли не в каждой квартире.

Приехав в Одессу, мать занялась поисками работы — отец же возглавлял плановый отдел сахарного завода. Вскоре выяснилось, что устроиться в больницу или поликлинику нет никакой возможности, и это очень огорчало мать, которая не хотела лишаться квалификации терапевта. Пришлось идти на ком-

промисс — устраиваться врачом «скорой помощи», как предполагалось, года на два, чтобы впоследствии, пользуясь знакомствами, занять освободившуюся где-нибудь вакансию. Временная работа обернулась вечной, и мать прослужила на «скорой» до глубокой старости.

Сестру мою как-то очень быстро определили в детские ясли, а я остался предоставленным самому себе. Кроме службы, мать вела все хозяйство, отец практически не помогал ей, а бабка жила как гриб — она часами могла щелкать семечки, бессмысленно глядя в окно. Поначалу она еще готовила какие-то блюда, но после того, как в холодильнике обнаружилось слишком много щетины, чтобы его можно было есть без отвращения, между матерью и бабушкой разгорелся такой скандал, что с тех пор кулинария стала уделом матери. За одним исключением: уступая просьбам отца, рыбу в маринаде готовила баба Ирина — это у нее получалось исключительно хорошо. Максимум, что бабушка соглашалась выполнять, это в дни дежурства мамы отводить внучку в ясли, которые находились в соседнем доме. Впрочем, и эту обязанность довольно часто брал на себя я. Став постарше, лет с десяти, я иногда стал мыть полы в коридоре и на кухне в дни дежурства нашей семьи — и даже старуха Компрадт не имела ко мне претензий.

Так или иначе, я остался без надзора. Я плохо помню, чем занимался летом 1956 года. Помню какие-то шумные игры поздними вечерами: мальчики бегали, норовя поймать девочек — «пошли на хутор бабочек ловить!». Помню, что мальчишки охотились на котов, чтобы привязывать им к хвостам консервные банки и наблюдать, как те мечутся по черному двору, — в этих играх я не мог принимать участие, они вызывали во мне глубокое отвращение. Но главным событием стало знакомство с Аликом Перекрестовым. Тихий интеллигентный мальчик гулял у наших окон под дружеским попечением бабушки. Иногда бабушка читала ему шикарную толстую книгу «Легенды и мифы Древней Эллады», и я с восхищением слушал рассказы об аргонавтах, о подвигах Геракла. До того мне читали тоненькие книжки советских детских авторов вроде Агнии Барто или Сергея Михалкова. В очень раннем возрасте я выучил наизусть несколько басен Крылова и «Песнь о вещем Олеге». Самую запомнившуюся книжку — «Дети подземелья» Короленко — подарил мне отец, когда я поступил уже в первый класс.

Вообще-то читал я блестяще. Еще в первом классе меня показывали как чудо природы и даже устроили специальный открытый урок, чтобы учителя нашей и соседней школ посмотрели, как может читать первоклассник. Правда, этот урок закончился для меня конфузом. Придя в восторг от моего беглого чтения, директор школы спросил: «Сколько тебе поставить? Пять с плюсом хватит? Или поставить шесть?» Я тогда впервые услышал, что может быть оценка «пять с плюсом». Мне, конечно, было приятно это слышать, но в семье меня учили скромности, и я ответил: «Мне все равно». «Как! — вскричал директор. — А если я поставлю тебе двойку?» — «Мне все равно». — «Ах, вот как! Тогда после уроков ты будешь стоять в углу, пока за тобой не придут родители». Директор сдержал свое обещание. После уроков учительница поставила меня в угол, и директор пришел проверить, стою ли я. Только когда он ушел из школы, сердобольная учительница отпустила меня. И я пошел домой со своим другом, который мужественно дожидался товарища.

По дороге к сахарному заводу мы нашли белую свеклу, которая на наших глазах выпала из кузова грузовика. И приятель немедленно подхватил ее и засунул за пазуху. Черная зависть захлестнула меня: я никогда не пробовал печеной

сахарной свеклы, хотя столько раз слышал, какая это вкуснятина. «Дай мне, ты ведь уже ел, — стал я клянчить. — А я взамен...» Просьбы не возымели влияния, и вместо того, чтобы идти домой, я поплелся в соседнюю деревню, Гальчин, за своим другом, где в темной хате с глиняными полами нас встретила его мать. Узнав, в чем дело, она тут же выпроводила меня: «Ты дохтуркин сын? У вас и так еды полно. Пусть твоя мамка тебя и кормит, а мой всегда голодный, пусть он поест». Во мне что-то обрушилось. Нахлынула горечь — большая, чем от директорской несправедливости. Я поплелся домой. Понимал ли тогда я, с какой нищетой столкнулся? Вряд ли. Ведь не понимал, как на двести рублей зарплаты одинокая мать кормит двоих детей. (Моя мать зарабатывала 600 рублей, а отец — 800.) Не понимал, что макуха — жмых от подсолнечника — не лакомство, а еда очень голодных. И отказ поделиться со мной сладью, которую в прошлом уже пробовал мой друг, вызвал горькую обиду. Но дома меня ждало еще одно несчастье.

Прошло уже несколько часов после окончания уроков, а я все еще не вернулся домой. Домработница, которая отвечала за меня перед родителями, страшно разволновалась и вместе с моей сестрой на руках прибежала в школу, где уже никого, кроме сторожа, не осталось. Когда я появился, она едва ли не готовилась наложить на себя руки. Мне досталось от нее, но, когда пришли родители, досталось еще больше: меня поставили в угол на колени, и там я проплакал до темноты. Даже просьбы о прощении, которые обычно помогали, оказались в этот раз бесполезны. А на следующий день родители объяснились с директором, и меня наказали еще и в школе. И хотя я понимал, за что меня наказывали в этот раз, любви к чтению это не добавило.

Надо сказать, что я невероятно ленив. Любя книги и легко читая, я тем не менее отказывался от самостоятельного чтения. Вечерами мама читала мне стихи Маршака или рассказы Бориса Житкова из книги «Что бывает». Помню я «Приключения Незнайки» и «Приключения Мюнхгаузена» на украинском языке, русские народные сказки, по-русски и в украинском переводе. Мне больше всего нравилась сказка «Жихарка», и очень хотелось стать таким же ловким и смелым, как герой этой сказки. Понемногу меня все же приучали читать самостоятельно, но, когда к концу первого класса мне в школьной библиотеке дали книжечку потолще обычного, я отложил ее в долгий ящик, а мать тогда уже готовилась к переезду в Одессу — ей было не до меня. Так я перестал читать вообще. И хотя в Андрушёвке я мог показаться довольно начитанным мальчиком, в Одессе то и дело сталкивался с собственной неграмотностью — когда мальчишки обсуждали прочитанные книги, я часто с завистью их слушал, не имея возможности присоединиться к разговору. А мальчишки-то по возрасту сплошь моложе меня: Вовка Комаров из соседней квартиры — на год, Алик Перекрестов и его двоюродный брат Толик Ухов — на два. Ощущение неполноценности заставило меня читать, и первой книгой, которую я прочел в школьной библиотеке, стал «Робинзон Крузо». С этой книжки началась совсем другая эпоха в моей жизни. Чтение превратилось в главное удовольствие, любовь, даже почти в болезнь.

Но мне, конечно, здорово повезло со школой, где я нашел сверстников, перехвативших эстафету у Алика в деле моего просвещения — дедушка Алика очень скоро умер, и мой друг стал почти таким же уличным мальчиком, как и я. Мы с ним лазали по чердакам, участвовали в дворовых битвах, а чаще всего убегали вдвоем в запретный сад банковского института, некогда вотчину Трофима Денисовича Лысенко (в тридцатых годах он возглавлял в Одессе Всесоюзный

селекционно-генетический институт). Там мы строили «медвежьи лабазы» на деревьях и запускали ракеты, оборачивая артиллерийский порох из катакомб в алюминиевую фольгу.

2.

В Андрушёвке, естественно, языком обучения был украинский, и поэтому отцу стоило много трудов устроить меня в русскую школу в Одессе. Украинская школа располагалась рядом, более того, эту школу оканчивал мой отец в 1941-м. Но он не испытывал никаких сантиментов по этому поводу — он думал о будущем ребенка. Моя мать, видя почти непреодолимые трудности, уговаривала отца сдать: в конце концов, я хорошо говорю по-русски, дома и во дворе я буду говорить по-русски и книги буду читать по-русски, да и в школе много ли того украинского? Впрочем, украинский ведь тоже полезно знать. Но отец считал, что качество образования в русской школе будет выше, он не хотел закрепления моего украинского акцента и упорно убеждал учителей, что я справлюсь. Перед тем как меня зачислили во второй класс школы № 59, я прошел собеседование с учительницей, которая отнеслась ко мне крайне доброжелательно, и, скорее всего, с завучем. По-видимому, моя речь выглядела достаточно чистой, а родители, с которыми я приходил на собеседование, — вполне интеллигентными. Таким образом, выбор был сделан, и, я думаю, с этим выбором отец не ошибся: 59-я школа не сделала из меня прилежного ученика, но, по крайней мере, предначертала рисунок моей судьбы.

Второй школьный год начался для меня замечательно. Пожилая учительница Александра Александровна, согласившаяся принять меня в свой класс, благоволила ко мне.

Мои родители никогда не хвалили меня, никогда не давали понять, что у меня есть какие-нибудь достоинства. Они задирали планку и только корили, указывая, как далеко мне до совершенства. Это выработало у меня странное отношение к самому себе, о котором с возмущением как-то сказал Павловский*: «Я не могу понять, почему ты себя так недооцениваешь!»

<...>

Возможно, мои родители имели свой резон, обеспечивая таким стилем воспитания мое постоянное стремление к совершенствованию. Но они же и заложили основы моих поражений, чаще всего проистекавших от неуверенности в себе.

Странно при этом, что многие люди находили меня высокомерным.

Александра Александровна, вероятно, видела во мне эту неуверенность, которая еще возросла после насмешек старухи Компрадт, после мытарств с поступлением в русскую школу. И старалась мне помочь. На первом же уроке меня попросили назвать гласные русского алфавита, и я перечислил все, кроме одной. Тогда Александра Александровна попросила класс мне помочь:

— Этаж, этажерка, — неслось со всех сторон, но я так и не смог понять, что это за буква такая — «этажерка».

— Ну, дети, кто напишет на доске эту букву?

И кто-то вышел и написал букву «э». Мне, конечно, стало стыдно, «э» я прекрасно знал, но я так и не смог понять, при чем тут «этажерка». По моим

* Речь идет о Глебе Павловском (род. в 1951 г.), известном политологе, политтехнологе, телеведущем.

представлениям, учительнице полагалось меня укорить и поставить плохую отметку. Однако, напротив, она сказала: «Хорошо», — и в дневнике появилась первая четверка.

К концу второго школьного года я уже не чувствовал себя гадким утенком.

Впрочем, этому способствовали и другие обстоятельства. Не слишком хорошие оценки за первый класс предопределили мое окружение во втором классе — здесь учились не самые подготовленные ребята. Мои одноклассники не отличались особенной силой, зато были задиристы. И так уж случилось, что в самом начале учебного года я подрался с мальчиком, доминировавшим в классе. Естественно, я о его месте в школьной иерархии знать не мог — а если б и знал? — и не отозвался на какое-то его требование. Немедленно было показано, кто в доме хозяин.

На большой перемене, когда мы бегали на школьном дворе, этот мальчик кинулся на меня с кулаками. Завязалась борьба, я оказался опрокинут на асфальт, а победитель уселся мне на грудь, намереваясь учинить экзекуцию. Вокруг собралась толпа мальчишек и радостно улюлюкала. Моя соседка, смуглая Светка Бабаева, громкими криками поддерживала моего обидчика и даже пыталась пинать меня ногами, тогда как остальные дети выступали в роли честных болельщиков. Похоже, за меня не болел никто. Однако, не желая сдаваться, я захватил голову моего соперника ногами и бросил его на пол, тут же оказавшись на нем верхом. Этот бросок вызвал рев восторга у наблюдателей: «Дай ему! Дай ему!»

Бог уберег. Впрочем, я и не знал, как это сделать, — драка случилась впервые в моей жизни. Прозвенел звонок, дети бросились в школу, двор опустел. Поколебавшись, я встал и инстинктивно подал руку мальчику. Мы вместе прибежали в класс, немного опоздав. Учительница была уже в курсе событий, однако, как мне помнится, кроме двух-трех слов, ничего не сказала по этому поводу. Вскоре мы подружились с драчуном и ходили парой. К сожалению, не помню его имени (кажется, его звали Юра), но отношения с ним сыграли важную роль в моей судьбе.

Домой из школы мы всегда возвращались вместе, он жил немного дальше меня, на Ботанической улице, в новом доме в отдельной квартире, что переводило его в более высокий ранг по сравнению со мной. Довольно часто я заходил к нему в гости, играл вместе с его друзьями, и одна из таких забав имела роковые последствия. В начале следующего учебного года мы затеяли весьма обычную для Одессы игру: отвоевание высоты (кажется, игра называется «царь горы»). Следовало захватить высшую точку земляной кучи рядом с котлованом строящегося дома и удерживать ее. В этой игре я неизменно оказывался победителем, что привело моего приятеля в ярость. До этого он, как и в школе, доминировал среди сверстников своего двора, и его поражение на глазах у друзей стерпеть не смог. Игра завершилась дракой, повлекшей за собой вражду, которая закончилась для меня печально.

Во втором классе, сразу после первой драки, все складывалось отлично. Я не стремился к лидерству, ходил особняком. Во втором полугодии у меня появились новые друзья. Отец Станислава Баля был художником. Сосед и приятель Баля, Александр Козырь, происходил из инженерской семьи, а отец Николая Опарина преподавал в сельхозинституте, расположенном как раз напротив их дома. Именно с Козырем, Балем и Опариним я попытался поставить спектакль «Буратино», повторяя опыт моих дворовых соседей. Подружился я

также с Зориком Эльсоном, интеллигентным мальчиком из моего двора, учившимся играть на скрипке, с которым чуть позже я начал ходить в шахматный кружок Дворца пионеров. Но самым замечательным образом мы подружились с мальчиком, который меньше года учился в нашем классе, музыкально одаренным до такой степени, что вокруг него с пиететом ходили и наша учительница, и учитель пения. Впрочем, кажется, он был сыном каких-то важных родителей — во всяком случае, шикарная квартира, в которой они поселились, располагалась в привилегированном районе, на улице Белинского, за оградой с охраной. Он и стал моим самым близким другом.

В школе меня не корили плохой успеваемостью. Я не находился под жестким контролем родителей, как в Андрушёвке, и стал лидером маленькой группки мальчишек. Летом в пионерском лагере на Каролино-Бугазе во время легкого шторма я научился плавать, что для одессита, конечно, очень важно.

С самого раннего возраста я тянулся к девочкам, и всегда рядом обретались симпатичные подружки. Но вот в одесском дворе таких девочек не обнаружилось. Поначалу и в школе все девочки казались мне неинтересными. Но чем дальше, тем чаще я стал провожать домой симпатичную и очень интеллигентную девочку по фамилии Миллер. Жила она как раз на полпути от моего дома к школе в необычном дворике, стилизованном под европейское средневековье, во всяком случае, именно так мне представлялась сказочная Англия. В апреле и мае я уже несколько раз бывал у нее дома, и мне казалось, что я нашел свою принцессу. Словом, Одесса быстро стала родной, а я начал обретать уверенность в своих силах.

3.

<...> Деревенская любовь к земле подтолкнула меня к тому, чтобы высадить цветы перед нашим окном на Пироговской. Цветы были страстью бабушки Феклы, бабци, они окружали нас везде — в Андрушёвке, в Ходоровке, где я проводил летние каникулы несколько лет подряд. В Одессе же перед домами огромное пространство земли, огороженное кладкой из ракушечника и в дореволюционные времена, вероятно, засаживаемое цветами, пустовало, затоптанное детьми, забросанное мелким мусором. Ни цветочка, ни кустика.

Еще осенью 56-го я принес корневище канны, утерянное городскими озеленителями. Весной родители пошли мне навстречу и купили лопату, а заодно и немного семян. Пока я вскапывал узенькую полоску земли под своим окном, ко мне присоединилось несколько соседских детей, которым тоже не терпелось взять в руки лопату. Ну, почти по Марку Твену. Конечно, нашей полоски недоставало для набежавших ребят, и мы начали было вскапывать соседнее пространство, что запретили мне родители. Тут же из окна появилась старуха Компрадт:

- Пошел отсюда вон, хохол! И чтоб я тебя под нашими окнами не видела!
- Но ведь мы посадим цветы — так будет красивее.
- Без тебя разберусь.

К счастью, кто-то из соседей предложил вскопать землю под своими окнами. А дальше пошло как по маслу. Мы вскопали почти все участки, а некоторые вскопали взрослые. Так что только земля под окнами Компрадт — четверо больше нашего участка — осталась девственно нетронутой. Дети стали просить у родителей деньги на семена, и многое из того, что мы вскопали, засеяли цве-

тами. На следующий год ребятня не так жадно хваталась за лопату, зато многие взрослые сами стали вскапывать землю. Почти весь двор теперь засадили цветами и кустами, так что мой палисадничек вскоре стал выглядеть довольно бедно на фоне роскошных цветников.

В ходе этой неожиданной кампании по озеленению я подружился с новыми ребятами, но и приобрел врагов. Совершенно непонятно, почему моя активность вызвала агрессию у нескольких мальчишек, с которыми мне пришлось враждовать в течение всей моей жизни на Пироговской. Надо сказать, что почти все они в юном возрасте один за другим отправились за решетку. Довольно быстро выяснилось, что я неплохо дерусь, и вскоре меня остерегались задевать даже мальчишки на год-два старше меня. Один из них с горечью как-то сказал: «Жаль, что мы с тобой не поступили, как со всеми новенькими: надо было в первый же день избить тебя хорошенько, чтобы ты знал свое место. Теперь поздно». Тем не менее мальчишка, старше меня всего на год, по кличке Фьяна, постоянно затевал драки со мной. Хотя в этих драках неизменно побеждал я, это его только раззадоривало.

Как-то естественно сложилась тройка моих врагов, живших в подъезде напротив. Однажды, собравшись на пятом этаже у Фьяны, они стали стрелять по мне из рогатки. Надо сказать, что стреляли они камнями и гайками. Довольно точно и очень больно. Я едва успевал уворачиваться и, в конце концов, решил сбежать домой. А так как дома по какому-то стечению обстоятельств никого не оказалось, и ключ от квартиры отсутствовал также, я решил влезть в квартиру через форточку. И когда я уже почти залез внутрь, раздался страшный звон, и оконное стекло рассыпалось вдребезги. Мне сильно повезло. Насколько я помню, меня даже не оцарапало, хотя, принимая во внимание размеры стекла, эта история могла кончиться вполне трагично. Но когда пришли родители, я был жестоко бит. Не только потому, что из-за меня семья попала в трудное материальное положение, но потому, что я показывал вора́м дорогу в дом. Впрочем, восстановить стекло родителям не позволял кошелек, и они начали переговоры с семьями моих врагов. История тянулась довольно долго и кончилась складчиной. С тех пор мне стало несколько легче. Фьяна, главный задира, перестал меня трогать. Это, конечно, не избавило от враждебности, но она приняла более терпимые формы.

Однажды самый приличный мальчишка из тройцы предложил мне поиграть на пленки. Целлулоидные пленки с четырьмя или пятью кадрами из фильма, попадавшие к подросткам из киностудии, служили местной детской валютой. Собственно, и вражда с Фьяной у меня началась из-за этих пленок. Как-то утром, выйдя погулять, я застал «раскидку». Откуда-то сверху сыпались пленки, которых я до того в руках не держал и только завидовал их обладателям. Владельцы детской валюты представлялись существами более высокого ранга, чем сопляки, валютой не располагавшие. Обретение пленок как бы переводило человека в другую возрастную категорию. Естественно, что я присоединился к нескольким ребятам, которые собирали это дармовое богатство. Через некоторое время во дворе появился Фьяна и потребовал возвращения пленок, поскольку, мол, это именно он их разбрасывал. Во-первых, я усомнился в том, что пленки принадлежали ему. А во-вторых, я спросил, почему он требует возврата пленок от меня и не требует этого же от других детей. В ответ я услышал, что «раскидка» устроена для своих, а я чужак, приехавший неизвестно откуда. Аргументация не убедительная, и я не отдал пленок, считая их законным приобретением. Этот

случай свел меня с Фьяной, которого я до тех пор не знал, хотя прожил в доме почти год, и с которым мне предстояло драться довольно долго.

Получив в свое распоряжение пленки, я смог принимать участие в играх, расчетной единицей в которых эти пленки служили. Вскоре я стал довольно состоятельным человеком, что вызывало раздражение у того же Фьяны и его друзей. И вот его приятель добродушно предлагает мне поиграть в игру, которая сводится к тому, что в кулаке зажимается несколько пленок и отгадывающий предлагает варианты: чет или нечет. Главное условие — игра до полного проигрыша. Прежде я очень часто выигрывал, поэтому легко согласился. Почему-то играть предстояло непременно в военном городке. В военном городке так в военном городке. Мы пришли к трансформаторной будке и приступили к игре. И тут выяснилось, что я постоянно проигрываю. Когда мои пленки почти все перекочевали в карман партнера, я обратил внимание, что он регулярно украдкой посматривает куда-то вверх. Я начал следить за его взглядом, и тут обнаружилось, что на крыше трансформаторной будки спрятались еще двое мальчишек из троицы, которые наблюдали за тем, как я отсчитываю пленки, и показывали пальцами правильный ответ своему игроку. Увидев это жульничество, я не только отказался играть дальше, но и потребовал вернуть свой проигрыш. Не тут-то было! Двое других, спрыгнув с крыши, попытались отнять у меня остаток. Тогда я бросился бежать.

Надо сказать, что прежние стычки с моим партнером, бывшим покрепче и постарше меня, протекали не так просто, как драки с Фьяной, хотя до настоящего рукоприкладства не доходило. А тут, кроме них двоих, на меня наступал третий, на голову выше нас всех, старше меня на три года. Я боялся драки. И не только потому, что вообще боялся драк: до пятнадцати лет никого не ударил первым, как, впрочем, и никогда не бил кулаком. Боялся еще потому, что за драку схлопотал бы отцовского ремня. Я гулял в новой одежде, и, замарав ее, получил бы на орехи и от матери. Но все же доминировало осознание, что у меня непременно отнимут оставшиеся пленки. Стерпеть такую несправедливость я не мог. Все, что мне оставалось, кроме капитуляции, — бегство. И я им воспользовался. Ребята бегали не менее резво, чем я, поэтому бежать пришлось изо всех сил, сломя голову. И вдруг что-то ударило меня по глазам и бросило наземь. Жуткая боль и кровь на лице вызвали у меня ужас. Перепугались и мои преследователи и бросились врассыпную. Встав, я обнаружил, что налетел на стальную проволоку, натянутую как ограждение вдоль газона, по которому бежал. Сжав в руке спасенные пленки, заливаясь кровью, я пошел домой. Дома выяснилось, что у меня довольно глубоко рассечена щека чуть ниже глаза.

Сомнений, что вечером предстоит порка, не оставалось. Ведь я во всем виноват: сам стал играть с теми, кого следовало сторониться, сам налетел на проволоку и испачкал кровью одежду. Поэтому матери я что-то соврал. В конце концов, вынужденно продолжая ложь, сказал, что это ребята толкнули меня на проволоку. Пришедший вечером домой отец пришел в ярость. И, как ни странно, его гнев относился не ко мне. Взяв за руку, он повел меня к родителям моего недавнего партнера по игре. Там он стал на повышенных тонах требовать принятия мер к ребенку, который дошел до того, что мог сделать меня калекой. Парнишка, который к этому времени уже лежал в постели, стал оправдываться, говоря, что меня не толкал, но я упорно утверждал, что именно он виновник происшествия: если бы я изменил показания, то ярость отца обернулась бы на меня. В конце концов, пытаясь усмирить свою совесть, я думал: все равно они

вот-вот догнали бы меня, они *могли* толкнуть, а я мог искренне ошибиться, думая, что *толкнули*. Спор родителей закончился высказыванием моего отца: «Мой ребенок никогда не врет. Я ему верю». Это так потрясло меня, что я потерял дар речи.

В этом возрасте я находился под сильным впечатлением от «Зверобоя» Фенимора Купера. Шли дни, а я мучительно думал, как мне признаться в собственной лжи. Ведь я лгал, как лгал и прежде, страшась наказания. А отец безоговорочно встал на мою сторону, считая меня честным человеком. Я понимал, что должен пойти к моему обидчику и просить у него прощения за ложь. Но сил на покаяние не хватило. Во всяком случае, публичное. Внутреннее раскаяние было столь сильным, что я сказал себе: с этого дня я никогда больше не скажу неправду. И я сдерживал это обещание до довольно солидного возраста. Позднее, став политиком, я понял, что не смогу не лгать. Более того, тактику общения с КГБ я строил на введении в заблуждение следователей — и никогда в этом не раскаивался. Да и в быту приходилось если не лгать, то *бывать* неискренним.

Так или иначе, недоброжелателей у меня во дворе становилось все больше. Чем-то я раздражал самых разных детей. Хуже всего, что моими врагами становились самые отпетые хулиганы, и если ребята моего возраста далеко не всегда осмеливались меня задирать, самый знаменитый второгодник, Тростя, Тростянецкий, не упускал случая мучить меня, то выкручивая руки, то прижигая сигаретой.

Странные вещи начали происходить со мной и в школе. Учебный год озаглаивался серьезными огорчениями. Во-первых, мой друг-музыкант пропал. Собственно, вернувшись из пионерских лагерей, где провел почти все лето, я попытался зайти к нему в гости, но меня в дом не пустила охрана, сославшись на отсутствие хозяев. А теперь выяснилось, что мальчик навсегда уехал в Москву, где «будет учиться в специализированной школе имени Глинки» — именно это имя мне, не имеющему представления о Гнесиных, запомнилось тогда. Во-вторых, уехала из Одессы Миллер. В-третьих, вместо Александры Александровны, ушедшей на пенсию, нас встретила новая учительница, молодая, пришедшая к нам из сельской школы.

Новая учительница, как я помню, долго добивалась возможности вернуться в Одессу после работы в селе. Как и большинство выпускников педвуза, она вынужденно отправилась по распределению в глухомань, но мечтала о городе. Наконец ей удалось добиться своего и попасть в 59-ю. Это удивительно, поскольку конкуренция на место учителя в городе была не меньше, чем конкуренция на место врача, — вероятно, эта тема обсуждалась моими родителями, потому что представление об этом у меня сохранилось достаточно ясно.

Мне не запомнились ни ее имя, ни даже ее лицо. Единственное, что я помню — украинизмы в ее речи и специфический выговор, обличавший в ней сельскую жительницу. В некотором отношении меня это радовало. Мне казалось, что у нас должно возникнуть чувство солидарности: ведь мы оба деревенские, оказавшиеся в городском окружении. Кажется, что-то подобное я ей и сказал, но она ответила лишь жестким и злым взглядом. Почему? Быть может, честолюбивая девушка так стремилась казаться городской, что разоблачение в ней сельского жителя вызывало раздражение, а я служил прямым укором? Я видел много таких людей. Из них часто получались скрытые националисты, да и открытые тоже. Эти люди, отторгавшиеся интеллигентной городской средой в силу амбициозности, соседствовавшей с культурной несостоятельностью, лю-

били утверждать, что к ним относятся плохо исключительно из-за презрения к украинскому языку. Именно где-то в третьем классе я впервые услышал от отца: «Нет эрудиции, впадаем в амбиции». Не об учительнице ли?

А может быть, наоборот? Преодолевая невероятные трудности послевоенных лет, молодая женщина своими усилиями добилась цели и с отвращением отнеслась к привыкшему быть любимчиком капризному сопляку, сызмальства искавшему покровителей? Разве сейчас поймешь? Только достоверно помню, что те несколько месяцев, которые мне оставались в этом классе, превратились в муку мученическую. Возможно, я сам давал поводы для этого. Помню один случай.

В начале третьего года учебы я сидел за дальней партой (во втором классе — за второй, у учительского стола). Соседкой моей оказалась Светка Бабаева, которая всегда сидела только у дальней стены в среднем ряду. Каким-то образом она переместилась ко мне за предпоследнюю парту у окна. Возможно, потому, что за лето мы успели немного сдружиться. На одном из уроков — случилось это солнечным осенним днем, значит, в самом начале осени — она предложила мне поиграть в игру и написала слово «Ленинград».

— Прочти, — сказала она.

— Ленинград.

Она зачеркнула букву «г».

— Прочти!

— Ленин рад.

Тогда она заново написала слово и зачеркнула букву «р».

— Ленин гад.

Мое возмущение не знало предела. Я поднял руку. А когда учительница дала мне слово, сообщил, что Светка пишет «Ленин гад». Готовый Павлик Морозов.

Надо сказать, что учительница не упустила возможности предать меня попицанию за ябедничество, сказав Светке ничего не значащие слова. В итоге посрамленным оказался я сам. Естественно, что отношения со Светкой испортились и она очень быстро снова заняла место за партой в конце среднего ряда.

К сожалению, я не извлек урока, и в пятом классе ситуация повторилась с еще большими неприятностями для меня. Но тут уж я получил урок на всю жизнь. А в третьем классе я чувствовал, что меня унизили. Учительница вовсе не хотела помочь мне усвоить представление о том, что кляузничать нехорошо, она хотела только выставить меня ничтожеством. Но разве я могу не сомневаться, что так оно и было? Разве не могло мое скверное воспитание и столь же безобразное поведение вызывать раздражение? Не у всякого педагога хватало сил со мной бороться. Единственное, что меня смущает, так это то, что на моей стороне неизменно стояли самые интеллигентные учителя, а моими противниками чаще всего оказывались те, кто противостоял этим интеллигентам...

Смутно помню, с чего начался открытый конфликт с новой учительницей.

Стоял сентябрь. Теплая осень. Желтеющие деревья под пронзительно синим небом. Я шел домой из военного городка и у самой арки нашего двора увидел на асфальте небольшую пачку фотографий. Подняв их, увидел фото обнаженной женщины. До этого я встречал две фотографии — сейчас могу сказать, вполне целомудренных — нагих девушек, их показывали мне тайком и с уведомлением, что за такие фотографии могут посадить, поскольку порнография — преступление. В нашем мире тотальной скромности — у меня язык не поворачива-

ется сказать «ханжества» — легко верилось, что это правда. «Порнография» считалось страшным словом, и, увидев «порнографию», я немедленно спрятал пачку слегка склеившихся фото в портфель. Разумеется, не приходилось думать, чтобы выбросить их — несомненно, у меня в портфеле лежало целое богатство. Но столь же несомненно, что взрослые этого не должны увидеть.

Естественно, наутро я принес фотки в школу. И — столь же естественно! — тут же раздал их мальчишкам. Не знаю, кто немедленно донес на меня учительнице, но та учинила такой скандал, что я перепугался: теперь меня точно посадят за порнографию! Меня выставили из класса и послали за родителями. На следующий день учительница долго разговаривала с отцом, и я удивился, что мой отец почему-то спорит с ней. Дело кончилось тем, что меня — к полному моему ошеломлению — допустили к занятиям, но вражда с училкой стала постоянной.

Много позже я увидел вновь свою «порнографическую» фотографию в каком-то альбоме. «Спящая Венера» Джорджоне.

Каким-то образом напряжение, воцарившееся в отношениях с учительницей, перекинулось и на учеников. Со Светкой Бабаевой постоянные стычки стали доходить до драк. Разразился конфликт и с Юрой, который после летней ссоры не только не затих, но, напротив, разгорался как пламя. Я перестал ходить домой с недавним закадычным приятелем, больше дружил с троицей Баль, Козырь, Опарин, но это только раззадоривало Юрку. Он постоянно вступал со мной в перепалки, пока, наконец, эти перепалки не стали заканчиваться потасовками. И вот однажды поздней осенью, когда мы возвращались после занятий, Юра стал наскакивать на меня. Довольно рано, не осмеливаясь ударить человека, я научился весьма ловко защищаться. Поэтому все попытки побить меня ничем не заканчивались. Я драться не хотел, наверное, даже побаивался, поэтому старался идти как можно быстрее. И надеялся, что, придя к себе во двор, окажусь в безопасности. Тем временем вокруг нас собралась группка мальчишек, которые всегда с радостным любопытством наблюдают за драками. Мой бывший приятель налетел на меня, а я только отмахивался портфелем, не осмеливаясь ударить в ответ, и при этом чувствовал стыд перед толпой. Наконец наш небольшой рой влетел во двор — и к нему присоединилось множество новых лиц. Среди них нашелся, кажется, и кто-то из моих приятелей, но в основном среди болельщиков толпились дворовые враги, в том числе Фьяна. И тут уж поднялось улюлюканье! В моего обидчика как будто влились новые силы. Все чаще наскакивал он на меня, а я, отшвыривая его в сторону, успевал пройти некоторое расстояние поближе к дому. Оставалось совсем немного, мы находились у подъезда Алика Перекрестова, и тут Фьяна со всей решительностью преградил мне дорогу. Пока я размышлял, не придется ли мне драться и с этим мальчишкой, Юра кинулся на меня и сшиб с ног.

Как уже говорилось, я научился довольно ловко драться, хотя, став постарше, понял, что дракой это назвать нельзя. Я перехватывал руки противников, фиксировал их, валил на пол, не давая двигаться. Иногда, захватив драчуна, приподнимал его и бросал оземь. В итоге я уходил неповрежденным, а мои противники оказывались посрамлены. Но то, что я никогда не бил кулаками, заставляло подозревать меня в слабости. И не напрасно.

Видимо, мои попытки отбиться и улюлюкающая толпа, от которой можно было ожидать помощи, и подтолкнули Юру к решительным действиям. Но я быстро вскочил на ноги и, скрутив руки противника, повалил его на ракушечниковый заборчик, ограждавший цветники. Юра отчаянно сопротивлялся, пы-

таясь приподняться, но раз за разом утыкался лицом в мягкий камень ограды. Не знаю, долго ли это продолжалось. Кажется, никто из дворовых ребят не осмелился подключиться к драке, хотя я этого ждал и готовился дать отпор больше всех суеязющемуся Фьяне. Однако этого делать не пришлось. Вдоль дома уже бежал ко мне отец, и сжавшийся круг мальчишек вдруг отхлынул. Отец разнял нас и, взяв каждого за шиворот, повел домой к Юре. Странно, что и в этом случае отец, встав на мою сторону, говорил что-то неприятное родителям моего противника. Затем мы вернулись домой. Этот вечер остался добрым в памяти, потому что отец, жестко поговорив со мной, тем не менее не стал бить.

На следующий день — а это происходило после обеда, поскольку мы занимались во вторую смену, — учительница начала урок с рассказа о вчерашней драке. И уж тут мне досталось! Выяснилось, что я в кровь избил своего школьного товарища, что я недостоин учиться в советской школе, что я позорю свой класс и что больше учить меня здесь не будут. Выпроводив меня из класса, учительница потребовала в школу родителей, которые и прибыли на следующий день. Не знаю, о чем говорили с ними учителя. Эти разговоры заняли много времени. Беседовали и с завучем, и с директором. Родители выглядели очень взволнованными. Мать совершенно побледнела. Я их такими еще ни разу не видел. Но из школы — вопреки обещанию — меня не выгнали. Зато сразу после разговора повели в новый класс.

4.

Когда меня ввели в новый, третий «В», класс, урок уже начался. Прервав его, немолодая учительница с необычным именем Павла Андреевна представила меня:

— Дети, с сегодняшнего дня вместе с вами будет учиться новый ученик. Раньше он учился в соседнем классе. Может быть, кто-нибудь из вас с ним уже знаком. Вам нужно будет строго к нему отнестись — он побил своего товарища до крови. Я надеюсь, вы не позволите ему хулиганить и дадите отпор, если он будет вести себя плохо. Его зовут...

Острая обида полоснула меня. Почему? Ведь я всегда старался быть *хорошим* мальчиком. А Юрка сам начал драку. И я вовсе не избивал его, я только не позволил ему бить меня. Почему же меня называли хулиганом? К острому чувству позора изгнания и горечи от потери старых друзей прибавилось ощущение несправедливости. Но говорить мне не дали. С этого дня я очутился в совсем непривычной для меня атмосфере. Вроде бы ничего дурного не происходило, но вокруг меня воздух был пропитан напряженностью. И довольно скоро эта напряженность разрешилась вполне предсказуемым для взрослого, но совершенно неожиданным для меня образом.

Как-то раз, а дело происходило уже в марте, после урока физкультуры мы вернулись в классную комнату и стали переодеваться. Вдруг мой сосед по парте, Володин, злобно обратился ко мне:

— Ты чего бросил свои штаны на мое место? — И тут же ударил меня кулаком в грудь.

Мальчик был рослый и крепкий. Не думаю, чтобы его удар оказался достаточно силен. Тем не менее я ощутил острую боль в сердце и буквально упал на скамью. «Скорая» отвезла меня домой, а два дня спустя я уже лежал в городской детской больнице. Вряд ли у меня обнаружили что-то серьезное, однако незадолго до этого я уже лежал в районной больнице, кажется, по поводу

чрезвычайно тяжелой ангины, сопровождавшейся осложнениями. После длительного обследования мне поставили диагноз «ревмокардит» и направили на дополнительное обследование после завершения учебного года.

А в классе ждали перемены. Во-первых, меня освободили от уроков физкультуры. К этому времени я уже почувствовал разницу между собой и гораздо более крепкими физически ребятами из третьего «В», на что мне постоянно указывал учитель, молодой парень. (Сразу скажу, учителя физкультуры — по крайней мере, мужчины — меня никогда не жаловали, и если у меня появлялись какие-то достижения и даже некоторый авторитет в классе, то это происходило вопреки установкам и воле преподавателей.) Это не добавляло желания лазать по канату или подтягиваться на перекладине. И не улучшало отношения ко мне мальчишек. Кроме того, мама заставляла меня зимой надевать кальсоны, что вызывало постоянные издевки мальчишек, а переодеваться мы могли только в общем зале, и снимал и надевал я эти злосчастные кальсоны прямо под насмешливыми взглядами одноклассников. Так что освобождение от физкультуры воспринималось мною как дар судьбы. И хотя это решение снизило мой социальный статус в классе — из хулигана, а значит, потенциального лидера, превратив в полупрезираемого аутсайдера, — я освободился от слишком очевидных унижений, которым подвергался как со стороны учителя, так и со стороны некоторых ребят. В каком-то смысле я избавился от одного из пространств напряженности.

Во-вторых, изменилось что-то и в отношении ко мне учительницы. Она стала реже одергивать меня на уроках, пересадил на другой край класса, почти к самой двери. Моим соседом по парте оказался верзила Матюхин, самый трудный ученик в классе, а возможно, и во всей школе. Второгодник, года на два старше меня и намного выше любого нашего одноклассника, был он парнем добродушным и совершенно не агрессивным. При этом он абсолютно отказывался учиться, и ему ставили тройки только потому, что в семье Матюхина росло одиннадцать детей, и родители не могли даже прокормить такую ораву, отдавая заработку все свои силы. Учительница понимала проблемы Матюхиных и, мне казалось, даже несколько симпатизировала этому мальчику. Сзади нас, напротив, сидели лучшие ученики класса, полуотличники Баев и Шуряк, ребята спокойные, благовоспитанные. Уже совершенно не помню, из какой семьи происходил Баев. С ним, тихим, почти бессловесным приложением к Додикю Шуряку, отдельных отношений у меня так и не сложилось. Но зато с течением времени я подружился с Шуряком, и надолго он стал для меня самым интересным товарищем в классе.

Но это случилось несколько позже, осенью 1958-го, а пока, окруженный с одной стороны отличниками, а с другой — девочками, я избавился от постоянного ожидания конфликта. Домой из школы мне уже приходилось идти не с драчливым Юркой, а с Додиком, который тоже жил на Пироговской, возле Дома офицеров. Никакой симпатии ко мне, хулигану, Додик, выросший в семье рафинированных интеллигентов, разумеется, не испытывал. Его отец, кандидат наук, заведовал, насколько я помню, отделением в какой-то клинике — предел мечтаний моей мамы. Подходя к Дому офицеров, мы прощались — насколько я помню, в третьем классе я так и не побывал в его квартире ни разу. Однажды после некоторого отсутствия в школе я зашел к нему, чтобы узнать домашнее задание, Додик вышел, притворив за собой дверь, и дал мне переписать задание в дневник прямо на лестничной клетке — не более того.

Зато часто вместе с нами шел домой Коля Брагин, живший в соседнем корпусе того же дома. С Брагиным мы сошлись быстро, и он регулярно приглашал меня к себе, где мы болтали и часто боролись посреди комнаты на ковре. Брагин очень любил эти игры, хотя и сердился, так как я всегда в борьбе оказывался победителем. Но наши отношения никогда не напоминали мне отношения с Юркой. Они не доходили до ярости. Напротив, после некоторого озлобления Коля успокаивался, и мы вместе принимались рассуждать о чем-то, гуляли допоздна в темноте, на пару вырывали из дневников странички с двойками и, в общем, считали себя друзьями. Даже девочка нам нравилась одна и та же, Наташа Букатар, круглая отличница и гордость класса. Брагин подбивал меня писать ей анонимные письма с признанием в любви, но после первого, написанного самим Брагиным, которое мы вместе опустили в ее почтовый ящик, я спасовал, и дальше Брагин писал и отправлял письма сам. Надо сказать, что мой интерес к девочкам отступал на задний план, подавленный нарастающим интересом к книгам.

С чтением возникли серьезные проблемы. Скучное отцовское собрание, которым он гордился, и, возможно, не без некоторого основания — «У меня лучшая библиотека в Андрушёвке!» — пришлось мне не по возрасту. Небогатые родители покупали детские книги крайне редко — в основном ко дню рождения. Приобретать Фенимора Купера стало доброй традицией. «Зверобой» был подарен в 1957 году. В следующие годы — «Следопыт», «Последний из могикан» и «Пионеры», а в 1960-м — «Как закалялась сталь» Н. Островского, в 1963-м — прекрасная книга Джона Теннера о североамериканских индейцах. Признаться, я других книг и не помню. Мои товарищи также либо книг не имели, либо не очень охотно делились. Например, «Легенды и мифы Древней Эллады» я так никогда и не смог заполучить. Додик Шуряк, который демонстрировал мне битком набитый книжный шкаф (у меня от этого рябило в глазах), категорически отказался что-нибудь давать. Тем более что большей частью в шкафу красовались многотомные собрания сочинений. Поэтому главным источником чтения для меня стала библиотека. Сначала школьная, с достаточно скудным выбором; да я и не знал, что именно нужно спрашивать, а к полкам нас не допускали. Чувствуя себя достаточно глупо, я, наконец, в сопровождении соседки по двору, Марты, дочери скромной и интеллигентной мамы, дошел до районной детской библиотеки, где моя страсть утолилась достаточно полно. Мне кажется, что первые книги рекомендовала Марта. Впрочем, сейчас трудно сказать, что же я читал. В четвертом классе — несомненно, Гоголь, «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Миргород». Они мне запомнились потому, что в абонементе эти книги отсутствовали, а мне во что бы то ни стало хотелось прочесть именно их. И тогда я освоил читальный зал, где работала мама Марты. И там получал истинное удовольствие.

С домашним чтением дела обстояли сложнее. Всегда возникали то препятствия, то соблазны. И, как правило, я добирался до книги только вечером, когда родители решительно отнимали ее и столь же решительно укладывали меня спать. Но однажды сосед со второго этажа, отец Тани Черкасовой, моей подружки, к которой я иногда приходил в гости, подарил мне две огромные электрические батареи с маленькой лампочкой. И тогда я стал притворяться, что покорно ложусь спать, а сам тем временем забирался под одеяло с книгой и читал в свое удовольствие. Несколько раз эксперимент удался, но потом я стал слышать шепот родителей, которые справлялись друг у друга, спит ли сын. Напомню,

мы жили в одной комнате, поэтому притворство довольно быстро разоблачили. Мое поведение родителям показалось странным — уж очень тщательно я укутывался, — и мать подошла и приподняла край одеяла. Я был застукан на месте. Последовали разбирательства — где я достал батареи, кто посоветовал мне читать под одеялом и т. д. А после разбирательств родители неожиданно для меня смирились: разрешили уходить на коммунальную кухню, не помню, на каких условиях. Благо к тому времени мы обзавелись самостоятельным электросчетчиком, и конфликтов с Компрадт не предвиделось.

Но сколько бы я ни читал, моя начитанность сильно уступала начитанности Шурыка, и Додик не переставал демонстрировать свое превосходство. Это помогло мне тянуться за ним. Именно с его подачи я увлекся фантастикой, и помню первые книги — «Человек-амфибия» Беляева и его же «Голова профессора Доуэля», «Продавец воздуха». Однако мне хотелось Жюль Верна — из-за его книг я записался в районную библиотеку: «Двадцать тысяч лье под водой», «Таинственный остров» и т. д. Читая книги, я постепенно становился интересным собеседником для Додика, и в конце концов мы стали приятелями.

...Моя свобода — чрезмерное пребывание на улице, способность самостоятельно отправиться на море, в Отраду или на Кирпичный переулок, к друзьям, где бы они ни жили, периодически случавшиеся драки — делала меня в глазах родителей нежеланным товарищем для их детей. С одной стороны, для уличных мальчишек, будущих уголовников, я был, скорее, врагом, доступным чужим, а с другой — чужаком и для ребят своего круга. Помню, что родители Комарова старались выставить меня побыстрее из комнаты, когда я заходил к ним в гости. Впрочем, это могло объясняться и стесненными условиями жизни. Хотя Комарова старались ограничить и в его играх с нами, которые чаще всего протекали на черном дворе, прямо перед их окнами. Однажды меня выставили из дома Алика: «Мама запрещает мне водиться с теми, кто чертыхается». Это послужило мне добрую службу, и я на всю жизнь перестал сквернословить, хотя вряд ли сейчас фразу «пошел к черту!» я посчитал бы сквернословием. В другой раз мама запретила Алику приглашать меня в дом, потому что я хулиган. Понять это я решительно не мог. Меня обвиняли, что я ухожу со двора на Ботанику и даже в Банковский сад. Но ведь туда нас стал водить дедушка Алика. А после смерти дедушки Алика, так же как и я, перелезал через забор, строил на деревьях «лабазы» и запускал самодельные ракеты, изготовленные из артиллерийского пороха, который притаскивали мальчишки откуда-то «из катакомб». Алика же явился инициатором устройства нашего «штаба» на чердаке, где он показывал мне загадочные надписи «пси-4» и «пси-20». Мне кажется, что я даже не был закоперщиком во всех этих играх, но, конечно, наверняка утверждать этого не берусь. Хотя все же я, скорее, легко отзывался на чужую инициативу, заводился и обретал некоторую инерцию, которая не свойственна многим другим ребятам. Перед глазами родителей или учителей они вдруг становились шелковыми, а я оставался таким же неумоимо возбужденным — и искренне не видел ничего предосудительного в своем поведении. И регулярно оказывался на дурном счету.

(Окончание следует.)

Константин ВАСИЛЬЕВ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ОПРОВЕРГАЕТ ПРАВИЛО

Правильные и неправильные глаголы

Прочитав мой заголовок, кто-то возразит уверенно: автор ошибся, здесь должен быть другой глагол, не *опровергает*, а *подтверждает*, — с противоположным значением! Настаиваю, однако, на своем: исключение по своей сути есть опровержение того или иного правила. Исключения не согласуются с общими положениями.

Поскольку я учился на английской филологии, приведу пример из грамматики изучаемого языка. Глаголы образуют форму прошедшего времени с помощью окончания *-ed*, например: *to play* (играть) — *played* (играл, играла, играло, играли); *to work* (работать) — *worked* (работал, работала, работало, работали)... В английском языке тысячи *правильных* глаголов, то есть таких, которые следуют безоговорочно приведенному правилу.

Имеются *неправильные* глаголы, у которых прошедшее время строится по-иному. Например, *to make* (делать) имеет форму *made* (делал, делала, делало, делали); глагол *to take* (брать) в прошедшем времени становится *took*, тогда как *to read* (читать) сохраняет написание, но изменяется произношение. Люди, знакомые с французским, итальянским или немецким, подтвердят: формы прошедшего времени у неправильных глаголов и в этих языках разнообразны и непредсказуемы, их приходится просто заучивать. Можно ли утверждать, что многочисленные исключения или хотя бы одно из них каким-то образом подтверждает правило, применимое к большинству глаголов? Нельзя.

Я понимаю, что слушателям не терпится осадить меня с моими ссылками на грамматику. Ведь в других областях знания, в природе и в жизни, ведь там исключение подтверждает правило? Отвечаю: нет. Рассмотрим жизненный пример: у вас в трудовом коллективе все являются вовремя на службу, никто не отлынивает от работы, но один сотрудник вечно опаздывает, не особо выкладывается, часто отлучается покурить, поболтать по телефону... Сия *исключительная* личность нарушает установленный порядок, не вписывается в общую картину. Поступки этого человека, его отношение к делам никак, никоим образом, никаким боком не подтверждают тех правил поведения, которые сложились, установились, существуют в коллективе.



А если этот нерадивый работник вдруг сделал научное открытие, написал замечательный роман, спас кого-то на пожаре? В таких случаях некоторых тянет на рассуждения следующего рода: вот, дескать, мы считали человека никчемной обузой, а он — талантливая или героическая личность; и вроде бы к месту (хотя, на самом деле, ни к селу ни к городу) следует *мудрый* вывод: исключение подтверждает правило! Но, простите, какое правило вы здесь усмотрели? Назовите его и потом объясните, в чем суть исключения.

Онегин, презиравший человечество, но отличавший некоторых его представителей

По ходу дела вспоминается иная поговорка, с первой связанная тем, что в ней использованы те же существительные, а именно: нет правила без исключения. Мы, не разобравшись, готовы согласиться, что так оно и есть, — как мы бездумно соглашаемся со многими *великими мыслями* только потому, что обнаружили их в сборнике афоризмов и крылатых речений, принадлежавших (или приписанных) Платону, Цицерону, Толстому...

По поводу *правил без исключений* иногда приводятся, в качестве *наглядного примера*, следующие строки А. С. Пушкина из его известного романа в стихах:

Сноснее многих был Евгений;
Хоть он людей, конечно, знал
И вообще их презирал, —
Но (правил нет без исключений)
Иных он очень отличал.

В стихах четкое чередование ударных и безударных слогов завораживает и рифмы, что называется, пленяют. Впав в замороженное состояние и пленившись, мы не особо вдумываемся в смысл, мы его как-то *в целом* вроде бы схватываем. Перечитаем, однако, и обсудим написанное: презрение (или любовь) *вообще* к людям нельзя считать правилом. На человеческие чувства нет устава с четкими определениями: кого должно безоговорочно любить, кого ненавидеть, на кого следует распространять нашу благосклонность или растрачивать ненависть. Мы высказываем личное мнение, считая какие-то душевные проявления хорошими, какие-то плохими. Уместно говорить и спорить об отдельных поступках и склонностях, не делая обобщений: Онегин, предположим, *взял себе за правило* не принимать гостей, он, *как правило*, отвечал отказом на приглашения в гости. Если пушкинский герой презирает все человечество, но любит *иных* представителей людского общества, напрашивается вопрос: а *иные*, завоевавшие его расположение, не относятся к человечеству, не принадлежат *вообще* к людям?

Если кто из *простых смертных* скажет что-то нелепое, мы отмахнемся или посмеемся. Когда автором ошибочного суждения является знаменитая личность, когда суждение повторяется другими известными людьми, публика беспрекословно принимает сказанное за неоспоримую истину, и в данном случае многие, если не все, оказываются в заблуждении, будто при каждом правиле непременно имеется исключение. Вспомним математику, где правила не допускают исключений. Есть непреложные химические и физические законы. Не обладая большими познаниями в теоретической физике, приведу пример

физического явления на бытовом, так сказать, уровне: на всех батарейках, как и на всех гнездах, для них предназначенных, указано, где положительный полюс, где отрицательный; если не следовать предписанию и вставлять батарейку в гнездо *не тем концом*, прибор не заработает, пусть даже мы будем возмущаться и доказывать, что, согласно *древней мудрости*, у правила с плюсом и минусом, как у всех правил в мире, должно быть исключение и наш прибор, в виде исключения, обязан запуститься!

В грамматике, с которой я начал разговор, огромное количество *неправильностей*, но все же есть правила без исключений. Пожалуйста: *все* наречия не имеют рода, числа и падежа, *ни одно* наречие не склоняется и *не спрягается*. По поводу запятых будут некоторые разногласия, но мы *в обязательном порядке* начинаем новое предложение с прописной буквы и заканчиваем его точкой. В конце каждого вопроса ставится вопросительный знак. В восклицаниях применим знак восклицательный.

Указания и постановления, которые касаются взаимоотношений в человеческом сообществе, отличаются, конечно, от математических и физических законов. Неизбежны расплывчатость, неточности или даже противоречия в созданных людьми и людьми же одобренных (апробованных, как говорили в восемнадцатом веке) постановлениях — от правил дорожного движения до уголовного кодекса. Это позволяет нарушителям надеяться, что с помощью какой-нибудь *лазейки* они уйдут от наказания. Обычай, узаконения и распоряжения, имеющие силу в одном государстве, не обязательно соблюдаются в других странах. Мы считаем правильным писать на кириллице слева направо, но где-то принят арабский алфавит и написание справа налево. В большинстве стран правостороннее движение, но в Великобритании, Австралии, Индии и Японии левостороннее. Существуют все же договоренности, соблюдаемые всеми жителями Земли во всех частях света. Например, люди согласились разбивать сутки на двадцать четыре часа и каждый час на шестьдесят минут (а не на десять часов со ста минутами в каждом часе для подлаживания к десятичной системе счисления). Имеется международное соглашение, что сутки начинаются в полночь, и я не знаю случаев, чтобы кто-то нарушал названные правила или подыскивал к ним исключения.

Вера в непогрешимость записных любомудров

Откуда появилось категоричное заявление, будто не существует правила без исключения?

За ответом не придется далеко ходить, его навязывает почти каждый сборник крылатых речений: мол, по-русски мы повторяем давнее латинское речение «Nulla regula sine exceptione». Как дипломированные, так и доморощенные языкознатцы один за другим, или, если хотите, в один голос, называют и автора: к такому мудрому выводу пришел когда-то философ Сенека!

Означенная *мудрость* казалась мне сорняком, выросшим и благодатно произрастающим на русской почве, и я думал, что русские же толкователи приписали его происхождение Сенеке — из желания придать означенному набору слов научную весомость и неоспоримость. А могли бы приписать кому-нибудь другому, лишь бы тот значился *признанным* мудрецом. В первом предположении я ошибся, ибо, как выяснилось, *сорняк* укоренился и среди французов, они говорят: «Il n'y a pas de règle sans exception». Поговорка издавна закрепилась и



в английском языке: «There is no rule without an exception» или «Every rule has exceptions» — многие англичане тоже считают обсуждаемую нелепицу *известной истиной* (a well-known maxim).

Высказывание обнаружилось в иностранном речевом обиходе, но — без ссылок на Сенеку или кого другого. Думаю, оно испокон веку бытовало наряду с другими народными поговорками в широких слоях европейского населения как удобное объяснение поступкам, выходкам и прегрешениям, не согласующимся с установленными нормами поведения. Потом какой-нибудь *умник*, получивший классическое образование, но разумным мышлением обделенный, усомнился в способности простого народа высказывать подобные *перлы мудрости* и, уверенный, что это *древнее суждение* (an ancient proposition), движимый философской *любовью к истине*, считая, что делает доброе дело, перевел речение с английского (или французского) на латынь, в средневековых университетах изучаемую, и нелепость приобрела вид проверенного временем афоризма: «Nulla regula sine exceptione»!

Откуда взялась ссылка на Сенеку? Мне кажется, что в России с большим жаром, нежели в европейских странах, верят всяческим *гигантам мысли*, с большим трепетом повторяют высказывания разных *мудрецов*, особенно чужеземных. Мы издавна обращаемся за ответами на жизненные вопросы к иностранным писаниям, затверживаем и в спорах привлекаем в качестве неоспоримых доводов то, что изрек в стародавние времена Моисей, Григорий Богослов или кто иной из вселенских святителей и отцов церкви, мы пытаемся вникнуть в философию Сократа и Аристотеля в поисках неких *вековечных истин*, мы строим планы, как бы нам обустроить Россию по мечтаниям Платона, Томаса Мора, Руссо или Фурье, как бы нам сотворить светлое будущее по учению Карла Маркса, которое, напомним, долго считалось у нас единственно верным и всеильным.

В русских изданиях, претендующих на особенную научность, нам сообщают, что не кто иной, а именно Луций Анней Сенека Младший изрек: «Nulla regula sine exceptione». Указывают, что родился он около 4 года до новой эры, умер в 65 году новой эры. Особенно знающие толкователи поясняют, что Сенека был не просто римским философом, а стойком. Такие вот полезные *научные сведения*! Только никто не дает ссылку: в каком из произведений Луция Сенеки Младшего нам искать означенное *крылатое изречение*. Произведения античных авторов, сохранившиеся до нашего времени, известны, они полностью исследованы, описаны, снабжены пояснениями и примечаниями. Когда нам говорят, что такие-то мудрые слова подарил человечеству Платон, Аристотель или Цицерон, но при этом не называют источник, можно предполагать или даже смело утверждать, что *мудрость* придумана кем-то другим.

Указание на автора обнаружилось в одном иностранном (немецком) сборнике цитат, где после «Keine Regel ohne Ausnahme», что совпадает с нашим «Нет правила без исключения», давалась ссылка: *Vgl. Gaius, Institutiones 4, 117*. Все желающие, подучив основательно латынь, могут обратиться к «Наставлениям» римского юриста Гая, открыть четвертую часть указанного опуса и *сравнить*, насколько наша расхожая поговорка соответствует тому, что говорил Гай в поучении под номером 117. Я же, рискуя прослыть Фомой неверующим и врагом научного подхода, основанного на незыблемой вере в авторитеты, на бездумном преклонении перед *гигантами мысли*, останусь при своем мнении: ни Сенека, ни Гай к обсуждаемому речению не имеют отношения.



Выше я высказал предположение о его народном происхождении; но, подумав, *раскинув*, как говорят в народе, *умом*, или даже *мозгами*, я предлагаю иное объяснение. Простолюдины всегда выражались проще: «Тише едешь — дальше будешь», «Голь на выдумки хитра», «С волками жить — по-волчьи выть»... Что-то книжное, канцелярское, судебное слышится в этом *нет правила без исключения*, так что, полагаю, в основе лежат, действительно, рассуждения какого-то древнего законоведа или оратора; но, поскольку он высказывался пространно и для более поздних поколений малопонятно, кто-то из потомков сделал *выжимку* из его рассуждений, исказив при этом смысл. Латинское «Nulla regula sine exceptione», с виду лаконичный афоризм, пошло гулять по Европе, повторяемое по-английски: «There is no rule without an exception»; или по-немецки: «Keine Regel ohne Ausnahme»; или по-итальянски: «Ogni regola ha un'eccezione»; и мы, переведя очевидную несурязицу с какого-то из этих языков, повторяем по-русски: «Нет правила без исключения!» — полагая, что тем самым блистаем ученостью, приобщаемся если не ко вселенской, то к европейской мудрости, возвышаемся в собственных глазах и вырастаем в глазах окружающих.

Утверждение Шерлока Холмса, не совпадающее с мнением большинства

Следует согласиться, что не при каждом правиле имеется исключение. Давайте также признаем полную несостоятельность утверждения, будто исключение подтверждает правило.

Но ведь так говорят, это уж точно народная мудрость, *всем известная*... Начну с того, что народной мудростью здесь не пахнет. Как и в случае с *nulla regula sine exceptione*, наша расхожая поговорка восходит к латинской книжной фразе *exceptio probat regulam*. Опять же, никто не знает точно, кто первый ее произнес, в связи с чем, по какому поводу, и что неведомый автор имел в виду. Фраза приобрела когда-то весомость, будучи напечатанной типографским способом на бумаге. Ее неверно поняли, неправильно перевели с латыни на европейские языки, недобдуманно ввели в речевой оборот. Вернее, вряд ли кто-то действовал намеренно, внедряя *мудрость* в употребление; ее стали вставлять по недомыслию в свои научные (или лженаучные) писания люди, получившие университетское образование, ее подхватили широкие слои населения. Почему и мы повторяем с *умным видом* нелепость, заимствованную из какого-то из иностранных языков? Почему мы принимаем слепо бездоказательные утверждения и вообще верим во всяческие небылицы — это загадка, которую я не сумею разрешить. Я берусь объяснить только то, что касается филологии.

До какой-то поры я не задумывался по-настоящему над обсуждаемым *афоризмом*. Я слышал его в чужих праздных рассуждениях, я встречал его в тех или иных печатных материалах. Сам я никогда сию поговорку не употреблял — ни разу не возникло необходимости и, возможно, было ощущение: что-то в этой *мудрости* неверно. Потом, читая по-английски «Знак четырех» (The Sign of the Four), я наткнулся на слова Шерлока Холмса (во второй главе): «I never make exceptions. An exception disproves the rule». Глагол *to disprove* значит *опровергать*. Сыщик заявляет: «Я никогда не делаю исключений. Исключение опровергает правило». Мне вспомнилось сразу наше всем из-



вестное утверждение, будто *исключение подтверждает правило*, я сопоставил первое и второе и пришел к разумному выводу: в том виде, как в произведении Конан Дойля, с глаголом *опровергать*, фраза передает истинное положение вещей, с глаголом *подтверждать* она становится бессмыслицей.

Ложная мудрость опровергнута человеком рассудительным. Поверим Шерлоку Холмсу!

Не тут-то было. Меня закидают возражениями: сыщик просто высказался по случаю, тогда как наша нелепость... простите, наша мудрость снабжена объяснениями со ссылкой на Цицерона, приводятся его слова на латыни: *exceptio probat regulam*... Существует история вопроса, которую нельзя похерить одной фразой литературного героя из выдуманной приключенческой истории.

Очень трудно или вообще не удастся опровергнуть что-либо общепринятое, *всем известное*, въевшееся в частное сознание и общественное мышление, особенно когда словесная галиматья попала в сборник *мудрых высказываний* и под галиматеей стоит имя какого-то признанного любомудра. Как заметил когда-то Мишель Монтень (1533—1592): «Гораздо труднее перетолковать объяснения, чем объяснить сами вещи».

Шерлок Холмс заявил уверенно: «An exception disproves the rule» — используя *disprove* (опровергать). Но мне придется признать, что большинство англичан, в отличие от Холмса, говорят и считают правильным говорить: «The exception proves the rule», где глагол *prove* имеет противоположное значение. Какое сходство мнений: в Англии (и других англоязычных странах) *широкая публика* в целом согласна с *мудрой мыслью*, бытующей у нас, что исключение подтверждает, удостоверяет, доказывает правило!

Когда «Знак четырех» был переведен на французский язык, высказывание английского сыщика явилось в печати в следующем виде: «L'exception INFIRME la règle». Для чего глагол выделен заглавными буквами? Предполагаю, что переводчик и редактор пребывали в некотором замешательстве, они-то привыкли слышать как раз обратное, то, что имело (и имеет до сих пор) хождение и во французском речевом обиходе: «L'exception qui confirme la règle», то бишь «Исключение, которое подтверждает правило». Напечатав крупно *INFIRME* (опровергает, ставит под сомнение) вместо *confirme* (подтверждает), привычного для большинства французов, издатели, по-моему, как бы извинялись: обратите внимание, это не наше утверждение, это личное мнение Шерлока Холмса, так английский сыщик считает, так у Конан Дойля написано.

Цицерон такого не говорил

Разбираясь в происхождении и употреблении какого-либо речения (иногда всего лишь одного слова), мы рискуем увязнуть в *истории вопроса*, запутаться во взаимно исключающих толкованиях, исходящих от дипломированных языковедов, от любителей покопаться в филологических вопросах и от тех пустозвонов, кто, не вдаваясь особо в суть, жаждет высказать свое мнение на любую тему. По поводу *exceptio probat regulam* я читал по-русски, по-английски и по-французски, что она *крылатая фраза* принадлежит Цицерону, который, выступая когда-то в защиту Луция Корнелия Бальба Старшего, сказал... Далее приводится длинная латинская фраза из *цицероновской речи* «Pro Balbo», в которой, действительно, два раза использовано существительное *exceptio* (исключение).



Должен заметить, что речь римского оратора с ее юридическими терминами и витиеватыми оборотами далеко не всем по уму — ни в те времена, когда латынь была живым языком, ни тем более сегодня, когда осмыслить сохранившиеся латинские писания, включая вышеупомянутые «Наставления» от законоведа Гая, жившего во втором веке новой эры, может, с большим трудом и не в полном объеме, лишь исключительно одаренный и хорошо обученный знаток классической словесности. Воспроизводить полностью цicerоновскую фразу не буду, в том нет необходимости. Цицерон ораторствовал много, но он никогда не утверждал, что *exceptio probat regulam*, так что ссылка на судебные прения по поводу Бальба Старшего в данном случае *притянута за уши* в попытках оправдать нелепую поговорку, почему-то ставшую весьма популярной у нас на Руси вслед за западноевропейским любителям *мудрых речений*.

Просматривая недавние научные издания, я прочитал в сборнике философских статей, что, как известно, *исключение лишь подтверждает правило*. В одном филологическом издании автор — нет, не объясняет поговорку, он бездумно приплетает ее, объясняя другие вещи: *это исключение, которое подтверждает правило*. Если философам с филологами что-либо хорошо известно, не следует, конечно, укорять в невежестве простых носителей языка. Вот и лексикографы, то бишь составители словарей, вставляют афоризм в свои сборники, и не для красного, так сказать, словца, а с похвальной целью объяснить населению, откуда взялся и каков смысл обсуждаемого речевого оборота. В частности, мы находим некоторое объяснение в «Энциклопедическом словаре крылатых слов и выражений», составленном В. В. Серовым и изданном в 2004 году: «Исключение подтверждает правило. С латинского: *Exceptio probat (confirmat) regulam* [экспедию пробат (конфирмат) рэгулам]. Точное происхождение не установлено. Аналог выражения: *нет правил без исключений*».

То ли чувствуя нелепость *крылатого выражения*, то ли для пущей убедительности составитель внедрил *от себя* в латинскую фразу глагол *confirmat* — это третье лицо единственного числа от *confirmare*, что, действительно, значит *укреплять, закреплять, упрочивать, подтверждать*. Но это не синоним глагола *probare* с его значениями *испытывать, пробовать, проверять*.

Согласимся с лексикографом, что *происхождение афоризма не установлено*. И усомнимся, что есть какая-то аналогия между бессмысленным заявлением, будто *исключение подтверждает правило*, и столь же нелепым утверждением, что *нет правил без исключений*.

Проверка научных, но неграмотных высказываний

По мере того как я вникал в *историю вопроса*, мне попало, в тех умных книгах, которые я просматривал, множество фраз с глаголом *апробировать*. Например: «предложить и апробировать методику формирования универсальных учебных действий»; «апробировали предлагаемые решения и доказали их дееспособность»; «решения лучше апробировать на модели»; «участники апробируют полученные в учебном курсе теоретические знания»... И так до бесконечности. В *научных изданиях*. Особенно по методике преподавания. Посему *история вопроса* делается все *страньше и страньше*, как выразилась Алиса, попавшая в Страну чудес.

В приведенных мною вырезках совершенно неправильное использование. Посмотрите, что такое *апробировать*, открыв на нужной странице «Толковый



словарь», составленный С. И. Ожеговым: «Апробировать *сов. и несов., что (книжн.)*. Дать (давать) официальное одобрение чему-либо. *Сущ.* апробация».

Я понимаю, что авторам научных (и лженаучных) исследований глагол *апробировать* полюбился своим весомым звучанием, но в зачитанных примерах им следовало использовать *опробовать*. Или *проверить, испытать*.

Для чего, по какой причине я отвлекся на *апробацию*, какая связь с обсуждаемым *афоризмом* об исключениях, якобы подтверждающих правило?

Известный любомудр Козьма Прутков наставлял: «Смотри в корень» — и я, следуя его совету, назову несколько слов: *одобрять, сдабривать, раздобреть, подобреть*. Их объединяет общий корень. Они — однокоренные. Разные приставки придают основе разные значения. *Подобреть* значит *сделаться добрее, смягчиться*. Если кто-то *раздобрел*, мы понимаем, что он растолстел, и, к слову, коли этот человек еще и *раздобрился*, значит, он или расщедрился, или изменил свое отношение к вам в лучшую сторону. Повара *сдабривают* кушанья, добавляя к ним какие-либо приправы, тогда как глагол *удобрять* используется только по отношению к сельскому хозяйству, к почве, в которую вносятся питательные вещества.

Латинский глагол *probare* в поговорке *exceptio probat regulam* и латинское же *approbare* — тоже однокоренные. Смысл у них, естественно, разный: *probare* — это *испытывать, пробовать, проверять*. С приставкой, в форме *approbare*, глагол приобретает значение *одобрять*. Как мы запомнили, именно такое, единственно верное значение приводит С. И. Ожегов в своем словаре для *апробировать*, объясняя существительное *апробация* как *одобрение*.

Думаю, сообразительный читатель уже начинает чувствовать, в чем тут дело: в предложении *exceptio probat regulam* шла речь о том, что исключение подвергает проверке правило. Но на осмысление фразы и на перевод сильно повлиял латинский же глагол *approbare* (одобрять), который перешел из латыни в западноевропейские языки: во французском языке мы видим его в форме *approuver*, в английском как *approve* с тем же значением *одобрять*.

Недоразумение с поговоркой *exceptio probat regulam* возникло не у нас. Ее неверное понимание и использование пришли к нам из других языков, где путаница сохраняется до сих пор, как я постарался показать выше, обратив внимание на слова Шерлока Холмса в повести «Знак четырех». Английская публика привычно употребляет в поговорке, в ее современном виде, глагол *prove*, понимая его как *подтверждать*. Французы используют *confirmer* с тем же значением. Шерлок Холмс со своим логическим мышлением, взяв за основу ходячее речение, смело заменил глагол *prove*, допускающий неверное или спорное толкование, на *disprove* (опровергать) и сделал фразу точной и понятной.

Репетиция преступления и первая проба пера вблизи Кокушкина моста

Живу я на Измайловском проспекте рядом с Троицким собором, в котором 15 февраля 1867 года писатель Федор Достоевский сочетался браком со стенографисткой Анной Сниткиной. За Измайловским мостом, перекинутым через Фонтанку, сразу начинается Вознесенский проспект, где вспоминаются Гоголь и Достоевский, где присутствуют незримо придуманные ими герои: цирюльник Иван Яковлевич и майор Ковалев, с физиономии которого в одно прекрасное



утро исчез нос, старик Смит из «Униженных и оскорбленных»... Мы пересекаем Садовую улицу, доходим до Екатерининского канала и, свернув направо, оказываемся у Кокушкина моста, с которого просматривается не очень длинный Столярный переулок. В переулке, на пересечении с Малой Мещанской, снимал квартиру тот же Достоевский, и с этого перекрестка начинаются события, изложенные в романе «Преступление и наказание». Помните, Раскольников, выйдя из дома, направился к Кокушкину мосту по дороге к старухе-процентщице — нет, еще не убивать, в тот день он как бы репетировал, он, задумавший убийство: «шел теперь делать пробу своему предприятию».

С моста виден краешек Сенной площади... Здесь такое место, что любитель русской литературы невольно замедляет шаг, вспомнив, помимо прочих, чиновника Поприщина из «Записок сумасшедшего», следившего за двумя дамами с говорящей собачкой: они «перешли в Гороховую, поворотили в Мещанскую, от туда в Столярную, наконец к Кокушкину мосту и остановились перед большим домом. “Этот дом я знаю, — сказал я сам себе. — Это дом Зверкова”. Эка машина!»

Гоголь написал *машина*, имея в виду *машина*. Она, машина, огромный жилой дом, принадлежавший когда-то купцу И. М. Зверкову, стоит на своем месте, с окнами на канал и в Столярный переулок.

Если верить следующим строкам, и поэт Пушкин, прогуливаясь по Петербургу с Онегиным, как-то здесь задержался:

**Вот перешед чрез мост Кокушкин,
Опершись локтем о гранит,
Сам Александр Сергеич Пушкин
С мосье Онегиным стоит.**

Литературные знатоки возражат: Пушкин вовсе не локтем опирался, а другой частью тела! Избегая в своем очерке *ненормативной лексики*, я скажу в свое оправдание: автограф зачитанного стихотворного наброска (датируемого 1829 годом) до нас не дошел, в одном из сохранившихся списков на месте *другой части тела* присутствует *локоть*, этот вариант я и привел, не отважившись на самостоятельные целомудренные переделки.

Кто-нибудь укажет: дочитайте набросок до конца, из второго куплета явствует, что на самом деле Пушкин с *мосье Онегиным* прислонялись к гранитному парапету не на Екатерининском канале, а на Дворцовой набережной, *став гордо задом* к Петропавловской крепости, названной *твердыней власти роковой*. Согласен, что *Кокушкин* использовано поэтом только потому, что название моста рифмуется складно с фамилией *Пушкин*... У нас нет возможности отвлекаться на литературные вопросы, пусть даже весьма занятные, я предлагаю проследовать дальше вдоль канала, отложив в памяти слова, имеющие отношение к нашему филологическому разысканию: Раскольников шел *делать пробу*. Русское *проба* и латинское *probare* указывают на проверку, подразумевают испытание. Пожалуй, запомним и глагол *репетировать*.

Поскольку Николай Васильевич Гоголь по приезде в Петербург снимал квартиру в двух шагах от Кокушкина моста, отметим, что поэма «Ганц Кюхельгартен», здесь написанная (или, по крайней мере, подготовленная полностью к печати и изданная в июне 1829 года), стала, как говорится, *пробой пера* для будущего знаменитого литератора.

Пробирный надзор и объятия с музой в кабинете директора

Миновав Демидов мост, мы окажемся напротив того места, где когда-то находилась, с выездом на Екатерининский канал, знаменитая Пробирная палатка. *Палатка* (в старом написании *полатка*) следует понимать здесь как *учреждение*. Вообще русское *палата* (в смысле *большое богатое здание*) сродни польскому *pałac* (дворец) и восходит, как и английское *palace*, как и немецкое *Palast*, к латинскому *palatium*.

В свое время литераторы, придумавшие Козьму Пруткову и писавшие от его имени, назначили, если можно так выразиться, своего героя директором Пробирной палатки — видимо, полагая, что человек с казенным складом ума, изрекающий с важным видом *казенные пошлости*, должен служить непременно в учреждении, где неукоснительно соблюдаются инструкции, и Палатка как раз подходит, ибо ее назначение — осуществлять строгий *пробирный надзор*. Авторы, давшие жизнь Пруткову, вводя в заблуждение публику, будто он в самом деле существовал, сообщили точные даты: год и день, когда Прутков занял ответственный пост, год и день, когда, после сорокалетней безупречной службы, он умер на рабочем месте: *внезапный нервный удар постиг его в директорском кабинете* — в ту минуту, когда Козьма Петрович, чувствуя приближение смерти, рифмовал свое последнее стихотворение:

**Вот час последних сил упадка
 От органических причин...
 Прости, Пробирная Палатка,
 Где я снискал высокий чин,
 Но музы не отверг объятий
 Среди мне вверенных занятий!**

Нам известны все литературные опусы Козьмы Пруткову, родившиеся, так сказать, от *объятий с музой*, но Прутков ни разу не поведал нам, в чем, собственно, состояли его основные, ему *вверенные занятия*.

Золото такой-то пробы

В Пробирной палатке не пробирками торговали, как можно легкомысленно подумать, в первый раз услышав это название. В означенном казенном учреждении занимались важным государственным делом: проверяли качество золота и серебра, ставили на изделия из указанных благородных металлов клейма, известные нам как пробы. По поводу *пробирного надзора* пишут, что на Руси его история начинается с указа Петра I от 13 февраля 1700 года «Об учинении для пробы золотых и серебряных вещей пробных клейм...».

Вдаваться в тонкости *пробирного искусства* мы не будем: на это ушло бы много времени и мы со своим гуманитарным складом ума не все поймем. Продолжая филологическое исследование, вместо технической документации обратимся к «Словарю Академии Российской», откроем четвертый том и уточним для себя, что прилагательное *пробирный* имело значение: «относящийся к месту, где пробуют доброту золота и серебра. *Пробирная полатка*». Существительное *проба* объяснялось как «опыт, испытание доброты какой-нибудь вещи». При-



водилось и его специфическое значение: «Размер чистого серебра в фунте в рас- суждении примесу меди...»

Просмотрев все словарное гнездо, мы убеждаемся, что в течение столе- тия — от петровского указа до «Словаря Академии Российской», изданного в правление Екатерины Великой, — существительное *проба* и образованные от него другие части речи использовались в основном по отношению к пробирному надзору: прилагательное *пробный* — «испытанный, свидетельствованный; со- держащий узаконенное число золотников примесу в фунте»; существительное *пробирщик* — «тот, кто испытует доброту металлов...».

В «Словаре» имеется помета, указывающая на латинское происхождение *пробы*. Уточню: в русский язык означенное слово пришло не напрямую из латы- ни, а из немецкого, где *Probe* значит *проверка, испытание*. Оно появилось у нас при Петре, именно тогда, когда по его указу для *пробы золотых и серебряных вещей учинили пробные клейма*.

Не прибегая к засорению русского языка, можно было обойтись своим сло- варным запасом, и тогда только что прозвучавший указ был бы понятнее: *вве- сти для проверки золотых и серебряных изделий проверочные клейма*. Замечу, что сегодня идет схожее внедрение английских слов, бездумное и ненужное. Гоголь в свое время высказался против этих потуг *захламостить чужеземным навозом свои умы и свой родной язык*.

По «Словарю Академии Российской» видно, что существительное *проба* (и его производные) к концу восемнадцатого века использовалось уже не толь- ко как термин в среде чиновников пробирного надзора и ювелиров, его стали употреблять и в быту. Глагол *пробовать* приобрел второе значение: *пытаться, делать опыт*. Прилагательное *пробный* третьим значением имело *для образца сделанный*.

Немецкое существительное *Probe*, идущее от латинского *proba* (испытание), имеет следующие значения: 1) проверка, испытание; 2) образец; 3) проба; 4) театр. репетиция.

Немецкий глагол *probieren* значит: 1) пробовать (*пищу*); 2) примерять (*одежду*); 3) пытаться, пробовать (*что-либо сделать*). Его используют так- же в зрелищных учреждениях в значении *репетировать*. По поводу последнего употребления напомним, что, когда Раскольников шел *делать пробу* своему пре- ступному замыслу, он, как мы согласились, *репетировал* задуманное убийство.

Probieren (пробовать) восходит к латинскому *probare*, к тому глаголу, кото- рый присутствует (в третьем лице единственного числа) в обсуждаемом речении *exsertio probat regulam*.

К нашему времени немецкое заимствование полностью обрусело, и доказа- тельством служат появившиеся у нас глаголы с русскими приставками. Рабо- тники пробирного надзора, возможно, до сих пор говорят: *пробовать серебро*, имея в виду проверку его качества, мы же в повседневной жизни употребляем такие привычные фразы, как: *испробовав* множество профессий, *попробую* себя в литературе; давайте *опробуем* новый метод сначала в одной школе; что-то я не *распробовал* блюдо, хотелось бы еще *попробовать*...

Во всех примерах, приведенных в этой главе, шла речь о проверке, об испы- тании, о тех или иных опытных образцах и проверочных действиях — включая *пробное исполнение* драматического, оперного или балетного спектакля, то есть репетицию. Нигде *проба*, родственная немецкому *Probe* и латинскому *proba*, не подразумевает одобрение, нет случая, где бы имелась связь с *подтверждением*,

на котором настаивает лжемудрое заявление, будто исключение подтверждает правило.

Попугай, повторяющие ложь злоумышленника

Конан Дойль устами вымышленного литературного героя просто опроверг расхожее речение «The exception proves the rule», заменив *proves* (доказывает) на *disproves* (опровергает). Другой писатель, Амброз Бирс, взялся объяснить публике, в чем суть ошибки. Составляя «Словарь Сатаны», произведение весьма необычное, автор, помимо прочего, высказался насчет английского существительного *exception*: исключение — то, что позволяет отличаться от других предметов своей разновидности, например, честный человек, правдивая женщина...

Принимая во внимание сатирико-юмористический характер всего «Словаря», сознавая, что автор в основном ерничает и каламбурит, мы не будем оспаривать его утверждение, будто честные люди и правдивые женщины — явление редкое и даже исключительное. Наша цель — ознакомиться со следующими рассуждениями Бирса, язвительными, но с филологической точки зрения верными: поговорка о том, что исключение подтверждает правило, постоянно слетает с губ людей невежественных. Они попугайничают, они повторяют поговорку, не задумываясь о ее нелепости: «*The exception proves the rule is an expression constantly upon the lips of the ignorant, who parrot it from one another with never a thought of its absurdity*».

На латыни, как пишет Бирс, *exceptio probat regulam* значило, что исключение испытывает правило, *подвергает его проверке*.

Далее автор зло высмеивает того *преступника*, который искажил смысл замечательного латинского изречения, заменил на противоположный, сотворил тем самым зло — великое и, приходится признать, неискоренимое.

Литераторы зачастую выражаются с чрезмерным жаром, они позволяют себе запальчивые выпады и насмешки. Мы же рассуждаем спокойно: в данном случае не было преступного умысла и намеренного зла. Подобные ошибки происходят по незнанию, по недомыслию или небрежности. Кто-то неправильно понял латинское *exceptio probat regulam*, неверно переложил фразу с латыни на английский, французский или немецкий, публика подхватила речение, не вдумываясь особо в его смысл, как она подхватывает многие уверенные заявления, идущие от каких-либо *гигантов мысли*, как она, публика, сама порождает и запускает в речевой оборот всяческие звонкие, но пустые *неопровержимые истины*, которые потом, бывает, приписываются какому-либо древнему греческому или римскому любителю.

Доброта драгоценного металла и тщетность латинских штудий

Язык постоянно меняется. Мы услышали только что некоторые слова, не такие уж старые, но требующие уточнения. Когда Козьма Прутков восклицает: «Прости, Пробириная Палатка» — он не прощения просит, он *прощается* с вверенным ему учреждением. Сегодня в таких случаях мы говорим не *прости*, а *прощай*.

В Пробириной *палатке* (которую называют ныне *палатой*) *пробовали доброту золота и серебра*. Открыв современный «Малый академический

словарь», мы находим, что существительное *доброта* значит *отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро другим*. В «Словаре церковнославянского и русского языка», изданном в 1847 году, для *доброты* тоже давалось одно значение: *свойство доброй души*. Так что вернемся к изданию Академии Российской из екатерининских времен, где прилагательное *добрый* объясняется не только как *честный, благонравный, благорасположенный*, но также как *превосходный, хороший в своем роде*. Существительное *доброта* было прежде всего *свойством доброй души*. Применительно к вещам оно значило: *внутренняя изящность цену их составляющая*. Как-то вычурно и туманно выразились екатерининские лексикографы... Однако по примерам понятно, что идет речь о *качестве* материалов и изделий (в том числе из золота и серебра): «Доброта монеты, сукна. Сия ткань добротою превосходит прочие».

В родном языке мы не знаем или путаем некоторые слова, мы не всегда правильно употребляем *устойчивые выражения*... Что тогда говорить о понимании иностранных языков! Я без особого труда читал «Знак четырех» по-английски, но я постиг далеко не все, взявшись за «Словарь Сатаны», потому что автор, Амброз Бирс, выражается витиевато, играет словами, говорит о каких-то вещах то ли в прямом, то ли в переносном смысле; он острит, намекает на нечто, известное, возможно, лишь ему самому. В случае с *мертвой* латынью только особо одаренный и основательно образованный языковед может донести до нас, в каких-то пределах и со многими оговорками, суть старинных писаний и объяснить, не всегда уверенно, отдельные высказывания.

Мы пользуемся «Большим латинско-русским словарем», он составлен И. Х. Дворецким (1894—1979) и напечатан в середине двадцатого века — и наивно полагать, будто этот и другие латинские словари дают полные и безошибочные толкования по письменным источникам тысячелетней давности, по произведениям, авторы которых, поэты, историки и философы, выражали свои мысли высоким стилем и литературным слогом. Какой была *настоящая* латынь, та, на которой повседневно разговаривали обычные люди, — этого никто не знает. Что совершенно точно, мы не способны уловить всех грамматических особенностей и смысловых тонкостей *мертвого языка*. А различия и тонкости непременно существовали — подобные тем, которые я показал на сравнении русских глаголов *одобрять, удобрять, сдабривать, подобреть, раздобреть*.

Собираясь *изучать* латинский язык, следует задуматься и спросить себя: нужно ли мне это? Ведь после долгого и трудного *изучения* окажется, что ты, как говорится, лишь *нахватался верхов* в тщетных попытках объять необъятное и постичь непостижимое.

Неудачная попытка повторить зады

Заключительную главу своего очерка я собирался начать с приглашения *повторить зады*, полагая, что тем самым я предлагаю, для подведения итога, изложить вкратце то, что говорилось выше о двух обсуждаемых речениях. Но, заглянув в современный справочник «Правильно ли мы говорим по-русски?», я прочитал, что выражение, на сегодняшний день устаревшее и неодобрительное, объясняется по-иному: «*Повторять зады*: заучивать, повторять что-либо давно пройденное, давно известное; топтаться на месте».

Не могу удержаться, придержусь и к этому утверждению. *Заучивать* значит запоминать, закладывая в память что-либо новое. *Повторяют* то, что учили ранее. Первое и второе не подразумевают топтание на месте.

Топтаться на месте я, конечно, не призываю. Я исходил из толкования, которое предлагалось «Словарем Академии Российской»: «*Зады* — то, что было выучено. *Твердить зады*». Мне казалось, что это созвучно наставлениям моих школьных учителей: «Повторение — мать учения». Вот и Козьма Прутков имел в виду не топтание на месте, он считал полезным оглядываться на то, что делалось раньше: «Настоящее есть следствие прошедшего, а потому непрестанно обращай взор свой на зады, чем сбережешь себя от знатных ошибок». Возвращаясь к тому, что я говорил выше, повторю: мы ошибаемся или сомневаемся в значении русских речений, так что нам тем более трудно вникнуть в суть и использовать без ошибок иностранные высказывания.

Обсуждая глагол *апробировать*, я сослался на «Толковый словарь» Ожегова, где сказано, напомним: «Дать официальное одобрение чему-либо». Я согласен с этим объяснением и от себя приведу примеры, которые кажутся мне убедительными. В восемнадцатом веке использовали форму *апробовать*, идущую, скорее всего, напрямую от латинского *approbo* (я одобряю), тогда как наше современное *апробировать* происходит от немецкого *approbieren*.

В своей «Истории» С. М. Соловьев (1820—1879) приводит следующий случай: «Еще 22 июля 1743 года императрица Елисавета приказала сделать два медных *портрета* (статуи) Петра Великого. 19 августа 1764 года Канцелярия от строений донесла Сенату, что один из этих портретов, сидящий на коне, сделан италианцом, штукатурных дел мастером Александром Мартеллием, и требовала 40937 рублей на окончательную отделку памятника, на сооружение пьедестала и на выдачу жалованья мастеру и рабочим. Сенат решил: так как ему неизвестно, будет ли угодно ее императорскому величеству приказать окончить эту статую, то пусть генерал-поручик Бецкий доложит об этом императрице. 16 октября Бецкий донес: вылитый из меди портрет Петра Великого ее императорское величество апробовать не соизволила в рассуждении, что не сделан искусством таким, каково б должно представить великого монарха и служить к украшению столичного города».

Императрица *не апробовала* статую. Она ее *не одобрила*, она ее *не утвердила*.

Другой пример: 1 ноября 1753 года М. В. Ломоносов, профессор химии, в письме И. И. Шувалову (1727—1797) просит этого влиятельного вельможу, чтобы тот не подписывал, не *утверждал* документы, которые проходят мимо профессорского собрания Академии наук: «Его бы сиятельство ничего не апробовал, что Канцелярия без согласия Собраний о том представит».

Пример с существительным *апробация*: князь А. Д. Кантемир (1708—1744), служивший в 1732—1738 годах русским посланником в Лондоне, использует его в своих реляциях, то есть донесениях; в данном случае он объясняет, что решения ирландского парламента недействительны без *одобрения*, без *утверждения*, полученного в парламенте Великобритании: «Парламент ирландской ничего решить не может без апробации великобританского парламента».

Казалось бы, все четко и понятно, в полном соответствии с тем толкованием, которое мы взяли в словаре С. И. Ожегова. Однако в современном «Малом академическом словаре» дается более пространное, но менее четкое объяснение, которое приводит или, по крайней мере, допускает неверное понимание:

«Апробация ж. 1. Официальное одобрение, вынесенное на основании испытания, проверки. *Апробация учебных программ*. 2. С.-х. Оценка сортовых качеств посевов сельскохозяйственных культур для использования лучших из них на семена. *Полевая апробация*».

В первом пункте про *испытание* и *проверку* добавлено по недомыслию. Монарх или государственный чиновник *апробовал* документ, не требуя что-либо *испытывать* или *проверять*. Неудачный пример с *апробацией учебных программ* кто-то истолковывает так, будто программы испытываются, проверяются, тестируются. Вспомним вырезки из научных работ по методике преподавания: в них повторяется как раз эта неверно понятая *апробация учебных программ*. Во втором пункте *полевая апробация* тоже подталкивает к ошибочному предположению о полевых испытаниях, тогда как нам сообщают об оценке сортовых качеств.

Куда более расплывчатые, приблизительные толкования присутствуют в латинских словарях — неизбежно, ибо каков срок давности! Мне показалось, что в исследовании латинских поговорок о правилах и исключениях будет вернее обратиться к более старым справочникам. Я разыскал французско-латинский словарь, вышедший в 1678 году. Что привлекает в нем при первом знакомстве? То, что над ним трудился иезуит. Я не сомневаюсь, что автор, Шарль Пайю (1609—1686), состоявший в Обществе Иисуса, знал латынь, пусть не классическую, а средневековую. Однако вот какие латинские соответствия предлагал ученый муж для французского глагола *approuver* (одобрять): «*Approuver probare, vel approbare, vel comprobare*».

Vel значит *или*. Как видите, составитель не усматривал разницы между *probare* и *approbare*. Он еще добавил глагол *comprobare*, в основе которого тот же корень. Приставка, как мы согласились, придает любому слову, не может не придавать, какое-то новое значение. Ознакомившись с объяснением Шарля Пайю, я подумал: это все равно, или почти то же, как если бы я поучал иностранцев: для одобрения чего-либо можете использовать на выбор, по своему усмотрению, русские глаголы *одобрить*, *удобрить*, *сдобрить*, *раздобреть*.

Опробование не есть апробация, опробовать значит попробовать

Утверждая, что дважды два — четыре, мы не встретим возражений — в любой период истории и при любом правлении. По поводу каждого исторического события, при оценке художественного произведения, при разбирательстве филологических вопросов обязательно прозвучат иные мнения, вплоть до полного несогласия с докладчиком. Я настаиваю на том, что *апробовать* значило *одобрять*, *одобрить*, и только, но мне могут возразить: означенный глагол все же использовался в значении *проверять* — и укажут мне, помимо «Малого академического словаря», на столь же авторитетный «Словарь русского языка XVIII века», где для *апробовать* даются два значения и во втором пункте говорится: *испытывать*, *проверять*, *исследовать*. Как положено, толкование уважаемых коллег подкрепляется примерами из письменных источников. Вот один из них, заимствованный из документов «Архива князя Воронцова»: «И везу к Вашему Высочеству двух дишкантов и альтиста, которых в Нежине апробовал в гласах отец Герасим».

В чем дело? Всего лишь в том, что в восемнадцатом веке не было тех строгих правил правописания, которые действуют сегодня. Кто-то писал бездумно *апробовать*, кто-то *аппробовать*, когда требовалось *опробовать*, *попробовать*. Упомянутый отец Герасим, конечно, *опробовал* указанных певцов и музыканта. Он устроил им проверку.

Есть цитаты и к *апробации*, доказывающие, по мнению составителей, что означенное существительное имело второе значение: *опыт, проба, испытание*. Самым показательным примером, видимо, будет этот: «Не принимаясь еще за чашку <кофе>, изволил спросить <Его Высочество> кофешенка; што, была ли в апробации? *Зап. Пор.*»

Пример с чашкой кофе взят из записок Семена Андреевича Порошина (1741—1769), который в 1764—1766 годах находился при царском дворе в качестве воспитателя, нанятого для *Его Высочества*, то есть для цесаревича Павла Петровича. Главным наставником будущего императора состоял Никита Иванович Панин (1718—1783), он, как сообщает Порошин (в одной из ноябрьских записей 1764 года), обычно *отведывал* кофе, приготовленный для наследника престола. Привожу в полном виде свидетельские показания: «Вставши из-за стола изволил Его Высочество выкушать чашку кофе. Не принимаясь еще за чашку, изволил спросить кофешенка: што, была ли в апробации? Прежде нежели поднесут кофе Его Высочеству, изволит обыкновенно отведывать его Никита Иванович».

Панин или, в его отсутствие, кто-то другой отведывал кофе, то есть проверял его (видимо, на вкус или на случай отравления). Панин его *пробовал*. Малолетний Павел, спросивший об *апробации*, мог слышать от взрослых это иностранное слово, но не понимать его точное значение. Порошин, выпускник Сухопутного шляхетского корпуса, учил десятилетнего наследника арифметике и геометрии; не имея значительного образования, не разбираясь в лингвистических тонкостях, он тоже мог ошибиться, не чувствуя разницы между словами, искусственно внедренными в русский язык. Много всякого иностранного словесного *навоза* перелопачивалось в коллегиях, учрежденных из-под палки Петром Первым, и в Академии наук, где в правление Анны и Елизаветы господствовали немцы и считалось необходимым писать трактаты на немецком или на латыни (на ее упрощенном варианте, принятом в ученом мире за показатель подлинной образованности). Мешанина немецких, французских и русских слов была в повседневном употреблении среди кавалеров и дам, окружавших Екатерину Вторую, немку, выписанную из Померании в жены Петру Третьему, тоже, по существу, немцу, привезенному из-за границы для правления Россией, — в отношении двух последних невольно вспоминается известная фраза из «Несторовой летописи»: *приходите княжить и владеть нами*.

Не знаю, как именно Семен Порошин написал обсуждаемое существительное, может быть, *апробация*. Я не видел рукопись, я сужу по тексту его «Записок», как они были напечатаны в 1881 году. Возможно, в издательстве (через сто лет после дневниковой записи) *подправили* порошинскую орфографию, исходя из того, что в сохранившихся документах восемнадцатого века чаще встречается написание *апробация* и *апробовать* — как при одобрении, так и при испытании чего-либо. Авторские высказывания искажаются подчас по небрежности или переделываются в соответствии с пониманием, образованностью и личными предпочтениями людей, в той или иной редакции работающих. Ясно одно: и наследник престола Павел, и его наставник Порошин, конечно, имели в виду

проверку кофе, и под их *апробацией* следует понимать *опробование*, когда что-то съедается или выпивается *для пробы*.

Выражайтесь просто, понятно, коротко, без чужеземных слов и речений

Когда нам советуют выражаться просто и понятно, мы все соглашаемся, иногда даже очень горячо: совет, бесспорно, полезный и нужно ему следовать! Остается загадкой, почему в устных выступлениях и особенно в своих писаниях, когда есть возможность перечитать и упростить свой слог, многие как высказывались, так и высказываются сложно и путано.

Разработав новую учебную программу, способствующую, предположим, чистоте русского языка, педагогические деятели считают нужным проверить ее в отдельном классе, они готовы, что весьма похвально, для начала опробовать ее на самих себе. Пусть так и скажут! Но, представляя свой *проект*, устраивая ему *презентацию*, они прибегают к таким словесным вывертам, что обычный человек хлопает глазами, будто ему зачитывают «Наставления» законоведа Гая, изложенные на латыни. Разработчики сообщают, что они сами *участвуют в апробации персонализированной модели образования* и она, *апробация, пройдет в необычном формате*, а именно: *педагоги превратятся в учеников, которые будут осваивать внедряемую модель через ее же методологию...*

А мы удивляемся и удивляемся: по какой причине русские отроки и отроковицы, на которых в течение десяти лет отрабатывались разные *форматы, модели и проекты*, после всех *методологий* делают ошибки в простых русских словах и не умеют выразиться внятно на простом русском языке.

Есть еще одно хорошее правило для писателей, в том числе очеркистов вроде меня: высказывайтесь коротко. Чувствуя, что отвлекаюсь от темы, заявленной в заголовке, подытожу свои рассуждения.

Устаревший глагол *апробовать* (восходящий к латинскому *approbare*), его вариант *апробировать* (образованный от немецкого *approbieren*), как и существительное *апробация*, подразумевают одобрение.

Куда более многочисленные и менее канцелярские *проба, пробирка, пробный, опробование* и *опробывать* восходят к латинскому *probare*. Они сообщают о проверке, испытании чего-либо.

Мы не знаем, откуда взялись ходячие речения о том, что нет правила без исключения и что исключение подтверждает правило. Может быть, какой-либо дотошный исследователь отыщет латинский письменный памятник, ранее никем не исследованный, и обнаружит первоисточник, но от этого не изменится суть: оба утверждения, кто бы их ни породил, являются ложными. И поскольку они ложные, нет необходимости употреблять их в своей речи.



Артем ПОПОВ

«ПОКА НЕ ТРЕБУЮТ ПОЭТА В ПРОКУРАТУРУ НА ДОПРОС...»

О стихах Александра Францева

С Александром я познакомился в литературной мастерской «Крылья», действовавшей одно время при Молодежном центре Северодвинска. Он приехал из Архангельска уставшим, на встрече молчал, и мне показалось, что в нем постоянно шла напряженная внутренняя работа. Когда же его спрашивали, с неохотой рассказывал о себе, отвечал на типичные вопросы молодых авторов о том, как пишутся стихи. Хотя можно ли это вообще объяснить? Ведь стихи не пишутся — случаются, как говорил Андрей Вознесенский.

Почему-то мне кажется, что таким и должен быть истинный поэт: не громким, не кричащим. Александр Францев не мелькает в местных тусовках, не стремится ни в один писательский союз. И у него нет пока ни одной книги. А вот это уже большая несправедливость, которую надо как можно быстрее исправить!

Александр родился в 1981 году на острове Кего, что в дельте Северной Двины в черте Архангельска. «Депрессивный регион», как он потом назовет свою малую родину в одном стихотворении. Знаменит остров тем, что романтик Александр Грин (Гриневский) отбывал здесь ссылку и, вполне может быть, задумывал свое самое известное произведение «Алые паруса». Здесь до сих пор, как во времена Грина, зимой, в пургу, ходят пешком на «большую землю» — в Архангельск, тонут на весеннем льду. Во времена развитого социализма Кегостров процветал, а после перестройки пришел распад: работы не стало, население покидало остров, спивалось. Все это Саша видел ребенком, а детская память цепкая.

Александр из моего поколения, мы успели почувствовать себя октябрятами и пионерами. Как-то я забыл повязать галстук, оставил его дома, и это было чуть ли не позором, все тыкали пальцем. А потом вдруг школьную форму и пионерский галстук отменили. Детьми мы легко пережили перемены, а вот каково было взрослым, тем, кто искренне служил идеалам партии?.. Ломался строй, ломались люди.

Мы росли во внешне благополучных восьмидесятих годах, а потом наступили «лихие девяностые». На нас, неокрепших подростков, свалились свобода

и вседозволенность. Однако реализовать мечты и амбиции было сложно, когда не хватало денег на хлеб. Некоторые наши сверстники ушли тогда на тот свет. То ли от собственной смелости, то ли от дурасти — время было такое, на него все можно списать: не ответит...

Много стихотворений Александра Францева посвящено тем роковым годам, развалу СССР.

**Эти трещины в теле державы, треск половиц
в деревенском сельпо — до закрытия полчася.
Всё вчерашнее черный хлеб, прошлогодней рис,
деревянное рубль, бумажное колбаса.
Проржавевшие гвозди не держат уже, и дверь
от мороза перекосило, но все стоят,
под собою почти не чуя СССР,
на исходе календаря, и полы трещат.**

(«Декабрь 1991»)

В последние годы события 1991-го вспоминают и анализируют все чаще. Писатель и драматург Ольга Погодина-Кузмина недавно дала такую характеристику позднему СССР: «Догматизм, лицемерие, экономические провалы и просчеты — это было далеко не идеальное общество. Но — тут и парадокс — мы до сих пор проедаем достижения этого общества, и все наши идеалы, ощущение братства и единства — родом из Советского Проекта. Другого ничего у нас нет».

Еще одно очень точное стихотворение Александра Францева о том времени:

**Третья улица Строителей
общей памятью больна.
Растеряла прежних жителей
ненадежная страна.**

**Если в прошлое сощуриться —
всё как прежде в том раю:
с детства памятная улица,
оливье да ай лав ю.**

**Там стоит еще империя,
пряча давнюю гнильцу,
но уже вторая серия
приближается к концу.**

**Заливная рыба портится,
титры лезут на экран.
Дальше — больше: безработица,
залепуха и обман.**

**Не докличешься родителей
в наступившей темноте,
и в квартиру на Строителей
заселяются не те.**





**Им еще начислят заново
плату страшную в квитке
за тепло Левиафаново
на вселенском сквозняке.**

(«Третья улица Строителей...»)

Чего тут больше? Сожаления? А что пришло на смену советскому — все знаем.

В девяностые годы Александр, как многие, тоже уехал с Кегострова. Работал грузчиком, кочегаром в котельной, разнорабочим на стройках, сторожем. Жил в Санкт-Петербурге, Республике Коми, Каргополе, Коряжме.

Биография ищущего человека, поэта.

Несколько раз с добрым желанием популяризировать стихотворения Александра я размещал их на своей странице в социальной сети. В комментариях подписчики называли стихи «депрессивными», но при этом ставили «сердечки». Потому что эти стихи оказались близки многим. Читатели посмотрели на себя как бы со стороны: «Просто страшно за такую нашу жизнь». И ведь все правда...

Вспомним Вадима Кожина: правдивость — единственный критерий художественности.

**Есть на свете Ижемская улица —
вся из скособоченных домов,
где всего привычнее зажмуриться:
выпил человек и был таков.**

**Остальные маются простуженно,
ничего не знают наперед:
сорок лет в обед им — и до ужина,
кажется, никто не доживет.**

(«Есть на свете Ижемская улица...»)

Нет, это не чернуха, Ижемские улицы есть во многих городах, только сверните с центрального парадного проспекта — и увидите настоящую жизнь миллионов.

Стихотворения Александра Францева — картинки со звуком, не хочется прерывать, потому привожу их целиком.

...Темнота, лай собак, тепло кочегарки, огонь. Это стихотворение, как и многие, биографическое, прожитое:

**Разменяешь последнюю тысячу,
самогонки дешевой возьмешь
и в ночное дежурство к Борисычу
по старинной привычке зайдешь.**

**Поселковая эта котельная
на последних опилках жива,
где зарплата грошовая, сдельная
и в руках-то бывала едва.**



**Где опять на полночи затянется
бесконечный за жизнь разговор:
что, того и гляди, все развалится,
но на чем-то стоит до сих пор.**

**Жизнь с ошибками пишется начерно,
ничего в ней исправить нельзя.
И на грубую нитку прихвачена
ненадежная ткань бытия.**

(«Разменяешь последнюю тысячу...»)

Проза жизни у Александра Францева превращается в пронзительную лирику, но остается место и для иронии. Кому-то покажется, что в стихотворениях много бытовых вещей. На самом деле Александр пишет не о быте, а о бытии, о вечном: настоящем и будущем, правде и лжи, жизни и смерти.

Возможно, критики назовут такую поэзию не патриотической. Но настоящий гражданин отвечает за все, что происходит на его родине, хорошее и плохое. Это и есть истинный патриотизм.

Стихи архангельского поэта заметили в Москве и Санкт-Петербурге. Александра Францева публиковали в «Новом мире», «Дружбе народов», «Звезде», он стал лауреатом премии журнала «Сибирские огни», выступал в Театре наций.

Надо слышать, как читает свои стихотворения Александр. Он не декламирует, не играет на публику, а читает тихо, медленно, словно заново проживает каждую строку.

Нельзя не заметить стилистически сниженную лексику: «пялишься», «лепить горбатого», «фигня», «пожрется молью», «водку глушат». Но разве не так говорят миллионы? И в то же время в стихотворениях щедрая россыпь сравнений и метафор.

Александр Францев впитал поэзию Пушкина и Лермонтова, Мандельштама и Бродского. В его стихах много трансформированных цитат, аллюзий. Вот, например, как в этом стихотворении о судьбе поэта в наши дни:

**Пока не требуют поэта
в прокуратуру на допрос,
статью не шьют за тунеядство,
не учат Родину любить
и в суд силком не доставляют,
он что попало говорит
и мнит, что сам себе хозяин.
<...>**

(«Пока не требуют поэта...»)

А вот переключка с Владиславом Ходасевичем:

**На кухне что-то там хлопочешь,
Покуда в телике пробел.
Переключи, пере- что хочешь,
Давно уже перехотел.**

(«Вот так живешь темно и вяло...»)



Вспомним хрестоматийное: «Перешагни, перескочи, / Перелети, пере- что хочешь...»

Однако ничего вторичного и вообще подражательского в стихотворениях Александра Францева нет.

Мне видится его душевная связь с выдающимся поэтом конца XX века Борисом Рыжим. На обоих огромное влияние оказал Иосиф Бродский. И Рыжий, и Францев выросли на окраине (семья Бориса Рыжего после переезда из Челябинска жила в промышленном районе Свердловска). У обоих в стихотворениях «изнанка жизни»: один — поэт екатеринбургского «дна», другой — архангельского. Оба они остро переживают трагедию развала СССР, хотя разница в возрасте у них семь лет.

**Внезапный ветер огромную страну
Сдул с карты, словно скатерть, — на пол.**

(Борис Рыжий. «Костер»).

А вот еще о сходстве Францева с Рыжим:

**Несвежий снег на станции. Зима.
Прощай, психушка, простыня тугая.**

(«Несвежий снег на станции. Зима...»)

Читаем у Рыжего:

**Россия. Глухомань. Зима.
Но если не сходить с ума,
на кончике карандаша
уместится душа.**

(Борис Рыжий. «Россия. Глухомань. Зима»)

Трудно не заметить, что общая у Рыжего и Францева и тема сумасшествия. В девяностые многие не выдерживали. А поэту, «человеку без кожи», хочется скрыться, как ребенку, «в домике» от мерзостей жизни. Иногда не получается...

Стихотворения Францева и Рыжего часто заканчиваются смертью лирического героя. Кто-то учил меня на литературном семинаре: одна смерть — рассказ, две смерти — повесть, много смертей — это уже роман. Почему бы по этой формуле не писать стихотворения и поэмы?

**Как я любил унылые картины,
посмертные осенние штрихи,
где в синих лужах ягоды рябины,
и с середины пишутся стихи.**

(Борис Рыжий. «Мальчишкой в серой кепочке остаться...»)

Осень в природе, как осень жизни человека, — время подводить итоги. Но если жизнь — давящая тяжесть, то хотя бы смерти хочется легкой, как листопад.

Важно, что в некоторых недавних стихотворениях Александра Францева происходит примирение со страной, выпавшим на его долю временем, наконец, с самим собой:

**Ни державы не надо великой,
ни ее «славных дел».
Лишь бы крашек родины, дикий,
все травой шелестел**

**и баюкал нетрезвого сына
своего долгой рябью речной.
Да роняла бы листья осина
над его головой.**

(«Все, что было, оставь за спиною...»)

Понимание того, что источник жизни, сила — в родной земле, успокаивает. Человек уходит, но все продолжается: после осени и зимы обязательно будет весна и рождение нового — листочка, ребенка, стихотворения.



Варвара ЗАБОРЦЕВА

МУЗЕЙ БРАТЬЕВ ТКАЧЕВЫХ В БРЯНСКЕ

Любой уголок России, где довелось побывать, дорог мне не только своими неповторимыми пейзажами, местными достопримечательностями, но и людьми. Теми, кто там родился и вырос и, может быть, как-то прославил свою малую родину.

В Брянске чудесным открытием для меня стал музей двух братьев, художников Ткачевых. Миниатюрный уютный дом, где живет настоящая живопись.

На момент создания музея в 1995 году в нем насчитывалось около двухсот произведений братьев Ткачевых. Далее коллекция пополнялась, и сейчас в собрании больше тысячи экспонатов. Все эти годы художники поддерживали связь с музеем, передавали ему новые работы и свежие фотографии с различных выставок и мероприятий. Эти фотографии украшают коридоры музея, делая его еще более домашним и уютным.

В сентябре прошлого года Алексею Петровичу Ткачеву исполнилось 96 лет. Его старший брат Сергей Петрович умер в марте 2022-го, не дожив до столетия всего полгода.

...Я попала в музей воскресным днем. В это время у одних детишек закончилась экскурсия, а другая группа заходила, но не на экскурсию, а на занятие — юные художники учились рисовать лошадь. Атмосфера для такого урока была более чем подходящей, ведь тема сельского быта — одна из основных в творчестве Ткачевых.

В экспозиции музея преобладают масштабные многофигурные произведения. На их фоне выделяется камерный и очень живой портрет рыжеволосого мальчика, художники представляют его нам по-домашнему, по-свойски — Санькой. Живость характера мальчишки передана через экспрессивные мазки, которые буквально-таки пульсируют, и, если обратить внимание на позу Саньки, видна сдерживаемая энергия, кажется, будто мальчик только и ждет, как бы скорее вскочить со стула и бежать во двор. При этом глаза его удивляют сосредоточенностью, детской вдумчивостью, а их голубизна, поддержанная цветом рубашки, на контрасте с веснушками и густыми рыжими прядками «звучит» особенно звонко. Интерьер передан условно. Деревянный стул и печка — не-

хитрая обстановка любого деревенского дома, но благодаря живости мазка и удачно расставленным цветовым акцентам братьям Ткачевым удается создать цельный образ, который, несмотря на грубость живописной манеры, отличается тонкостью и лиризмом.

В сравнении с «Санькой» другие произведения, посвященные теме детства, как мне показалось, проигрывают и напоминают, скорее, пестрые открытки. К примеру, на картине «Дождик» распахнутые глаза девочки, которая радостно подставляет ладонь под струю воды, кажутся не такими уже настоящими, «правдивыми», но при этом нельзя не отметить продуманность композиции, гармонию вертикалей и горизонталей. Яркие цветовые акценты оживляют монохромность деревянного дома, а капли дождя написаны с характерной для братьев Ткачевых живостью мазка. При детальном рассмотрении эти капли и желтые опавшие листья сливаются в удивительный, завораживающий пятнистый ковер.

При всех живописных достоинствах картины она все же уступает остальным работам постоянной экспозиции. В «Дождике» присутствует некая неестественность — в подобного рода бытовом сюжете это всегда чувствуется особенно остро. Возможно, если бы маленькая девочка стояла не так прямо, практически по стойке смирно, и ее силуэт не поддерживал бы вертикали дверного проема и струй воды, появилась бы необходимая спонтанность в движении, некий порыв, импульс.

Масштабное полотно «Русское поле. Лихолетье» представлено в музее неординарно: рядом с ним мы видим эскизы к картине, а также фотографии натурщиков. И это очень ценно и занимательно — у нас появляется возможность как бы пройти вместе с художниками тот путь, что прошли они, путь их творческих исканий, заглянуть в их мастерскую.

«Русское поле. Лихолетье» масштабно и по замыслу. Это картина не только о трудностях, что выпали на долю сверстников Алексея Петровича и Сергея Петровича, это картина, как мне кажется, о судьбе России в целом.

Полотно создано вовсе не в послевоенные годы, как можно было бы подумать. Художники работали над ним уже в зрелом возрасте, в течение пяти лет, с 1990-го по 1995-й. Период в истории страны, как известно, переломный, и происходящее вокруг, конечно же, не могло не повлиять на творчество Ткачевых.

Так, на одном из эскизов к этой работе фигуры были обособлены друг от друга, имели свое «личное» пространство на холсте, в итоговом же варианте выделяется один лишь пахарь на втором плане, а женщины и ребенок, тянущие плуг, будто бы сливаются в единое целое и двигаются прямо на зрителя. Борозды свежевспаханной земли и черные птицы, окружающие тружеников, создают особую, какую-то вибрирующую, тревожную атмосферу.

Удивительно тонко написан в этой картине закат. Вообще пейзаж настолько хорош, что вполне мог бы стать самостоятельным произведением.

Одной из знаковых для Ткачевых работ является картина «Судьба ветерана». Это полотно можно долго-долго разглядывать, открывать все новые и новые нюансы.

Пожилая вдова, стоящая на улице и собирающая подаяние, показана тут в полный рост, рядом с ней — сияя орденами и медалями — висит пиджак ее мужа, причем художники располагают этот пиджак на такой высоте от земли, на какой мы бы его заметили, будь он надет на человека. Когда мы рассматриваем картину, вдруг, на какое-то мгновение, у нас возникает чудная иллюзия: кажет-

ся, что здесь изображена супружеская пара. Но — смаргиваешь — нет, ничего подобного. Изображена одна женщина, а на месте ее мужа — только этот, красноречиво говорящий о судьбе хозяина, пиджак и... пустота.

Пустота повторяется и в глазах просящей милостыню — она будто смотрит вглубь себя и собственной скорби, а вовсе не на прохожих. Такое решение усиливает воздействие картины на зрителя, ты не просто сопереживаешь вдове, но и размышляешь вместе с ней о прошлом, настоящем и будущем.

В «Судьбе ветерана» Ткачевы особенно внимательны к деталям. Несмотря на то, что почти всю площадь полотна занимают и все внимание на себя забирают этот старый пиджак, кирпичная стена и фигура вдовы, как будто тонущая в глухой темноте арки, пространство картины расширяется за счет уходящего вдаль пейзажа с церковью, за счет лужи, в которой отражается небо. Также в картине ненавязчиво, но явно зафиксировано время: стена пестрит объявлениями. Примета девяностых.

Однако же благодаря невольно притягивающему к себе глубокому синему цвету блузки и вообще той силе, тому мастерству, с какими создан образ, взгляд зрителя, изучающего детали, снова и снова возвращается к пожилой вдове.

Скорбные глаза, изрытый морщинами лоб, выбившиеся из-под платка седые пряди... Особенно же выразительны ее руки. Подчеркнуто грубые, иструженные, они сложены в задумчивом жесте — и в этом жесте одновременно столько и отчаяния, и смирения, и горечи...

Во всех работах братьев Ткачевых, несмотря на полученное ими академическое образование, на ту школу классического рисунка, что они прошли, есть нечто неумовимо простое, почти безыскусное. Но — чарующее. Это «нечто» не поддается анализу или описанию, и оно присутствует не только в картинах, оно, когда ты едешь сквозь прогретые солнцем просторы Брянской области, словно бы разлито в самом этом воздухе.



АВТОРЫ НОМЕРА

Баранов Сергей родился в 1988 г. в городе Алма-Ате (Республика Казахстан). Окончил Казахский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, магистрант факультета журналистики Казахского национального университета им. аль-Фараби. Директор транспортной компании. Публиковался в литературном альманахе «Unzensiert» (Германия). Автор исторического романа «На южных рубежах». Живет в г. Алма-Ате.

Басалаева Елена Михайловна родилась в 1987 г. в Красноярске. Окончила факультет филологии и журналистики Сибирского федерального университета. Работает учителем-словесником в красноярской гимназии. Член Союза писателей России. Публиковалась в журнале «День и ночь». Живет в Красноярске.

Васильев Константин Борисович родился в 1952 г. Окончил Ленинградский государственный университет. Филолог-германист, автор ряда журнальных публикаций и учебных пособий. Готовил к печати для издательства «Азбука» серию «Русская словесность» и редактировал такие произведения, как «История кабаков в России» И. Г. Прыжова, «Тайная канцелярия» Г. В. Есипова, «Остров Сахалин» А. П. Чехова, «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского. Живет в Санкт-Петербурге.

Городецкий Евгений Александрович (1934—2005) — прозаик, публицист, литературный редактор. Родился в Днепрпетровске. Окончил Днепрпетровский горный институт, учился в Томском политехническом институте. Работал в Туруханской геологической экспедиции. С начала 70-х гг. работал редактором художественной литературы в Западно-Сибирском книжном издательстве. В 1977 г. вступил в Союз писателей РСФСР. Изданы сборники рассказов «В снегах» (1975) и «Крыша над головой» (1985), роман-трилогия «Академия Князева» (1981) и др.

Заборцева Варвара Ильинична родилась в 1999 г. в п. Пинега Архангельской области. Учится в Санкт-Петербургской академии художеств им. Ильи Репина на факультете теории и истории изобразительного искусства. Публиковалась в журналах «Юность», «Наш современник», «Бельские просторы» и др. Лауреат премии журнала «Сибирские огни» (номинация «Новые имена»). Живет в Санкт-Петербурге.

Ивантер Алексей Ильич родился в 1961 г. в Москве. Постоянный автор журналов «Наш современник», «Москва», «Иерусалимский журнал», «Дружба народов», «Сибирские огни» и другой периодики.

Калмыкова Вера Владимировна родилась в 1967 г. в Москве. Кандидат филологических наук, главный редактор издательства «Русский импульс», искусствовед. Публиковалась в журналах «Арион», «Дружба народов», «Звезда», «Литературная учеба» и др. Автор двух поэтических сборников, а также книги «Очень маленькая родина» (совместно с фотографом Сергеем Ивановым), которая стала лауреатом конкурса «Книга года». Лауреат премии имени А. М. Зверева (журнал «Иностранная литература»). Живет в Москве.

Костицын Роман Юрьевич родился в 1958 г. в Краснокутске Харьковской области (Украина). Окончил Западный факультет Военного института Министерства обороны. В качестве военного переводчика работал в разных странах мира, много путешествовал. Пять лет жизни посвятил Африке, шесть лет — Азии. Также работал наблюдателем ООН, координатором международных проектов в Таджикистане. Занимался журналистикой. Автор поэмы-сказки «Мозамбик». Проза публиковалась в журнале «Аврора». Живет в Санкт-Петербурге.

Попов Артем Васильевич родился в 1980 г. в Северодвинске. Окончил филологический факультет Поморского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Работал корреспондентом городской газеты. Член Союза журналистов России, член Союза писателей России. Публиковался в «Роман-газете», «Юности», «Нашем современнике», «Литературной России» и др. Автор трех книг прозы. Живет в Северодвинске.

Попов Денис Николаевич родился в 1979 г. в с. Усть-Цильма Республики Коми. Проходил службу в пограничных войсках в Воркуте. Окончил курсы водителей и курсы охранников. Работает вахтовым методом охранником на объектах «Лукойла». Публиковался в журналах «Север», «Начало века», «Радуга», «Сибирские огни». Автор двух сборников стихов. Член Союза писателей России. Живет в с. Усть-Цильма.



МАГАЗИН

продает и покупает:

книги и подписные издания, газеты, журналы, почтовые открытки (до 1960 г.), старые фотографии, домашние архивы, коллекции почтовых марок, монеты, бумажные деньги;

статуэтки фарфоровые, бронзовые и чугунные, серебряные изделия, значки на винтах, портсигары и подстаканники, заводные игрушки и фарфоровые куклы, угольные самовары и патефоны, старинную мебель, старую военную форму и военную атрибутику и многое другое.

Работают отделы:

антиквариата, нумизматики, филателии и букинистической литературы.

Всегда в продаже журнал «Сибирские огни».

Работаем с 10 до 19 без перерыва, в воскресенье с 10 до 18

Адрес: ул. Романова, 26 (угол Советской и Романова)

☎ 227-18-37, 227-14-50

Сайт: www.gornitsa.ru E-mail: n_gornitsa@bk.ru

Частные лица и организации в Российской Федерации и в странах СНГ могут подписаться на журнал «СИБИРСКИЕ ОГНИ» в любом отделении связи — красный Объединенный каталог, подписной индекс — 46587.

ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 16 ЛЕТ

Учредители:

Союз писателей России, Администрация Новосибирской области.

Журнал зарегистрирован в Государственном комитете Российской Федерации по печати.

Свидетельство о регистрации № 01302 от 27 ноября 1998 г.

Адрес редакции и издателя:

630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 25, тел. (383) 223-10-15

E-mail: sibogni@sibogni.ru Сайт: sibirskieogni.pf

Адрес типографии:



ООО «Новосибирский издательский дом»

630048, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 104

<http://книгосибирск.pf>

Сдано в набор 15.06.2022. Дата выхода № 7 за 2022 г. в свет 18.07.2022.

Формат 70x108/16. Печать офсетная. Усл. п. л. 8,7. Тираж 1500 экз.

Во всех случаях полиграфического брака просим обращаться в типографию.